

КАТУЛИ



Валентин
Тронин



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Страницы книги, посвященной судьбе выдающегося поэта Древнего Рима Гая Валерия Катулла (I век до н. э.) погружают читателя в сказочный и трагический мир истории, наполненный бурными событиями периода кризиса римского общества. Лирика Катулла, его пылкий характер, сложные взаимоотношения с друзьями и недругами, дерзкое отношение к сильным мира сего, страстная любовь к известной безнравственной красавице Рима позволяют ощутить живое дыхание эпохи, которая предстает перед нами и в ярких образах Цезаря, великого оратора Цицерона, полководцев Красса и Помпея, мятежного сенатора Катилины...

- [Валентин Пронин](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)

- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
- [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
- [ЧАСТЬ ПЯТАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
- [ЧАСТЬ ШЕСТАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ КАТУЛЛА И ДАТЫ СОБЫТИЙ, ОКАЗАВШИХ ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО](#)

- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)

- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)

- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)

- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)

- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)

- [194](#)
- [195](#)



Валентин Пронин
Катулл

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Во времена Катилины жил в Риме «латинский Пушкин» — поэт Валерий Катулл.

А. Блок

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



Выпуск
722

Звякнуло дверное кольцо... Дверь глухо хлопнула, и застучали торопливые шажки... Пожар, что ли? Мятеж в городе?

Катон, читавший у себя в табличке^[1], поднял голову.

Вздор! Это спешит с новостями Кальв, знаменитый оратор, едва достающий ему до плеча макушкой. (Шажки стремительно приближались.) Кальв всегда жаждет быть в центре событий — и не только на шумном Форуме, где недостаток роста возмещается его выдающимся красноречием, малыш всюду старается привлечь удивленные взгляды: озадачить, произвести впечатление — его постоянная забота. Он и сейчас наверняка

войдет как-нибудь необычно... с кичливым возгласом и вскинутой вверх рукой... Недурно бы испортить тщеславному коротышке эффект внезапного появления.

Скрывая улыбку, Катон склонился над развернутым свитком.

Отброшенный занавес взлетел чуть не до потолка... Качнулись восковые личины предков... И бронзовый светильник грохнулся об пол. «О, разбойник!» — Катон спохватился, но Кальв уже стоял перед ним, бурно-взволнованный, в белоснежной тоге, ниспадающей гармоничными складками, и в башмаках на толстой подошве.

— Хочешь услышать, как нас обозвал Цицерон^[2]? — спросил Кальв без предисловий.

Слегка досадуя на свою оплошность, Катон кивнул.

— Представь «отца отечества» и толпу благоговеющих почитателей, — продолжал хлопотливый щеголь. — Муза да пошлет тебе живость воображения... Какова картина! Ни дать ни взять: Аристотель с учениками на дорожках Лицея^[3]!

Патетически восклицавший Кальв выглядел забавно: низенький, утомительно-шумный, напомаженный человек. Сущий лицедей на котурнах. Впрочем, лицо его было прекрасно: мужественное лицо римлянина с черными живыми глазами.

— Нельзя ли без истасканных сравнений?

— Дай мне высказаться в стиле понаторелых адвокатов! Все утро я вынужденно молчал и...

— Что же сказал Цицерон?

— О, всеблагие боги! О, век нетерпения и суеты!

Кальв начал пародийную игру, столь любимую и распространенную в Риме. Если он приходил в приподнятом настроении, то унять его было нелегко.

— Клянусь Юпитером, ты выведешь меня из себя! — с шутливым негодованием вскричал Катон.

— Итак, Цицерон рассуждал о риторике и поэзии...

— И, разумеется, процитировал Энния^[4]: «Нравами древними держится Рим и доблестью граждан...»

— В этом доме ничего нельзя рассказать! — возмутился Кальв. — Здесь все заранее знают, и нет смысла молоть горох^[5]... Слушай же, грубиян! Пока Цицерон вещал о риторике, толпа замороженно глядела ему в рот. Но лишь только речь зашла о поэзии, поднялся галдеж, как на птичнике, — каждый старался показать себя знатоком. Цицерон переждал,

когда болтуны уймутся, а потом произнес небрежно: «Нынче меня донимала бессонница... И я сочинил за ночь пятьсот отличных стихов...»

Катон засмеялся, качая гладко выбритой, как у египтянина, головой.

— О, божественный Марк Туллий! — потешался он. — Клянусь священной тройкой^[6], скромность никогда не будет его главным недостатком.

Кальв рассказывал дальше:

— Тут из толпы вынырнул книгоиздатель Кларан и спросил Цицерона: «Что ты думаешь по поводу сообщества молодых поэтов, кропающих безделки и эпиграммы?» — «Ясно, кого ты имеешь в виду, — ответил Цицерон. — Это Валерий Катон — их заводила да еще несколько нагловатых молодцов. С ними стакнулся и оратор Лициний Кальв. Ну, от него-то здравомыслия тем более ожидать не следует. Все они подражают Каллимаху^[7], лощеному александрийскому царедворцу. Их неприличные сборища я назвал бы... „попойками неотериков“»^[8].

— Неотериков? — переспросил Катон.

— «Отцу отечества» претит легкомыслие, каким он считает искренний и веселый тон. Кроме того, Цицерон намекает на происхождение наших друзей — недавних граждан из северных муниципий^[9]...

Сердито нахохлившись, Кальв быстрыми шажками расхаживал перед Катонем.

Катон пожал плечами:

— Когда-то самого Цицерона упрекали именно в том, что он выскочка, плебей из захолустного городишка Арпина...

Катон подошел к книжному шкафу, где хранились заключенные в футляры папирусы. На его худом лице появилось сосредоточенное, почти благоговейное выражение. Катон не домогался государственных должностей и непосредственно не занимался политикой; скандалы Форума увлекали его, как и каждого в Риме, но большую часть досуга и всю душевную энергию он отдавал поэзии и книгам.

— Вот речь Цицерона, произнесенная лет двадцать тому назад, — пояснил Катон, разворачивая один из свитков. — «От меня не скрыто, сколь безмерна ненависть знати к рвению новых людей. Отвернешься — и ты в засаде; дашь хоть самый малый повод для подозрений — и ты под ударом... Вечно мы начеку, вечно мы в труде». Сейчас он наверняка отказался бы от того, что опрометчиво высказывал начинающим адвокатом.

— Каких только противоречивых мнений не найдешь в речах этого лицемерного человека... Ну, и Цицерон! — с неожиданной ненавистью

сказал Кальв.

— Цицерон? Опять Цицерон? — воскликнул, заглядывая в таблин, милovidный юноша в выцветшей тоге.

— Фурий! Входи, юное дарование! — крикнул Кальв. — А где твой дружок Аврелий? Вы же неразлучны, как пара идиллических голубков.

Убрав свиток с речами Цицерона, Катон предложил подождать, пока соберутся все...

— ...неотерики, — закончил за него Кальв, — Такое название нам придумал все тот же несравненный «отец отечества».

— Так вот отчего вы тут перемывали кости самому речистому среди римлян!

Катон осуждающе покачал головой:

— В ораторском гении Цицерона не превзойти...

— Особенно при самовосхвалении, — добавил Кальв.

— Я понимаю тебя, Лициний, ты не можешь забыть несправедливого обвинения твоего отца^[10]...

— Это была политическая игра, грязнейшая из грязных! Оптиматы ненавидели моего отца — защитника плебса. Цицерон — тогда уже двуличный — выбран сенатом для обвинения... Отец не перенес позора... Он покончил с собой в тот день, когда его объявили мздоимцем.

Катон положил руку на плечо Кальва.

— В характере Цицерона много отрицательных черт, — сказал он. — Но он не предаст республику и не потерпит единовластия, ради этого я прощаю ему все недостойные слова и поступки.

Кальв сбросил с плеча руку Катона и, сверкая черными глазами, закричал:

— Какое примерное благонравие! Цицерон — поборник справедливости... Все сенаторы — тоже... А кто был Сулла^[11]? Тиран! Кровавое чудовище! И его терпели и боялись!

Фурий испуганно вскочил, ему показалось, что Кальв и Катон поссорились.

Неслышными шагами вошел красивый, стройный Квинт Корнифиций, оратор и поэт. Приветливо улыбаясь, он обнял Катона.

Кальва как подменили: он со смехом повис на шее у Корнифиция. Потом усадил его в кресло и принялся рассказывать о прозвище, полученном ими от высокомерного Цицерона.

II

Таблин наполнялся гостями. Они здоровались с хозяином, целовались (нелепый обычай, привезенный с Востока) и полукругом рассаживались на скамьях.

Все были в расцвете молодости; их туники из кипрских тканей, с пушистой бахромою на рукавах, даже самыми рьяными модниками признавались верхом роскоши и изящества, а широченные, как паруса, хлены^[12], предпочитаемые традиционным тогам, скреплялись золотыми застежками. Волосы их, благоухавшие сирийскими ароматами, были завиты, щеки и подбородок — гладко выбриты. Впрочем, известный поэт Тицид носил остроконечную бородку, как на статуях древних египетских царей.

Маленький Кальв смешил Корнифиция, и оба хохотали без церемоний. Придвинувшись к ним, улыбался коренастый, белокурый Гай Гельвий Цинна, чрезмерно самоуверенный, но, по общему мнению, подающий надежды юноша. Рядом беседовали на великолепном койне^[13] историк Корнелий Непот и занимавший значительную государственную должность знатный аристократ Меммий. Непот со знанием дела объяснял родственные связи кипрских и египетских Птоломеев^[14], глядя в лицо собеседника спокойными серо-голубыми глазами. Статный красавец Марк Целий Руф, бравший у Цицерона уроки ораторского искусства, записывал стилем^[15] на воценой табличке стихи, которые ему диктовал черноволосый, смуглый Тицид. Его переспрашивал и дергал за рукав круглолицый и толстый Манлий Торкват, происходивший из прославленной патрицианской фамилии. В кругу друзей-поэтов он вел себя добродушно и непритязательно, все называли его запросто Аллий. Читая стихи, Тицид хмурил сросшиеся брови и поглаживал напوماженную бородку. На руке его белел перстень — яшма в виде нильского лотоса: среди молодежи «восточное» было в моде.

Шум начал стихать, когда в дверном проеме возник, весело подбоченившись, широкоплечий и массивный Аль-фен Вар, весьма преуспевающий адвокат. За ним следовал молодой человек среднего роста, одетый с неловкой тщательностью провинциала. Он покусывал нижнюю губу и слегка сутулился, смущаясь устремленных на него любопытных взглядов.

Вар сиял, лицо его выражало жизнелюбие и уверенность. Он поднял

ладонью вперед мощную, как у гладиатора, руку.

— Sit venio verbo^[16]! — с шутливой торжественностью возгласил Вар.
— Досточтимые поэты, представляю вам моего друга и земляка Гая Катулла!

— Опомнись, не вопи во все горло, — поморщился Кальв. — Если ты будешь так стараться, мы скоро оглохнем...

— Что ж, добро пожаловать, — приветливо сказал Катон, пожимая руку Катуллу.

Вар продолжал греметь:

— Я счастлив привести к вам Катулла, цвет римской и транспаданской^[17] молодежи! Связи отца, быть может, и откроют перед ним двери знатных, но истинную пользу ему принесут поэтические соревнования, а также советы нашего ученого и высоконравственного председателя...

— Вот беда, что ты не можешь приписать эти редкие качества себе, — насмешливо перебил его Корнифиций и подмигнул Катуллу, которого знал с ранней юности.

— Мне знакомы твои певучие элегии и потешные ямбы^[18], Гай Валерий, — с мягкой улыбкой произнес Кальв.

Подошли остальные участники собрания. Они хвалили стихи Катулла и пылко заверяли в верной и вечной дружбе. Большинство оказалось земляками: Фурий Бибакул, как и Альфен Вар, приехал в Рим из Кремоны, Цинна — из Бриксии, Непот и Корнифиций были веронцами, а Валерий Катон, хотя и родился в столице, но имел множество родственников в Цизальпинской Галии.

Понятие «дружба» еще не стало для них таким относительным и расплывчатым, каким оно обернулось в меркантильном Риме. Не только политическое единомыслие или общее времяпрепровождение определяли это веками утвержденное понятие. Оно означало сообщество мужчин, скрепленное почти братскими отношениями. По первой просьбе друга италиец предоставлял ему все, что мог: кров, деньги, содействие в делах и, если требовалось, жизнь и меч. Без колебаний он шел на любые жертвы и, со своей стороны, вправе был ожидать того же.

Пожимая руки молодых щеголей, Катулл чувствовал искреннее волнение. Теперь он не просто некий транспаданец в миллионной толпе Рима, а член союза известных литераторов, влиятельных и сплоченных земляков.

— Где ты живешь, Гай Валерий? — спросил Тицид. — Ты, конечно,

купил виллу на Палатине^[19]?

— У моего отца нет богатств Красса^[20]. Я снял пристройку на Квиринале за две тысячи сестерциев в год.

— Тебе повезло, квартира в доходном доме обходится не дороже. А сколько с тобой рабов?

— Ни одного. Мое немудреное хозяйство ведет старик Тит, крестьянин из наших мест.

— С удовольствием одолжу тебе рабыню, когда понадобится. — Аллий сделал на щеках хитрые ямки.

— Ну, без этого Катуллу не обойтись, — развязно вмешался Вар, — уж я его знаю. В Вероне все девчонки только и вздыхают по его похабным стишкам.

— Что-то ты, Альфен, подозрительно наговариваешь на Катулла. Видно, он отбил у тебя какую-нибудь красотку... — лукаво сказал Аллий, толкая адвоката в бок.

— Верно! — закричал Корнифиций. — Было такое, когда они еще бегали учиться к греку-грамматику!

— Гнусная клевета! Плут Корнифиций хочет меня унизить! — Вар схватил за ножку тяжелое кресло и замахнулся на Корнифиция. — Разве можно предпочесть мне заморыша Катулла! Клянусь Юпитером и всеми остальными богами, это абсурд!

— Прекрати сейчас же свой шутовский монолог! Ты сведешь нас с ума, хвастливый петух! — качаясь от смеха, завизжал Кальв.

Повернувшись к нему, Вар ударил себя в грудь кулаком: он изображал ужимки уличных мимов. Кальв повалился со скамьи на пол и потащил за собой хохочущего Цинну. Катон бросил в Вара подушкой, но адвокат не унимался:

— Клянусь Меркурием, моим покровителем! Вы все завистливые неудачники!

— Меркурий — покровитель торгашей и бродяг, — вставил Тицид.

— Превозносить передо мной какого-то пустомелю! — продолжал Вар, — Да не будь я сыном славного кремонского башмачника, если не разражу вас в пух и прах, молокососы! (Вар действительно был сыном зажиточного ремесленника и в юности учился тачать башмаки). — Что похвального совершил этот Катулл? — Вар размахивал толстыми руками, пародируя приемы ораторов. — Небось обегал все веселые дома да совлек с добродетельного пути сотню замужних женщин! Во всяком случае, когда я случайно увидел его на улице, кажись, на Гончарной, он любезничал с

какой-то черномазенькой потаскушкой... Ему ведь нужна каждый день новая...

Внезапно Катулл вспыхнул и завопил голосом уличного разносчика:

— Как ты смеешь, увалень, выставлять меня в подобном виде! Ты же врешь, как пьяная старуха! Да я тебя так отделаю, что распухшими губищами ты сойдешь за эфиопа!

— Отделаешь? Ты? Распутник! Веронский щенок!

Катулл бросился к Вару и вцепился в него, как остервенелый пес в хвост медведя. Тицид, Катон, Фурий, Руф подбежали, чтобы разнять их, и все вместе повалились на Кальва и Цинну.

— Пощады! Не буду больше! Сдаюсь на милость! — орал из-под кучи тел Альфен Вар.

Друзья поднимали скамьи и рассаживались, тяжело дыша. Остолбеневший от изумления Меммий только теперь догадался, что перед ним разыграли обряд поругания, затеянный «от сглаза» неугомонным Варом. Весельчак Аллий хохотал до обморока, его едва привели в чувство.

— Ох, мои милые, перестарались, — стонал Вар, вытирая мокрое лицо подолом туники. — Тицид, это ты намял мне ребра своей черной ручищей? Если после таких шуточек я отправлюсь к старикашке Харону^[21], кто же защитит македонян от Антония^[22]?

— Ну, за хорошую-то мзду найдут хоть сотню адвокатов... Правда, надо отдать должное твоей смелости. Не всякий согласится всенародно выступить против хапуги Антония, зная его свирепую мстительность...

Кальв прошелся с глубокомысленным видом и сказал, обращаясь ко всем одновременно:

— За два дня перед идами марта^[23] на Форуме произошла потасовка наподобие вашей. Некоторые граждане рисковали расстаться с жизнью, отстаивая свое мнение.

— В чем же причина такой неистовой ярости? — удивленно спросил Цинна.

— Пусть Кальв покажет свое искусство Цинне и Катуллу, — перебил его Руф. — А мы почитаем излияния Тицида о его безумной страсти к вертушке Метелле...

— При чем тут Метелла! — разозлился Тицид. — Ты же видишь, здесь в элегии написано «Перилла»...

— Прости, мой Тицид, — лукаво оправдывался Руф, — я всегда путаю эти похожие имена: Периллу и Метеллу...

— Сладостно закройте глаза и откройте уши, — шептал Вар так,

чтобы слышно было во всех углах. — Сейчас карапузик Лициний блеснет новоаттическим красноречием...

Показав ему маленький кулак, Кальв рассказал об очередном политическом скандале, не забывая о выразительных приемах модной риторской школы. В этом скандале принимали участие такие знаменитые римляне, как полководец Помпей, сенатор Марк Порций Катон и консул Метелл Целер.

— Боги, что происходит в республике! О, мерзость и падение! — восклицал Кальв, простирая одну руку к слушателям, а другую прижав ко лбу.

— Про Помпея я знаю кое-что. А кем представляется вам консул Целер? — спросил Катулл, внимательно слушавший маленького оратора.

Ему ответил председатель поэтического кружка.

— Пожалуй, я присоединюсь к Цицерону, который назвал Метелла Целера совершенною пустотой. Впрочем, Целер бесстрашный вояка, да и на Форуме его никто не может смутить...

— Этому грубияну служить бы центурионом^[24] в пехоте... — сердито проворчал Кальв.

Толстяк Аллий считался неиссякаемым кладезем светских сплетен и, при таком повороте разговора, сразу почувствовал себя, как рыба в воде.

— Про Целера сложили забавное присловье. Он, мол, единолично владеет своим богатством, поместьями, рабами и только жену по-братски делит со всем народом...

Аллий сказал это с милым лукавством, он был очень добродушен для отпрыска патрицианского рода и разносил сплетни, избегая явно оскорблять кого бы то ни было.

— Пропадите вы пропадом, болтуны! внезапно вскричал Тицид. — Клянусь золотой лирой Аполлона, зачем мы собрались? Чтобы обсуждать похождения консульской жены?

— Наш застенчивый друг, — пропел Аллий, обнимая Тицида, — боится, как бы от обсуждений супруги Метелла Целера мы не перешли к его двоюродной сестрице Метелле, в которую наш друг так пламенно влюблен...

— И которую в своих стихах тщетно прикрывает именем никому неизвестной Периллы, — ехидно добавил Руф.

III

Тем временем в таблин вошел пожилой раб-иониец^[25] и шепнул несколько слов хозяину.

— Гелланик сообщил, что готово скромное угощение, — сказал Катон, вставая. — Прошу перейти в триклиний^[26].

— Не думай отведать здесь изысканных разносолов, — предупредил Катулла Альфен Вар. — У нашего дорогого Катона легкое помешательство на идее простоты золотого века... Клянусь Меркурием, сам увидишь!

Вместо затейливой кулинарии, обычной в богатых римских домах, на треугольном столе белели круги овечьего сыра, стоял мед в глиняной миске и сложенные горкой хлебцы.

Гелланик раздал чаши, поставил два сосуда с холодной и горячей водой и с помощью мальчика-виночерпия внес пол-урны^[27] сетинского.

Прямо к обеду явился Аврелий, кудрявый юноша с кошачьими движениями и хитрой улыбкой.

— За опоздание ты наказан, — приветствовал его Кальв, вползая на пиршественное ложе. — Читай приличествующие случаю стихи, если твоя голова способна хоть что-нибудь вспомнить...

— Для тебя, любезный Кальв, я вспомню хоть всю «Илиаду».

Аврелий взял из высокой вазы ветку цветущей сливы, бросил лепестки в кратер^[28] с вином и произнес по-гречески:

Пенься, огромный сосуд, многопенною влагою Вакха
Брызни! Пусть оросит трапезу нашу она!^[29]

Запивая сетинским кусок жареного сарга^[30], Катулл разглядывал своих новых друзей. Вокруг него хохотали, спорили, читали стихи и взыскательно выверяли размеренные созвучия. Он чувствовал, как душа наполняется беспечным весельем, и, блаженно полузакрыв глаза, слушал музыку дружеского застолья.

Между тем яркая синева сменилась на закате дня фиолетовыми оттенками сумерек. Потоки темного золота хлынули между колонн перистилля^[31], словно сам Феб посылал последний привет своим избранникам — молодым поэтам... Может быть, так казалось

захмелевшему Катутлу. И этот стол с беспорядком пиршества, и фигуры, вдруг застывшие с чашами в руках, привиделись ему прекрасным барельефом из вызолоченной бронзы.

— Ну, нет уж, — донесся до него сквозь дремоту голос неутомимого Вара, — хватит кипятить себе кровь! Мой Катон, вели принести тускульского для освежения брюха и мозгов.

Явилось тускульское, и Вар — опытный и выносливый кутила — вливал в себя звучную струю прямо из кувшина.

— Эван^[32]! — крикнул он и отбросил пустой кувшин.

Гай Меммий решил последовать примеру адвоката, но в самом начале состязания поперхнулся и залил вином свою роскошную тунику. Не смущаясь, он скинул ее на пол.

— Кифару! — потребовал Меммий, оставшись в набедренной повязке. — Кифару мне и элегический венок!

Две молоденькие рабыни подали Меммию кифару и надели на его рыжеватую голову венок из плюща^[33]. Опершись на локоть, Меммий зазвенел струнами и запел:

Градом, Юпитер, осыпь, окружи меня тьмою,
Молнией жги, надо мною все тучи свои отряхай!
Но, лишь погибнув, смирюсь я, а если ты жизнь мне даруешь,
Вакху с Венерою я верно опять послужу!

Рукоплескания пирующих показались Катутлу искренними: в кружке поэтов не допускалось подобострастия. Катон прищелкнул пальцами и сказал:

— Прелестная мелодия и совсем не дурной перевод Асклепиада^[34].

— Ни любовницы, ни попойки, ни магистратские обязанности не лишают Меммия милостей Муз, — поддержал Катона Лициний Кальв.

— О, Гай, сокровище мое, — лепетал быстро напившийся Фурий, — дай я тебя расцелую!

Но Меммий взглянул на него с таким высокомерием, что Фурий осекся и поспешил наполнить свою чашу. Только хозяин и Корнелий Непот разбавляли вино, остальные пили чистое, возбужденно блистая глазами и становясь все красноречивее.

— Когда кривляка Возузий читает под базиликами свои корявые откровения, — кричал Вар, — меня тошнит! А вокруг собираются надутые ценители подобных виршей, считающие, что докопаться до смысла

Возуиева хлама дано только таким тонким умникам, как они. Остальные же, по их мнению, недоучки, бездарности, деревенские невежды...

Корнифиций обратился к Кальву растроганно — от души и немного спьяну:

— Милый Лициний, как и ты, я выступаю в собраниях. И довольно успешно, как говорят. Но тем более мне следует отметить выдающийся талант друга. Я поднимаю чашу за твой ораторский дар, разящий, как меч, и убеждающий, как философия Эпикура^[35]. И за твою благородную поэзию.

IV

Попросив слова, крепьш Цинна приосанился, будто взошел на трибуну Форума; он встряхивал спутанными белокурыми локонами и беспечно проливал из чаши вино.

— Друзья! — сказал Цинна. — Я благодарен судьбе. Клянусь Геркулесом! Вокруг меня люди, наделенные разнообразными и высокими достоинствами. Мои воспитатели, обучавшие изящным искусствам непоседливого сорванца, не могли и мечтать о таком обществе. Вот историк, вот ораторы и поэты... Поклонники Энодиамены^[36] и божества с бассарейскими кудрями^[37]... И как вещал меонийский слепец Гомер:

Нет, не забыт ни один из даров от бессмертных, —
Их лишь любимцам дают, произвольно никто не получит.

Что там сбрехнул о нас напыщенный Цицерон? Друзья! Я верю, что ваши эпиллии^[38] и элегии, ваши хроники и трактаты переживут столетия, вопреки злобе и клевете завистливых недоброжелателей. Я закончил.

— Короткая, но убедительная речь, мой мальчик, — важно сказал Кальв. — Только не перескакивай с латинского на греческий, говори на каком-нибудь одном языке.

Неожиданно Вар вскочил на стол и, покачиваясь, заревел:

— Речь Гая Цинны пылает в моей утробе! Сюда еще кувшин, чтобы залить это пламя!

Голос Вара казался непристойным и диким, но в коричневатых, узеньких глазах красноватым огоньком поблескивала уверенность.

— О, великие боги, ты пьян, Альфен! — хохотал Аллий. — Эй, свяжите этого калидоиского вепря!

— Пусть кипит наша кровь! Пусть на разгульном пиру и на ложе страсти настагает нас вдохновение! — старался перекричать Аллия Тицид. Пот катился по его лицу, промокла и затканная голубыми узорами туника. — Порыв юности и крылатое воображение — только они служат поэту! Ибо сказал блаженный Платон^[39]: «Кто без священного безумия подходит к порогу творчества, надеясь, что благодаря сноровистости станет изрядным стихотворцем, тот еще далек от совершенства; творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых».

Внесли светильники, тени заметались на потолке. В триклинии по-прежнему спорили и наполняли чаши. Катон шепнул несколько слов Гелланику. Прислонившись к стене, иониец заиграл на шипящей фригийской флейте^[40]. Катон взял кифару и присоединил стройные аккорды к его пастушеским руладам.

Послышалось звяканье меди, вбежали две прежние рабыни с кимвалами^[41] в руках.

Смущенно поглядывая друг на друга, девушки начали томный восточный танец. Они медленно кружились, поводили плечами и покачивали бедрами. Но вот флейта засвистела быстрее, и танцовщицы ускорили движения, проносясь то влево, то вправо перед глазами гостей. Разметались пряди распущенных волос, замелькали тонкие руки с гремящими кимвалами...

Кривляясь, как пьяный фавн, Аврелий обнял одну из танцовщиц, к другой, сладко ухмыляясь, приближался Тицид. Девушки ловко скользнули у них из-под рук, швырнули на пол погремушки и выбежали из триклиния.

— Тицид, миленький! — истошно вопил Фурий. — А как же Метелла... то есть, тьфу... Перилла?

— Вот бесстыдники, не дали девчонкам закончить танец, — смеялся Аллий, подмигивая Катону.

— А ведь сегодня ночью в честь праздника Цереры^[42] будет разыграна ателлана^[43] при факелах! — Юный волокита Аврелий уже забыл о своей неудаче и готовился к дальнейшим забавам.

— Стоя в толпе черни, любоваться непристойными кривляниями шутов... — пожал плечами Катон.

Внезапно с Катоном горячо заспорил Катулл:

— Ты считаешь ателлану забавой черни? Но разве в ней не отразилась душа наших предков? Любезный Катон, в народном веселье ты почувствуешь животворную силу и хлебнешь едкого италийского уксуса.

— Похвально изучать александрийскую поэзию, прекрасное дело переводить Каллимаха. Но мы ведь пишем и думаем по-латински... — поддержал веронца Лициний Кальв.

— А моя плебейская душа жаждет уличного лицедейства, тем более после такой отменной попойки, — заявил Вар, оказавшийся в абсолютно здоровом уме. — Оставим Акция^[44] ученикам грамматических школ. Клянусь Меркурием, моим покровителем, я иду на ателлану!

— Где же она будет разыграна? — спросил Катулл. Он вспомнил, как все мальчишки в Вероне бегали по праздникам смотреть представление

грубоватой и веселой комедии с забавным дураком Макком, болтуном Букконом, сплетником Доссеном и похотливым стариком Паппом.

— Идемте в курию Цереры. Там перед храмом поставили подмости. Начало сразу после первой стражи^[45].

— Клянусь всеблагими богами, решение принято! — воскликнул Вар.
— Эй, мальчик, еще по чаше тускульского на дорогу!

— Гелланик, — позвал Катон, — возьми Стефана да кулачного бойца Нумерия. Будете нас сопровождать.

Гости покидали триклиний. Поспешив вперед, Гелланик зажег факел — кусок просмоленного каната.

Громко разговаривая и смеясь, поэты вступили в ночную тьму, четко отделенную на гранях домов от сияния зеленоватой майской луны.

На одной из тесных улочек Квиринала, возле дома всадника Стаберия, сидели трое мужчин в заплатанных туниках. Черпачками, сделанными из хлебной корки, они ели густую ячменную похлебку — пульту. Стена сада нагрелась от весеннего солнца, припекало и ступеньку, на которой они расположились. Но трое жевали размеренно, посапывая и вытирая кулаками вспотевшие лбы, как едят крестьяне, относящиеся к пище почти молитвенно.

Покончив с похлебкой, они съели и хлебные черпачки. Достали глиняную бутылку с отбитым горлышком и поочередно наливали в оловянный стаканчик дешевой кислятины. Трапеза настроила их благодушно, и начался послеобеденный разговор.

— Хороша пульта у стряпухи Порции, — сказал коренастый пожилой бородач, приехавший в Рим с Бенакского озера^[46], — а, Лувений?

— Что верно, то верно, — подтвердил апулиец^[47] Лувений, горбоносый, лохматый, с давно не бритой черной щетиной, — тут ты, Тит, прав.

— Слава богам, сыты — едим дважды в день, — снова сказал Тит. — Пахарю нельзя привыкать объедаться и бездельничать.

Черномазый апулиец ухмыльнулся и подтолкнул парня лет двадцати:

— Ну а мы бы не отказались от господских сладостей. Свиное вымя в укусе получше каши без масла, дурак поймет. Скоро, перед выборами, нобили^[48] начнут ублажать народ... Столы поставят у Тибра — жратвы, вина, хоть тресни. Вот жизнь-то, а, Манний?

Парень махнул рукой и сделал недовольное лицо:

— Тебе хорошо, бросишь свой лоток с гнилыми тесемками и пойдешь куда тебе надо. А я-то в саду у сквалыги Стаберия за долги копаюсь: не захочет — не отпустит.

— А у меня римские безобразия, пьянство и распутство в тоску вгоняют... — мрачно произнес Тит.

— Ох, Тит! Ох, смешной! — скалил зубы Лувений.

Тит посмотрел на него укоризненно: что за человечешко вертлявый такой! — и продолжал рассуждать.

— Сейчас бы на поле всходы осматривать да нашим крестьянским богиням Сейе и Сегетии моления совершать. Вечером на озере сеть забросить, а перед сном — посидеть под платаном, распить по

секстарию^[49] винца с зятем и племянником.

Апулийцу Лувению до того стало весело, что он подпрыгнул на корточках и привалился к стене.

— Ох, Тит! До чего ты прост! Все бы в земле тебе ковырять, старый крот! И зачем ты только сюда притащился?

— Моя семья арендует у знатного господина Катулла землю под пшеницу и овощи. Прошлый год задолжали малость, аренду полностью не выплатили... Вот мне и говорят: «Поезжай-ка ты в Рим, будешь молодому хозяину прислуживать, а долг твоей семьи за эту службу зачтется».

— Рабов у них нет, что ли?

— Как не быть. Да только в наших краях все по-другому. Здесь, в Лации-то, говорят, тысячи рабов у богачей, а свободнорожденные разорены. Бродят по дорогам да на рынках подаяния просят...

— Знаем, — нахмурился Лувений.

— Рабы моему хозяину не подошли, а я, видишь, понравился. Конечно, я в лавку хожу, к завтраку Гаю Валерию сыр покупаю, а потом весь день маюсь, будто пес шелудивый... — Тит заморгал глазами и засопел, но одумался, жаловаться больше не стал.

— Тебе ли сетовать, — вздохнул Манний. — Твой молодой хозяин бестолковый, как теленок, весельчак, кутила... Не придирается, голодом тебя не морит...

Лувений придвинулся с деловым видом:

— А деньжонки у него водятся? Род богатый?

— Род Катуллов у нас известный. Отец Гая Валерия в городском совете сидит. А сам-то Гай Валерий уходит с утра как жених, выбритый, вымытый, надушенный, а приходит хмельной да измятый...

Лувений уставился своими бесстыжими глазищами с любопытством:

— Пирует небось? Со знатными юношами дружит?

— У кого деньги есть, чего же не пировать, — заметил Манний.

— И какие деньги можно просадить в Риме — подумать страшно! — сокрушался Тит. — Мой хозяин на подарки потаскухам сколько истратил! Да книг натащил ворох... Бывает, усталый, бледный, и — нет бы выспаться — всю ночь сидит и читает. Или пишет...

— Чего ж он масло-то в светильнике переводит? — удивился Манний.

— Дня ему не хватает, что ли? Читать-писать... — Лувений корчил рожи — явно хотел поддеть и Тита, и его Гая Валерия.

— Пишет он, скажу-ка вам правду, стихи, — пояснил Тит. — До стихов и другой блажи мне дела нет, но что про Гая Валерия толкуют доброе, клянусь Юпитером, это верно.

— В Рим лезть со стихами — все равно как решетом дождь ловить. Стихоплетов развелось во сто раз больше, чем бродячих собак.

Помолчали, выпили еще по стаканчику. Манний мотал головой и вздыхал — томился по деревне, а может быть, по милой...

Лувений посмотрел на него и промолвил лукаво:

— Лучшее время в деревне осенью: урожай собран, вино забродило. Самую цветущую девку отдают самому ражему парню, вроде Манния. Все пьянствуют и поют. Ну-ка, спой нам, Тит!

— Да мы не похмем его галльские песни, — пренебрежительно сказал Манний.

— Разберемся. Мы теперь все римляне, — настаивал Лувений. Тит долго отказывался, но потом махнул рукой, крикнул смущенно и затащил сипловатым баском эпиталамий^[50]:

О, Гимен — Гименей!
Услышь ты наш дружный зов!
Приходи к нам, веселый бог,
Добрых свадеб строитель...

— Гляди, как распелся мой захмелевший Тит! — воскликнул Катулл, появляясь из-за угла. С ним был красивый юноша в короткой тунике, затканной золотыми блестками.

— Старик поет с чувством, не правда ли, — продолжал Катулл, — хотя и сильно шепелявит, что сразу выдает жителя Цизальпинской Галлии.

— Наверное, от него ты и набираешься тем для элегий... Или скорее для гимнов, — сказал юноша, поправляя нежной тонкой рукой черные волосы, падающие на плечи.

— Что ж, Камерий, ты прав: кроме александрийских ямбов, я склонен находить своеобразную прелесть в песнях народа. Поэт, избегающий их, напрасно ограничивает свое воображение. Однако, Тит, бессовестный, я привел гостя, а ты и не думаешь подать нам по чаше вина.

Тит молча забрал миску, оловянный стаканчик, бутылку и пошел вокруг дома к невысокому приделу, облицованному бетоном. Это и была та пристройка, которую Катулл снимал за две тысячи сестерциев в год. В первой ее комнате размещался Тит со своим хозяйством, во второй и третьей стояли скамьи, стулья, спальное ложе, туалетный столик и шкаф со свитками книг. Тускло желтела бронзовая чеканная ваза из Коринфа, на шкафу расставлены терракотовые статуэтки, светильники, дорогая посуда

красного стекла, мраморная статуя Дианы — Латонии, у спального ложа — письменный прибор и таблички — церы.

Катул небрежно отбросил хлену. Покусывая нижнюю губу, он вспоминал объятия оливково-смуглой сицилийской гречаночки Ипсифиллы. Сегодня он заявился к ней с утра и до полудня слушал ее млеющий лепет.

Выходя из Ипсифиллы, Катулл встретил юного Камерия. Подозрительно, что этот красавчик оказался именно здесь. Неужели похотливая девчонка пригласила и его? Катулл со смехом погрозил Камерию, сделавшему невинный вид.

Камерий беспечен и остроумен; он состоит в актерской коллегии при храме Минервы. В Риме к актерам по традиции питают презрение, не то что в Греции, где они пользуются любовью сограждан. Правда, в недалеком прошлом и на римских подмостках выступали великие трагики и мимы, заслужившие всеобщее признание, — такие, как Эзоп и Росций.

— Итак, дорогой Гай, ты увлекаешься крестьянскими песенками... Но что же из этого последует достойного и благородного для поэзии? — разглагольствовал Камерий, развалившись на стуле.

— Скажите, какой чванливый нобиль! Не припомнить ли нам твою родословную?

— Ничего нет легче. Я не испытываю ложного смущения, называя своих предков. Мой отец отпущенник, сын римского всадника Камерия Дивеса и его рабыни-сириянки, мать моя — дочь гречанки из Тарента и торговца шерстью, наполовину лукана, наполовину оска.

— Клянусь Аполлоном, жаль, что в тебе нет еще умбрской, этрусской, иберийской, иудейской, галльской и разной другой крови, тогда бы уж истинно можно было сказать: «Вот малый, соединивший в себе целое человечество!»

— Самое главное, что моя смешанная и перемешанная кровь не кипит от гордости и не препятствует мне исполнять женские роли.

Остроумие Камерия располагало Катулла к взаимному веселью. Он напустился на юношу с шуточной бранью:

— О, ублюдок неизвестной породы! О, бесстыдник, носящий коротенькую тунику, чтобы показать свои стройные ноги! О, женоподобный Нарцисс, отрастивший локоны и покрасивший ногти, словно кокетливая девка! За тобой ведь бегают толпою все развратные старикашки в городе!

— Это восхищенные поклонники моего актерского дарования. Однако хватит обо мне. Прочти-ка лучше свои последние стихи.

Катулл разыскал среди разбросанных черновиков нужную табличку.

— Помнишь ли ты судебный процесс, на котором некто Коминий выступал с гнусным обвинением против смелого трибуна, пожелавшего облегчить судьбу запутавшихся в долгах граждан?.. Забыл, наверное?

— Отчего же, я помню. Все возмущались и проклинали Коминия, ставленника алчных ростовщиков.

— Так вот, недавно вблизи Форума я обратил внимание на отталкивающе желчного старика с крючковатым носом орла-стервятника. Зная, что особо отъявленных негодяев боги, как правило, не даляют соответствующей внешностью, я из любопытства спросил: «Кто он?» — «Коминий, — ответили мне. — Да, да, тот самый. По-прежнему является на собрания и отравляет воздух смрадным дыханием клеветника».

Держа перед собой табличку, Камерий продекламировал мальчишеским голосом:

В час, когда воля народа свершится, и дряхлый Коминий
Подлую кончит свою, мерзостей полную жизнь,
Вырвут язык его гнусный, враждебный свободе и правде,
Жадному коршуну в корм кинут презренный язык.
Клювом прожорливым ворон в глаза ненасытные клонет,
Сердце собаки сожрут, волки сглодают нутро.

Какая беспощадная сила! Но берегись, такая отповедь может не понравиться кое-кому из влиятельных нобилей, друзей Коминия...

— Призвание поэта — не просто способность сочинять стихи, — сказал Катулл. — Это еще божественная откровенность, это смелость и честность, я думаю.

VI

Лежа и уперев в колени вощеную табличку, Катулл переводил Каллимаха. Вот перед ним пролог и элегии великого александрийца — в них мифология оборачивается к читателю не героическим звоном мечей, не распряями бессмертных, а пестрыми картинами человеческой жизни.

Катулл выбрал трогательную легенду о юной царице Беренике.

Сразу после свадьбы муж ее отправился на войну. В день прощания Береника отрезала косу и возложила на алтарь как залог благополучного возвращения любимого. Боги приняли жертву: коса Береники вознеслась на небо и стала новым созвездием.

Легенда воплощена в живых и прекрасных поэтических образах. Нелегко создать перевод, в котором не потускнели бы стройные созвучия и уникальные познания Каллимаха. Может быть, эта маленькая поэма принесет скромному веронцу известность в городе сотен поэтов, в городе ожесточенного литературного соперничества...

Катулл грыз костяной стиль, быстро царапал ряды мелких букв, заглаживал их и снова царапал.

Нет, он не будет подражать изысканной иронии александрийца. Он напишет страстные и правдивые стихи о слезах разлуки и радости соединения влюбленных. И заговорит сама «коса Береники», ставшая по воле богов созвездием:

Тот, кто все рассмотрел огни необъятного мира,
Кто восхождение звезд и нисхождение постиг,
Понял, как пламенный блеск тускнеет бегущего солнца,
Как в им назначенный срок звезды уходят с небес,

.....

Тот же мудрец и меня увидал, косу Береники,
Между небесных огней яркой пролившую свет...

Начало, пожалуй, удалось. Но что-то мешало ему продолжить работу. Он не предполагал, конечно, что закончит перевод Каллимаха только через пять лет.

Его новые стихи ждут друзья и недруги. Друзья — чтобы расхвалить их без меры, недруги — чтобы наброситься на них с уличной бранью.

Эпиграмма на гнусного Коминия возбудила противоречивый шум. Цинна назвал Катулла «бичом возмездия». На собрании у Катона его встретили восхищенными криками. Многие римляне переписывали эпиграмму, она ходила с рук на руки.

Были еще и двусмысленные и насмешливые безделки.

Одна из них, весьма нескромная, о его встречах с резвушкой Ипсифиллой, вызвала осуждение Фурия. Он заявил, что такие стихи пригодны лишь для пьяных солдат. Что ж, следует доказать всем (не только Фурию, разумеется) свою приверженность изящной поэзии, а себе — способность к тщательному и настойчивому труду. Постоянные застолья, зрелища, похождения утомляли и раздражали его. Наверное, он не создан для такой блестящей и бурной жизни, какую ведут молодые римские аристократы, ненасытные и скупающие. А он, бедняга Катулл, воистину деревенщина, привыкший к своей тихой Вероне и плеску озера у порога отцовской виллы. Может быть, ему не следовало покидать родной чертог, терять покровительство ларов^[51]? И он услышал бы свадебные песни и нежный зов прелестной, любящей девы... Но честолюбивый веронский муниципал распорядился иначе: одного сына послал служить в далекую Вифинию^[52], завоеванную недавно Помпеем, другого в столицу, надеясь на его выдвижение среди смут, заговоров и интриг.

Гай Катулл не оправдывал надежд отца, он проявил себя только поэтом. Свои антипатии он выражает стихами и не думает выступать с речами на Форуме.

Ему двадцать семь лет, юность ушла, но что он узнал о вечном, могучем и возвышенном влечении человеческих душ? Он знает лишь доступное и всеобщее: сговорчивые деревенские девчонки, покорные рабыни, дебелистые похотливые провинциальные матроны, а здесь — всякие остроумные подружки, развязные актрисы и взбалмошные поэтессы.

Катулл поднялся и в тоске бродил по комнате. Позвать Тита? Выпить вина? Нет, хватит бесконечных возлияний. Что же он ищет? В жизни, в поэзии, в любви?

Он подошел к шкафу и, держа светильник, задумчиво разглядывал книги. Часть он привез из дома, но большинство купил в Риме, рыская по лавкам и истратив уйму денег.

Вот великая Сафо^[53]! К ней стремится его сердце через бездну невозвратимого времени, преклоняясь перед ее волшебным, божественным даром. И эта женщина жила пятьсот лет назад! Всемогущий Юпитер, златокудрый кифаред Аполлон и ты, Киприда пенорожденная, как вы могли

допустить вечную разлуку между ними — юношей из Цизальпинской Галлии и гречанкой с острова Лесбос?..

Она возглавляла девический союз в городе Митилене. Собираясь, жрицы Муз слагали торжественные гимны, безумствовали, как менады, в экстазе священных плясок, но, преисполненные вожделениями юности, опасались грубого прикосновения мужской руки. Впрочем, легенду о лесбиянках придумали позднее, в эпоху победоносно развившихся пороков...

Сафо «фиалкокудрая, сладостно смеющаяся» — так называли ее поэты. В любви она стала соперницей своей дочери. Не смогла устоять перед призывом судьбы и холодом спасительных размышлений сдержать бурю страсти.

«Словно ветер, с гор на дубы налетающий,
Эрос души потряс нам...» — стонала Сафо.

Ее славил в песнях. Ее изображения чеканили на монетах и высекали из мрамора. Ее называли десятой музой Эллады. Но смазливый Фаон был честен и глуповат. Он предпочел свежесть девчонки и пугался страдания во взгляде гениальной матери. Сафо бросилась со скалы в море. И вот через пятьсот лет скорбит о ней, как о потерянной навсегда возлюбленной, только он — мятущийся, одинокий Катулл.

За окном неслышно кралась душная ночь, обволакивая уснувший сад тяжелой истомой.

Катулл вышел в переднюю комнату, напился из кувшина теплой воды. Тит, задрав седоватую бороду, негромко и уютно похрапывал. Катулл посмотрел на него, в чем-то ему позавидовал и вернулся на свое ложе. Взял табличку, будто предупреждая себя, написал:

От безделья ты, мой Катулл, страдаешь,
От безделья ты необуздан слишком.
От безделья царств и царей счастливых
Много погибло.

Протянул руку, хотел привычно выправить фитиль, но светильник горел ровно, желтым оцепеневшим язычком. Катулл снова задумался о Сафо. В старину сохранялось множество портретов лесбосской поэтессы. Теперь остались лишь описания. Она была маленького роста, черноволосая, глаза как маслины, очень смуглая, с печальным и нежным ртом. Такие женщины всегда нравились ему больше других. Они похожи на

южный плод, опаленный зноем.

Разворачивая свиток с гимнами и эпиталамиями Сафо, Катулл словно искал подтверждения своим странным мыслям. Остановился на переложении древнего свадебного песнопения. Он знал его давно, но прежде воспринимал спокойно. Теперь все переменялось в нем: словами Сафо он мог бы признаться ей самой в своей безнадежной страсти, если бы перед ним вдруг возник ее бледный призрак.

Катулл начал перевод трепетных и мучительных стихов гречанки:

Кажется мне богоравным или —
Коль сказать не грех — всех богов счастливей,
Кто сидит с тобой, постоянно может
Видеть и слышать
Сладостный твой смех...

Тит с утра пораньше ходил на рынок, купил сыра и овощей. Когда он вернулся, Катулл еще спал, устало и безмятежно. Тит заглянул в комнату, увидел Гая Валерия среди беспорядка книг и исписанных табличек, покачал головой и пробормотал:

— Чего всю ночь себя изводит? Ну как есть одержимый.

Потоптался у порога и позвал спящего тихонько — то ли жалел его, то ли уважал все-таки:

— Гай Валерий... Ты приказывал разбудить тебя пораньше... Вставай же!

Катулл открыл припухшие, светлые глаза и лукаво пропел:

— А... почтеннейший Тит... Ну, как наши дела, земляк?

Старик сразу разомлел, растрогался. А что, ведь они, можно сказать, из одной деревни...

— Доброе утро. Уж рынки торгуют, и улицы полны народа. Наш толстопузый Гней Стаберий пошел навещать приятелей и лебезить перед знатными. А его бесстыжие рабыни глазеют на прохожих и задирают подолы выше колен. Выпей-ка молочка натошак. И мутить не будет, и колики в боку пропадут. Так-то здоровее, не то, как римские бездельники: чуть свет вино хлыщут...

— Ох, земляк, — засмеялся Катулл, — так ты прекрасно все описал — дальше некуда. Прямо, Луцилий^[54] ты, Тит! Сарказм у тебя природный!

Тит опять помрачнел: какой там еще Луцилий? Наверное, какого-нибудь стихоплета вспомнил, не иначе.

— Это убрать? — спросил Тит, показывая на беспорядок.

— Не надо, оставь. Приготовь мне голубую тунику, помнишь? И выглади хлену...

— О, боги, опять! — не выдержал Тит, но осекся и сказал с сожалением. — Сейчас приготовлю, не беспокойся.

Катулл тщательно пригладил волосы, опрыскал себя духами. Тит держал перед ним зеркало и вздыхал.

Вошел Цинна, надушенный и разодетый.

— Гай, ты готов? Ужасная жара... Наши разопревшие поэты согласились с предложением Фурия провести день у реки.

— На той стороне?

— Еще бы! Никого не тянет окунуться в стоки ста тысяч нужников. Перед Яникулом^[55] вода чище, там римские богачи и понастроили купален для своих жен...

Беспечно болтая, они вышли на улицу. Пылающее солнце висело над Римом. До полудня было далеко, но город уже напоминал раскаленную жаровню.

— В наше время женщины не ищут особых достоинств в мужчинах, кроме одного, разумеется, — рассуждал безусый философ Цинна, набрасывая на голову край белой тоги.

— Слушай-ка, дружок, — воскликнул Катулл, шутливо всплеснув руками, — уж не собираешься ли ты написать очередной трактат о падении нравственности?

— Ну, столь пошлая тема меня пока не прельщает. Впрочем, я сочиняю нечто, имеющее косвенную связь с греховностью окружающей жизни...

— Это поэма? Да говори же, Цинна!

— Содержание таково. Кипрская царевна Смирна горит преступной любовью к своему отцу. Она добивается взаимности и гибнет, постигнутая гневом богов. Я задумал описать эту историю, не отвлекаясь на подробности внешнего отображения событий, а погружившись в глубины запретных чувств. Не знаю, удастся ли мне, но в моей поэме все должно быть в переплетениях сложных и изящных иносказаний, как у многомудрого Эвфориона^[56]...

— Музы да пошлют тебе вдохновения, — сказал Катулл и, улыбнувшись, добавил. — Постарайся все-таки выходить иногда из дебрей александрийской учености на доступные всем поляны здравого смысла.

Цинна промолчал. Он побаивался Катулла и предпочел не распространяться больше о своей поэме.

Рим гремел от буйства крикливых и праздных толп. Обливаясь потом на солнцепеке, друзья с досадой ждали, когда пройдет медлительная храмовая процессия, направлявшаяся на Капитолий, затем проталкивались через галдящее скопище пьяниц у плебейской попины^[57], дважды попадали в опасную сумятицу, затеянную клиентами соперничающих магнатов, и едва избавились от наглого преследования уличных гадалщиков...

Вокруг происходило нечто невероятное. Граждане заполнили улицы, как в дни радостных Сатурналий^[58]. Они двигались взад и вперед, окружали то здесь, то там какого-нибудь горластого оратора, спорили и размахивали руками. Знатных сопровождало иной раз до полусотни телохранителей, грубо расталкивавших толпу. Затевались ссоры и драки — походя — как обязательный ритуал. И все эти озабоченные, взволнованные римляне, подобно неуправляемому морскому приливу, спешили к Форуму.

— Нет, больше вытерпеть невозможно... Я задыхаюсь, — простонал Катулл в полном отчаянии. — Надо было остаться дома...

— Ничего, как-нибудь выберемся из этого сборища сумасшедших, — сказал Цинна, отдуваясь и вытирая с лица капли пота.

Они обошли Форум по крутым извилистым переулкам, спустились к Большому цирку и, оставив слева от себя храм Фортуны, по деревянному Сублицийскому мосту перешли Тибр.

Веселое общество, укрывшееся от жары в тени дубов и акаций, встретило друзей приветственными возгласами и остротами. Повсюду на траве и на прибрежном песке были разостланы цветные ткани, стояли корзины с фруктами. Рабы помогали гостям снять одежду и подавали им чашу с охлажденным вином.

Смуглый Тицид играл в двенадцатилинейные шашки с Валерием Катонем, а вертлявый Аврелий мешал им, приставая с советами и объявляя о результатах каждого хода. Женственный юноша Асиний Талл кутал в полосатый сирийский плащ изнеженное, дряблое тело. Он сердито крикнул на Аврелия хриплым от пьянства голосом и вызвался судить игру «с беспристрастием Миноса»^[59].

— Убирайся, — сказал ему Тицид. — Твой двоюродный брат, умница Поллион^[60], достоин был бы стать нашим судьей, но ты, негодник, только позоришь честнейшего Поллиона... Я боюсь, что ты утащишь у меня из-под рук фигурку.

— Проглоти, Талл, эту прелестную элегию Тицида и будь здоров! — Аврелий со смехом запрокинул кудрявую мальчишескую голову.

— Я не потерплю оскорблений, — обиделся Асиний Талл, но Аврелий

обнял его и хитро замурлыкал:

— Не обижайся, к чему отрицать общеизвестную истину. Ничего не поделаешь, если ты нечист на руку. Давай-ка лучше сыграем с тобой на другой доске.

Шашками увлекались представители высших сословий, тогда как среди простонародья самой распространенной игрой были кости. В Риме создавались многочисленные шашечные кружки с постоянно приписанными игроками, проводились встречи и олимпиады.

Здесь, у Яникульского холма, каждый делал то, что приходило ему в голову: пел, играл в шашки, плескался в реке и всячески веселился, проявляя большее или меньшее остроумие. У воды с истошными воплями приплясывали Корнифиций, Фурий Бибакул, тучный и красноватый, как ошпаренный поросенок, Аллий и еще несколько знакомых Катуллу молодых людей. Они подбадривали мускулистого юношу, переплывавшего Тибр с мяукающей кошкой в одной руке. Оказавшись у берега, юноша швырнул кошку на песок и победно воскликнул:

— Йо! Ну, кто плавает лучше — я или Корнифиций?

— Признаем, что ты, — ответил Аллий. — Если же говорить о вас, расслабленные лентяи, то вам-то до Корнифиция далеко.

— Надо учитывать, что Корнифиций вырос на Бенакском озере, и ему особенно покровительствует Нептун, — возразил Порций, высокий костлявый человек лет тридцати с надменно выпяченной нижней губой.

— Эй, — крикнул Аллий рабам, — чашу холодного велитернского победителю Калькону! И всем нам!

— Явился Цинна и с ним прославившийся похабными стишками веронец, — заявил Фурий.

— В воду их немедленно, пусть покажут, на что они способны, кроме распутства и стихоплетства!

Катулла и Цинну стали толкать в воду, началась дружеская борьба с криком и хохотом. Веселье длилось часа три, было рассказано множество непристойных историй, прочитано немало эпиграмм и безделок, — и все это происходило в то время, когда граждане Рима стремились на Форум, где происходили бурные и скандальные выборы магистратов.

К концу дня из-за деревьев показалась рослая фигура Вара, а рядом — будто для контраста — Лициния Кальва. Все с удивлением разглядывали усталые, нахмуренные лица ораторов.

— Веселитесь, милейшие? — язвительно спросил Вар. — А на Форуме объявлен подсчет голосов. Или вас это не интересует?

— Что же объявлено? — подступил Аллий, сделав вид, что он

напряженно думает о перепетиях политики.

— Ничего утешительного. Сенаторы и народ утвердили кандидатов на консульские должности. И когда Лукулл^[61] предложил отклонить кандидатуру Цезаря, против него решительно выступили Красс и Помпей^[62].

— Исконные соперники! — воскликнул Тицид.

— Скорее враги, — пожал плечами Катон.

— Каким образом и кто сумел их объединить? Неужели это дело рук самого Цезаря? — удивился Аллий. — Должен признаться, у него поразительные способности, я потрясен...

— Так же были потрясены и сенаторы. Они утвердили Цезаря, — сказал Кальв, — и в скором времени это дорого им обойдется.

VII

Катулл злился сам на себя. Каким ужасным характером наделили его боги! В веселом обществе он, верно, невыносим со своей глупой деревенской суровостью. Если же он сам пытается шутить, то совсем некстати, и окружающие глядят на него с насмешливым сожалением. От ему и досады его остроты становятся злыми, и, конечно, он наживает себе врагов.

Как все непоследовательные и горячие люди, Катулл проклинал теперь свою строптивость. Ему виделись изумрудные глаза, карминно накрашенный рот, диадема на черных кудрях и обольстительная белизна выхоленного тела. В тот вечер ему доступна была красота истинно патрицианская, отграненная сознанием своей исключительности, величием предков и ласками знаменитостей.

«Что тебе мешало? — спрашивал себя Катулл. — Ведь капризная любовь Постумии даст тебе не одно наслаждение, но и проторит путь в конклавы^[63] знатных матрон и триклинии магистратов. Твой талант, в котором (будем откровенны) ты сам еще не слишком уверен, благожелательно поддержат. Ты прославишься и перестанешь терзаться постоянным сомнением. Что тебе стоило поцеловать эти надменные, выжидающие губы? Ты...» Боги, он обращается к своему двойнику? Идиотская привычка одинокого неудачника разговаривать с самим собой...

Катулл вышел в сад. Небо выцвело, желтеющая листва на деревьях поникла. Септембрий не принес пролады; слепящая, изнуряющая жара навалилась на холмы Лация и бесконечные нагромождения тесаных камней, — таким казался ему душный Рим. Дышалось с трудом, в саду почти не было тени. Далеко от извилистых улиц Квиринала мелел мутный Тибр.

При мысли о Постумии Катулл чувствовал, как сердце его начинает учащенно биться; будто наяву он слышал ее небрежный, порочный смех. Что же произошло? Венера повязала жене сенатора Сульпиция свой пестрый, волшебный пояс, а мальчишка Эрот пробил ему сердце? Или виновата эта жара? Старухи говорят, что знойный ветер ливийской пустыни приносит жажду убийства и любовную горячку. Катулл старался разобраться в своих чувствах к Постумии и отделить поздние домыслы от того, что действительно произошли на пиру у Аллия.

Пока гости не слишком опьянели, в триклинии любезничали и

развлекались поэзией. Недурные элегии прочитали Корнифиций и Тицид. Катулл втайне завидовал, глядя, как их осыпали лепестками роз. Потом смазливый Фурий декламировал свои приглашенные ямбы, — они припахивали изысканным унынием Эвфориона. И нечто безобразно спотыкающееся проскулил длинноносый ублюдок Сестий, постоянно твердивший о своей дружбе с Цицероном.

Сменилось множество затейливых блюд, рабы устали снимать печати с огромных бутылей. Постепенно оргия набирала буйную силу, как разлившийся весенний поток. Цинна и Калькой едва не сцепились из-за юной Цецилии; Фурий и Аврелий так упорно ухаживали за немолодой и некрасивой Мунацией, что она решила отбросить условности и улеглась вместе с ними; Гай Меммий без стеснения мял пышные прелести сговорчивой вдовушки Фульвии, а остальные отпускали солдатские остроты и, облизываясь, посматривали на красавицу Постумию.

— Предлагаю забавное развлечение, — в конце концов сказала Постумия, криво усмехаясь. — Аллий, прикажи налить в бассейн теплой воды...

— Вы слышали, что сказала госпожа? — закричал Аллий рабам. — Не заставляйте меня повторять, негодяи!

Рабы со всех ног бросились выполнять приказание.

— А теперь, — продолжала Постумия, — тащите девчонок в воду. Раздевайтесь! Все вместе будем купаться!

Внезапно Постумия оказалась на коленях у Катулла. Это длилось всего несколько мгновений. Катулл неподвижно глядел на ее бледное лицо, раздувшиеся ноздри и мелкие капельки пота, выступившие над верхней губой.

— Разве я похож на воробья, что прыгает на воробьишу перед всем городом? Если прелестная Постумия пожелает меня увидеть, стоит передать через любезного Аллия... — Сторонясь пьяного буйства, Катулл вышел из триклиния. Нетерпеливо ждал в прихожей, пока раб принес его хлену. Появились Катон и Кальв.

— А вы не хотите ли испробовать это сомнительное удовольствие? — сказал Катулл, показывая рукой в сторону бальнеума, откуда доносились крики и женский визг.

— Я брезглив, — заявил Катон. — Толпой лезть в бассейн, это уж слишком...

— А у меня дома жена, — засмеялся Кальв. — Я должен сохранить силы для моей Квинтилии.

Оба шутили, но Катулл не мог не оценить их сдержанности.

И вот, спустя неделю, он малодушно сожалеет о своем детском негодовании.

Время тянулось мучительно. Встречаясь с Аллием, Катулл не раз спрашивал о Постумии, но толстяк щурил хитрые глаза и с лицемерным вздохом пожимал плечами. Нет, прекрасная матрона ничего не передавала для него. Кажется, она уехала в Байи^[64].

За истекший месяц было несколько собраний у Катона. Друзья удивлялись мрачному виду Катулла и приставали к нему с расспросами.

Кальв сердито выговаривал ему:

— Если бы ты ежедневно торчал на Форуме, препираясь с интриганами и сутягами, корпел бы ночами над составлением речей и пытался, подобно мне, преуспеть на политическом поприще, твое молчание можно было бы объяснить. Но ты совершенно отбился от рук Аполлона. Сам же писал: «От безделья ты, мой Катулл, страдаешь..» Что же ты повернулся к Музам задом, лентяй? Где перевод Каллимаховой «Береники», который ты так успешно начал?

Спокойный, доброжелательный Непот трудился над первым томом всемирной истории. После Кальва и Корнифиция он стал ближайшим задушевым другом Катулла. Они беседовали о судьбах мудрецов и поэтов древности, о греческой литературе, об учениях перипатетиков, стоиков, орфиков и эпикурейцев^[65]. Познания Непота были разносторонни и глубоки, его библиотека — великолепна.

Катулл не выносил отвлеченных умствований в ту пору, когда его охватывало любовное нетерпение. Впрочем, умница Непот мог увлечь кого угодно.

— Эпикур говорит о внутренних свойствах Земли и Космоса и о существующей в сознании людей категории бессмертных богов. Это соблазнительно: боги находятся как бы в отдалении и ничем не связаны с радостями и бедствиями Земли. Признаем, однако, что убедительно бессмертие одного материального вещества, состоящего из атомов, и, как следствие бесконечного развития вещества, бессмертна человеческая мысль, неустанно ищущая познания.

— Но так же вечны зло и невежество...

— Они всегда пребудут в борьбе с добром, и это единственное условие. Движение и борьба — свойства жизни, бездействие — ее гибель. Вот в чем убеждены мудрецы, а не в предопределении или воле богов. И хотя на опыте поколений зло кажется всемогущим, но мысль взлетает над ним, как... крылатая Ника^[66], потому что ей суждено вновь и вновь

возродиться. Мысль — единственное и величайшее благо, приобретенное человечеством. Но еще более удивительное, таинственное, солнцеподобное явление — мысль творческая...

Катулл покусывал нижнюю губу, хмурился и погружался во взбаламученную пучину своих сомнений и предрассудков.

— Что же ты вменяешь в обязанность человеку, наделенному именно такими свойствами мысли?

— Каждое творение поэзии и искусства, философский трактат или хроника историческая, несмотря на их внешнюю отвлеченность от повседневной жизни, прежде всего — отношение человека к окружающему миру и, с другой стороны, отражение этого мира в его сознании. Ни проповеди зловещих пророков, ни лживые уверения политиков не нужны обществу благоразумных людей...

— Но просвещение и благородная сдержанность — удел ничтожного меньшинства, — перебил Катулл: его — нет, не злило, — а несколько угнетало положение школьника, выслушивающего пространные поучения. И все же он испытывал чувства почтительного юноши к мудрому старцу, хотя Непот был с ним почти одного возраста.

— Нам остается надеяться, что когда-нибудь истинное просвещение (подчеркнул «истинное») будет достоянием всего счастливого человечества, — с улыбкой сказал историк. Катулл невольно восхищался диалектикой^[67] друга и, глядя на него, сокрушенно вздыхал о своей праздности и о малодушной суетности собственных помыслов. Он брал у Непота пожелтевшие свитки, в которых были приведены астрономические познания египетских и халдейских магов или описания отдаленной Ойкумены^[68] — вплоть до знойных песков Ливии и ледяных сарматских пустынь. Эти книги внушали ему робость и умиротворение одновременно.

Непот с лукавой улыбкой сообщал, что на днях ему удалось приобрести редчайшую книгу со стихами Ксенофана и Феогнида... Катулл тотчас забывал о восточных таинствах и просил дать ему греческих поэтов. Со жгучим интересом разворачивал он папирус, выслушивая на ходу рассуждения Непота о том, что действительное счастье может создать лишь гармоническое общество, состоящее из добропорядочных, благонравных граждан. В глубине души Катулл посмеивался над словоохотливым историком. Ему представлялось иной раз, что Непот готовится завещать потомкам вместе с историческими трудами и свою безупречную жизнь, также достойную быть описанной в поучительных воспоминаниях.

Непот вдруг спросил Катулла:

— Гай, а где твои новые стихи?

Веронец от неожиданности смутился.

— Мой Корнелий, ты описываешь события давние и важные, — словно оправдываясь, сказал он. — А я сочиняю эпиграммы и безделки по всякому ничтожному поводу.

— Но мои долгие разговоры совсем не означают абсолютного предпочтения исторических анналов, ты ведь знаешь, как я люблю лирическую поэзию, — возразил Непот. — Упорный труд и чистое сердце помогут тебе приблизиться к совершенству. И, может быть, среди расчетливой злобы и тупого варварства потомок сохранит твои небрежные списки...

Катулл выходил из таблина Непота с желанием безотлагательно приступить к вдохновенному творчеству. Он не шел, а почти бежал по улицам. Но постепенно шаги его замедлялись. Он останавливался, тяжело вздыхал и отправлялся к Аллию узнать: нет ли известий о Постумии.

Вместо ответа Аллий предлагал ему развлечься с миловидной рабыней. Заложив руки за спину, Катулл расхаживал с удрученным видом. Толстяк сочувственно смотрел на него, потом осторожно подмигивал и начинал хохотать. Веронец свирепо взлохмачивал свои каштановые волосы и... не удержавшись, тоже смеялся.

Аллий хлопал в ладони. Входил раб с подносом фруктов, жареными цыплятами и бутылю выдержанного сетинского. О воде не было и речи. Катулл сбрасывал тогу, Аллий добродушно обнимал его, и они дружески напивались.

— Посвяти Постумии пару четверостиший, — советовал ему Аллий. — Уверен, что ты напишешь прелестнейшую вещицу, о ней заговорят. Римской матроне ничего так не льстит, как стать причиной поэтического вдохновения. А публика останется в неведении: мало ли о какой Постумии идет речь?

И Катулл написал. Немедленно. Тем же вечером. Он словно услышал вновь ее глубокий, медовый голос, предлагавший гостям пить неразбавленное вино, увидел ее зеленые, по-кошачьи мерцающие глаза и обнаженные руки, украшенные на запястьях золотыми браслетами.

Итак, решено: стихи посвящаются опьяняющей красавице и хиосскому вину... Впрочем, он предпочитает итальянские вина, они горше и крепче греческой приторной водицы. Пусть это будет кампанское вино из Фалерна... Когда он сочинял, ему приятно было вспоминать огненную пирушку, приятней, чем находиться там — в неистовстве оргии.

Валерий Катон поместил семь вакхических строк Катулла в общий

сборник поэтов «александрийского» содружества. Сборник за два дня разошелся по Риму. Стихами Катулла восхищались больше, чем элегиями Тицида и Корнифиция, эпиграммами Кальва, разнообразными ямбами Меммия, Фурия и Катона.

Горькой влагою старого Фалерна
До краев мне наполни чашу, мальчик!
Так велела Постумия — она же
Пьяных ягод пьянее виноградных.
Ты же прочь уходи, струя речная!
Ты — погибель вина! Довольствуй трезвых!
Сок несмешанный Вакха нам приятен!

Цицерон говорил друзьям, прогуливаясь под колоннадой Эмилия:

— Этот Катулл создал нечто, напоминающее Анакреона^[69]. Я отнюдь не поклонник неотериков, — я сам назвал так этих вертопрахов. Но что касается Катулла, то перед нами действительно талант, *ingenium*. Его стихи произносят в сенате, у книжных лавок и в частных домах. Если бы Катулл отказался от своей безнравственной жизни и расстался с крикливой гурьбой развратников и буянов, то при содействии мудрых наставников из него вышел бы толк.

Катулла передали сказанное о нем высочайшим и бесспорным авторитетом. Ожидали ответа остроумного и непочтительного. Но Катулл только отмахнулся: он продолжал вздыхать о Постумии.

VIII

Он увидел ее неподалеку от Субурры, около торговых рядов. Катулл пришел туда с Кальвом, который хотел купить духов для своей Квинтилии.

Мраморное лицо Постумии порозовело от осеннего ветра. Ее кудрявая голова, повязанная златотканым шарфом, сразу бросилась в глаза Катуллу. Он схватил Кальва за руку:

— Лициний, ты видишь красавицу в белой столе^[70]? Узнаешь? Значит, она в Риме... Боги, что делать!

— На мой взгляд, у тебя нет повода для отчаянья, — пожал плечами Кальв. — Разве ты не понимаешь, что женщина в трудом прощает пренебрежение к себе, а тем более такая, как эта великолепная львица?

Постумию сопровождали два юных щеголя с приподнятыми от спеси плечами и выпяченной грудью. Надменно опираясь на свои тросточки, они ревниво мерили друг друга смелыми черными глазами. Позади рабыня несла роскошную мантию госпожи, негр держал над ее головой узорчатый зонт. Толстый евнух-казначей семенил, придерживая кошель у пояса, еще один раб тащил вместительную суму с покупками.

— Взгляни-ка, сколько драгоценных вещей накупила жена Сульпиция, — не без зависти сказал Кальв. — Сразу выбросила доход виллы где-нибудь в Апулии... Но у ее муженька хватит вилл и латифундий^[71] — и в Италии, и в провинциях. А может быть, для нее раскошелились эти знатные кобели?

Катулл остановился перед матроной и, приложив руку к губам, воскликнул:

— Мои глаза счастливы снова любоваться твоей божественной красотой, прекрасная Постумия!

— О, милейший Катулл! Любезнейший Кальв! Право, мы давно не виделись.

— Тебя так долго не было в городе... — произнес Катулл многозначительно.

— Я два месяца отдыхала с мужем в Байях и чуть не умерла со скуки, — зевнув, ответила Постумия. — Да, я забыла познакомить вас с моими друзьями... Это Гай Анфидий, а это Марк Клавдий, сын сенатора Марцелла.

Юноши слегка наклонили головы, в их быстрых взглядах сверкнула затаенная угроза.

Катулл с преувеличенным обожанием смотрел на красавицу, стискивая зубы, словно от невыносимой страсти.

— Весьма радостно, что тебе позволено гулять по улицам, прелестнейшая Постумия... — говорил он сладким голосом. — Но зато с такой отличной охраной... Твой почтенный супруг может быть за тебя спокоен.

Подвижное лицо веронца мгновенно становилось то идиотски-веселым, то блаженно-хитрым. Глядя на его гримасы, Кальв едва сдерживал смех.

— Мне позволено... С охраной... — повторила матрона; ее брови удивленно и высоко поднялись, зеленые глаза в упор разглядывали Катулла. Клавдий и Анфидий, уловив в словах развязного веронца язвительный намек, нахмурились и сделали шаг вперед. Постумия остановила их повелительным жестом.

— Что ж, я выбираю охрану из самых благородных родов Рима, — насмешливо сказала она. — Мои телохранители, может быть, не особенно разбираются в литературных тонкостях, зато они хорошо воспитаны, не в пример людям, приехавшим из захолустья...

Катулл чмокнул сложенные щепотью пальцы (Кальв не удержался все-таки, хихикнул) и произнес с трагическим пафосом:

— Прости, я не знал, что ты поборница целомудренных нравов и суровой прямооты, подобно обоим Катонам^[72]. Что же касается благородства, то предки некоего транспаданца, приехавшего из захолустья, тоже были древнего рода. Правда, они не разбогатели на спекуляциях во времена проскрипций, не ограбили ни одной провинции и не смешали своей крови с кровью иноземных невольников, как это принято в знатных семьях. Они прославились в битвах с тевтонами^[73]... — Последние слова Катулл говорил, не скрывая гнева, закипавшего в его груди. Откинув голову и выставив правую ногу, он с дерзким презрением глядел на высокопоставленную матрону и ее спутников.

— О Постумия, к чему этот тон недоброжелательства? — вмешался Кальв. — Если моему другу суждено оставить по себе память и в грядущих поколениях, то он сможет достичь этого благодаря своим чудесным стихам. (Умница Лициний знал, как привлечь внимание тщеславной патрицианки.) Не заметила ли ты в последнем катоновом^[74] сборнике несколько недурных строк Валерия?

— Да, я знаю их, — ответила красавица, неожиданно бросив на Катулла ласковый взгляд. — Кстати, о какой Постумии там говорится?

— Ты пронзительна, о божественная, — пылко заговорил Катулл, мгновенно забыв о язвительных намеках, — я вдохновлялся твоей несравненной прелестью. Ты похищаешь сердца. (Чем пошлее лесть, тем доходчивее!) Ты опьяняешь лучше спелого винограда, как я выразился в стихах, посвященных тебе. Я согласен всю жизнь складывать о тебе элегии, соперница Харит и Венеры, взамен твоей благосклонности...

Анфидий и Клавдий сделали еще шаг к этому болтливому наглецу. Его речи становились во много раз откровеннее допустимой светской любезности.

— Когда же я смогу увидеть эти новые стихи? — кокетливо улыбаясь, спросила Постумия.

— Тебе стоит только передать несколько слов через добряка Аллия, и я буду у твоих ног. Что же касается грозных взглядов твоих доблестных телохранителей, то я могу осведомить их, что, хотя я не воин, а человек тоги, в юности меня учили не только грамматике, но и владению мечом.

— Будем иметь в виду, — сказал Анфидий и еще сильнее выпятил грудь.

Когда Постумия со своим сопровождением удалилась, Кальв спросил:

— Зачем ты раззадорил этих молокососов? И я не понимаю, чего у тебя к ней больше — похоти или презрения?

Катулл молчал, опустив голову. После вспышек досады и гнева ему становилось грустно.

— Ну, теперь, — продолжал Кальв, — тебе придется по утрам заниматься фехтованием, а по вечерам ходить в харчевню на Фламиниевой дороге и есть там кушанье из бычьих ядер и петушиных гребешков^[75], чтобы победить и в первом, и во втором случае. Боюсь, эти сенаторские сынки не отважатся на поединок, а просто наймут гладиаторов, чтобы они отправили тебя к Харону.

Катулл не выходил из дома, ожидая приглашения к любовному состязанию или к игре со смертью. Он одолжил у своего домохозяина Стаберия тяжелый кавалерийский меч, неловко подержал его в руке и велел Титу наточить.

Аллий, узнав обо всем, возмутился:

— Хорошо, нежное послание я тебе с радостью перешлю... Но биться мечом из-за глупой чванливой бабы! Клянусь Юпитером, если тебе надоело жить, запишись в легион и отправляйся воевать с парфянами. А лучше всего, выкинь-ка мусор из головы — пей, веселись и пиши стихи!

Постепенно тревога в душе Катуллы утихла. Он стал опять встречаться с друзьями, обходить книжные лавки и посещать зрелища. Однако мысли о

Постумии часто наплывали дурманящим облаком, и нетерпение жгло его по ночам.

Недели через две в дверь постучал мальчик, раб Аллия.

— Мой господин приказал передать это тебе, — сказал он, протягивая перевязанный лентой папирус. Дрожащими руками Катулл сломал печать из красного воска и, кусая губы, прочел благоухающее письмо Постумии.

Гаю Валерию Катуллу.

S.V.B.E.V. (сокращенно: «Если ты здоров — хорошо, я — здорова»)

Мой Валерий, я хотела бы видеть тебя завтра в доме Фульвия Нобилиора на Палатине. Общество будет самое избранное, всего человек десять. Программа собрания весьма изысканная: выступление Кифериды^[76] с чтением монологов Медеи и Электры, бой трех пар гладиаторов (до смертельного исхода), последние стихи Катулла (читает сам молодой поэт) и совместное купание гостей в бассейне. Уверена в твоём согласии и буду рада выразить тебе своё благорасположение.

Катулл смял письмо в кулаке и повалился на ложе. Скоро он справился с собой, подавил стоны ярости и печально задумался, слушая воркотню Тита и звонкий смех мальчика.

А чего, собственно, он ожидал от избалованной красавицы? Нежных чувств? Скромности? Напрасно. Весь ее внешний лоск лишь прикрытие настоящей сущности: тщеславия, ограниченности и самого низменного сластолюбия.

Мелькнула мысль ответить ей беспощадно злой эпиграммой, которую завтра со смехом станут повторять на всех углах. Однажды он не принял чести оказаться среди ее случайных любовников и, слава великим богам, теперь он доволен, что так случилось. Учить вежливости и благородству надменную знать? Бесплезно. Эти люди считают себя средоточием вселенной и красой республики. Они не поймут негодования его оскорбленного достоинства.

— Подожди ответа, малыш! — крикнул Катулл посланцу Аллия. Он оторвал от папируса лоскут и небрежно, наискось написал по-гречески:

Постумии,

супруге счастливого Сервия Сульпиция,

хайретэ (желает радоваться) Гай Катулл.

Я не смогу засвидетельствовать почтение тебе и твоим друзьям, потому что врачи запретили мне купаться в бассейне. К тому же, я не сочинил для тебя ни единой строчки.

IX

Цезарь благодарил Марка Красса за прошлогоднее ручательство в восемьсот талантов, без которого ему, пожалуй, не удалось бы вырваться в Испанию, — кредиторы собирались привлечь его к суду. Вернувшись императором^[77], он расплатился с долгами и сделал щедрые пожертвования в храмы. Солдаты испанских легионов награждены, офицеры и сподвижники Цезаря обогатились.

За его счет устраивались роскошные пиршества для народа, гладиаторские состязания и всевозможные зрелища с участием мимов, фокусников, танцовщиц и акробатов. В щедром дожде расточаемых Цезарем денариев и аурей^[78] наживались ловкие хищники — подрядчики и ланисты^[79]. Римские оборванцы тоже старались уловить хоть что-нибудь в свои дырявые кошельки, но вынуждены были довольствоваться крепкими винами и обильной едой.

Улыбающийся, любезный Цезарь вместе с Крассом и Помпеем являлся под базиликами Палатина и Форума. В сенате его встречали ледяным молчанием, зато комиции^[80] бурными рукоплесканиями приветствовали победителя лузитанов^[81]. Дом Цезаря ежедневно гудел от грандиозных оргий, на которые сходились многочисленные гости — от известнейших нобилей до кавалерийских центурионов. В его триклиннии, среди римлян, иберийцев и греков, пировали приехавшие для переговоров с сенатом галльские князья и вождь германского племени свевов, огромный косматобородый Ариовист.

Впрочем, Цезарь проявлял щедрость не только в интересах политики. Красавице Сервилии он подарил эритрейскую жемчужину стоимостью более шести миллионов сестерциев.

В сопровождении Клодия Пульхра он ходил по вонючим переулкам Эсквилина и Целия, беседовал с хмурыми ремесленниками, хлебал с ними ячменную похлебку и грыз жареные каштаны. Он посещал больницы и раздавал деньги беднейшим семьям. Его популярность среди народа росла с каждым днем, и, не заняв еще консульское кресло, он мог бы с успехом ставить на голосование новые законопроекты.

В глазах римского общества Цезарь несколько скрашивал своим изяществом застывшую надменность прославленного завоевателя и сердитое брюзжание банкира. Говорили, что время Помпея и Красса

прошло. Молодые Цезаревы друзья, разогретые успехами и фалернским, провозгласили их безнадежными посредственностями. Цезарь слушал развязную болтовню этих выпивох и рубак и саркастически приподнимал уголки губ. Он-то знал, что Красс и Помпей — его нынешние покровители и соратники — наиболее дальновидные политики Рима и могут быть опаснейшими врагами.

Союз трех полководцев встревожил не только оптиматов. По городу ползли слухи — один страшнее и нелепее другого. Говорили, что в одну из ночей солдаты Цезаря и Помпея устроят невиданную резню, после чего республика будет отменена. Помпея провозгласят монархом в Риме, Цезарь будет царствовать в Испании, а Красс — на Востоке.

Подобные ядовитым испарениям Сиптонтинских болот, сплетни отравляли праздничное ликование римлян. На стенах домов появились ругательные надписи в адрес Красса, Помпея и Цезаря. Цицерон произнес в сенате речь, полную туманных, но предостерегающих намеков. Сенаторы разгоняли мрачные мысли роскошными увеселениями на легендарных пирах Лукулла.

И все-таки Рим пока оставался республиканским, в нем еще жили граждане, открыто выражавшие свое возмущение триумвиратом. Но их выступления не находили поддержки ни у плебса, довольного щедростью Цезаря, ни у всадничества, отколовшегося от сената и поощрявшего своего представителя Красса.

В один из дней середины февраля Валерий Катон пригласил друзей для празднования Фераллий — поминания умерших.

Гости проходили в атрий^[82], где был установлен жертвенник со статуями богов и чернели ветви погребального кипариса^[83]. Курился ладан, киннамон и бальзам^[84]. Ароматный дымок бледнел и рассеивался в квадрате яркого солнечного света, проникавшего через отверстие в крыше. Взяв на себя обязанность жреца, хозяин прочитал положенные молитвы и в скорбных выражениях вспомнил общих знакомых, уже оказавшихся во власти беспощадного Орка^[85]. Затем Катон с озабоченным выражением лица направился в триклиний. Гости молча последовали за ним.

Обед в триклинии, согретом переносными жаровнями и украшенном пахучей туей, был, как всегда, обилен и прост. Все знали: поминание усопших только повод, чтобы сообща обсудить тревожные события, происходящие в Риме.

Гелланик отослал служанок и мальчика-виночерпия. Катон произнес значительно:

— Сейчас следует вспомнить достославных ревнителей республики Курия, Фабриция и старого Катона^[86], как образцы истинной римской добродетели.

— Еще своевременнее воззвать к душам тираноубийц Гармония и Аристокитона^[87]... — сказал Целий Руф и твердо сжал красивые губы.

Гелланик наполнил чаши. Катон исподволь разглядывал обычно пылких и жизнерадостных друзей-поэтов. Пили сегодня без воодушевления, общее настроение не располагало к веселью. Кроме того, большинство еще не пришло в себя после излишеств, которым они предавались накануне.

Тицид сидел, опустив голову, его коричневое лицо с остроконечной бородкой казалось совсем египетским.

У Цинны опухли глаза, и вокруг щек появилась нездоровая одутловатость. Стройный Руф, с типично римскими, решительными и правильными чертами лица, сердито хмурился. Он разделял мнение своего учителя Цицерона о недопустимости противодействия сенату. Руф был полон бесстрашного негодования и томился бездействием. Отсутствовал Меммий, он находился сейчас в клокочущей пучине политических страстей. Странно, что неумное тщеславие, распутство и расточительство не мешают ему оставаться тонким ценителем поэзии и самому сочинять порой недурные стихи. Пустовало и место историка Непота. Фурий и Аврелий угрюмо нахохлились, их полудетские лица портили ранние морщины, как на изображениях развратных фавнов. До неприличия растолстевший кутила Аллий вполголоса говорил что-то неподвижно нависшему над ним, притворно-сонному Вару. Выражение лица у адвоката показалось Катону несколько двусмысленным. Скорее всего, сын кремонского башмачника совещался со своим адвокатским практицизмом по поводу пользы, которую можно извлечь для себя из сложившихся в правительстве опасных перипетий. В часы досуга он пишет изящные элегии, совсем непохожие на его щеголяние простонародной грубостью.

Очень сумрачен Гай Катулл. Беспорядочный образ жизни вреден хрупкому веронцу. Из застенчивого провинциала он превратился в любимца аристократической молодежи, приходящей в восторг от его хлестких эпиграмм и насмешливых замечаний. Катулл соревнуется с гуляками в поглощении немислимого количества вина. Может быть, только он, Катон, искренне полюбивший непоседу Катулла, Замечает, каким тот выглядит одиноким и разочарованным. Жаль, что Катулл не хочет оставить бесконечные пиры и забавы. Ведь из-под его стиля иной раз выходят

строки, от которых у Катона перехватывает дыхание. Если боги позволят, то Катулл будет... великий поэт. Но каким образом проявится божественный гений среди суеты и беспутства?..

Задумчив и другой веронец, ясноглазый Квинт Корнифиций. Последним пришел стремительный Кальв — примчался с Форума. Катон ласково смотрел на резкий и сухой профиль маленького оратора. Удивительный человек этот Кальв! С беспощадной логикой, железной волей и нежным, как у девушки, сердцем.

Встретив пристальный взгляд хозяина, Кальв сказал:

— Кое-кто несколько месяцев назад советовал мне напрасно не беспокоиться в отношении консульства Цезаря... Теперь можно наконец разобраться, кто оказался прав.

Катон отвел глаза:

— Я не предполагал, что эти знатные предводители толпы начнут свои действия так поспешно.

— Представляю себе, как взъелся сенат! — Вар захохотал деревянным смехом. На него посмотрели с недоумением: Вар словно радовался коварству Цезаря.

— Не вижу ничего смешного! — обозлился Кальв. — Скоро начнется настоящая драка, и в итоге созреют условия для отмены республиканских свобод.

Как человек, склонный к спокойному размышлению, Катон хотел было несколько смягчить резкость Кальва.

— И предупреждаю: на Форуме вьется Веттий, — сердито перебил его Кальв.

— Кто такой Веттий? — спросил Цинна. — Какой-нибудь продажный оратор?

— Луций Веттий — гнуснейшее порождение римских междоусобиц. Его ремесло — доносы на магистратов, сенаторов и других правителей государства. Ну, конечно, он занимается таким опасным ремеслом в чьих-то корыстных интересах. Этот негодяй настолько подл, что превозмогает даже свою трусость.

Катулл лениво усмехнулся. Иногда он становился несносно рассеянным, будто его занимали только собственные мысли и вовсе не интересовали новости, волновавшие друзей.

— Когда Цицерона провозгласили «отцом отечества», Веттий всячески пресмыкался перед ним. Марк Туллий падок на лесть, как все знают. Он опрометчиво назвал Веттия «честным и самоотверженным гражданином...».

Катулл расхохотался безудержно, зажмурившись и откинув голову. Всякая натянутость, амбиции государственных деятелей и ханжеские фанфары всегда его веселили. А энтузиазм римских посредственностей в нем, веронце, вызывал лишь иронию.

Корнифиций и Руф укоризненно смотрели на Катулла. Иногда они тоже были непрочь позлословить по поводу преувеличенного тщеславия Цицерона, но на деле считали себя учениками великого оратора и вполне разделяли его политические взгляды.

— Тогда Веттий решился на рискованный шаг, — продолжал рассказывать Кальв. — Он выступил перед сенатом, обвиняя Цезаря в сговоре с мятежниками-катилинарцами, и обещал представить его письмо к Катилине^[88], написанное будто бы накануне мятежа...

— Цезарь не дурак, чтобы терять такие опасные документы, — вставил Тицид.

— Письмо Веттий представить не смог. Его объявили клеветником и отправили в тюрьму, хотя он, возможно, был близок к истине. Года два он не показывался, и вот опять всплыл, — закончил Кальв.

Руф привстал и поднял полную чашу:

— Квириты^[89]! Друзья! Вы видите, триумвират надменного Помпея, лицемерного Цезаря и алчного Красса угрожает римской свободе. Поклянемся друг другу смело противодействовать тирану, кто бы им ни оказался. Не все потеряно: еще постоят за республику старые бойцы! Клянемся и мы заслужить себе посмертный памятник не хуже греков Гармодия и Аристокитона!

— Недурно сказано, Марк Целий Руф, — произнес задумчиво Кальв.

Валерий Катон молча, с торжественным выражением лица, кивнул головой.

— Клясться так клясться! — весело крикнул Вар и влил в себя содержимое своей чаши.

Через месяц на Форуме разыгралась комедия с пресловутым Веттием в главной роли, действующим на этот раз в интересах триумvirата. Веттий выступил с доносом на Цицерона, Лукулла и Катона, якобы толкавших его на убийство Гнея Помпея. Цезарь собирался начать громоподобный судебный процесс, но Веттий опять не смог выдвинуть перед судебной комиссией ни одного веского доказательства. Цезарь кусал губы с досады. Веселая молодежь издевательски хохотала. Даже приверженцы триумvиров криво усмехались и отплевывались. Веттий был омерзителен всем.

И в эти дни совершенно неожиданно для друзей-поэтов по городу разлетелась эпиграмма Катуллы:

Веттий-подлец, о тебе скажу я по полному праву
То, что о льстивых глупцах люди всегда говорят:
Выгоду чуя свою, любому не только что пятки —
Задницу ты облизать грязным готов языком.
Если же нас погубить ты тоже задумаешь, Веттий,
Рот приоткрой лишь, дыхни — сразу нам всем и конец.

Доносчика-клеветника отвели в тюрьму. Там его отравили по тайному приказу Цезаря. Но тайна оказалась разглашенной, и Кальв говорил друзьям:

— Конечно, воздух в Риме стал чище, но... Вот вам еще один пример беззакония: без суда, следствия и согласия комиций гражданина умерщвляют велением всесильного владыки. Каково, свободные квириты?

События продолжали стремительно разворачиваться. Минуя сенат, Цезарь провел закон, по которому египетский царь Птолемей Авлет провозглашался союзником римского народа. Ночью от посла Авлета в дом Цезаря под усиленной охраной доставили носилки с золотом. Сумма оказалась огромной, в шесть тысяч талантов, и Цезарь справедливо разделил ее с Помпеем. Затем он удовлетворил просьбу откупщиков и на треть сбавил откупы налогов в азийских провинциях. Доходы римских банкиров невероятно возросли. Благодарное сословие всадников преподнесло Цезарю и Крассу по массивной золотой цепи, украшенной крупными самоцветами. Кроме того, они получили многочисленные

подношения от частных лиц.

Цезарь входил на заседания сената, бесцеремонно топая красными консульскими башмаками, с размаху садился в кресло слоновой кости и объявлял принцепсом (первым сенатором) попеременно то Помпея, то Красса. Он громко разговаривал и вызывающе смеялся в то время, когда Цицерон оплакивал в своей речи положение государства. Под его беззастенчивым нажимом сенат утвердил неслыханное решение о переводе смертельного врага Цицерона, святотатца и бунтаря Клодия Пульхра из патрициев в плебеи. Теперь Клодий имел право добиваться должности народного трибуна, к чему он давно стремился. Катона и Лукулла, резко возражавших ему на одном из заседаний, Цезарь приказал под конвоем отправить в тюрьму. Сенаторы бледнели и втягивали головы в плечи: такого неуважения к авторитету «отцов города» не допускал даже свирепый Сулла.

Однажды в театре, на представлении «Близнецов»^[90], Катулл неожиданно вмешался в разговор знакомых молодых людей:

— Что вы там путаете, называя нынешнее консульство — консульством Цезаря и Бибула, тогда как у нас теперь консульство Юлия и Цезаря? Я придумал об этом пару строчек...

Длинный, испитой щеголь Порций вытащил из-под тоги табличку и протянул Катуллу:

— Прошу тебя, любезный Валерий, напиши здесь свое двустишие.

Едва Катулл кончил писать, как другой вылощенный бездельник, Луцик Калькой, выхватил у него табличку и громко прочитал:

В консульство Цезаря то, а не в консульство Бибула было,
В консульство Бибула, друг, не было, знай, ничего.

Остроумное выражение Катулла о «консульстве Юлия и Цезаря», а также его двустишие пошли гулять по рядам, вызывая в разных местах взрывы смеха.

Сидевший с Катуллом Тицид, понизив голос, сказал:

— Напрасно ты пренебрегаешь осторожностью. Я слышал, что Цезарю известны твои эпиграммы. Пока он не придает им серьезного значения, но если ты будешь и впредь поносить его друзей, то... всего можно ожидать от человека с тираническими склонностями.

— Оставь, напoмаженный Тицид. Ты просто завидуешь моей шутовской славе, — с беспечной иронией возразил Катулл. — Да, кстати,

разве ты забыл о нашей священной клятве? Ах, как страшны эти заговоры с обильным возлиянием тускульского!

На стенах многих домов появились насмешливые слова Катулла, и римляне долго ими потешались.

Сатиры и эпиграммы распространялись не только изустно. Знаменитый ученый, историк и поэт Теренций Вар-рон издал прекрасно оформленный памфлет, в котором называл могущественный триумвират «трехглавым чудовищем», сравнивая его с мифическим псом Плутона, ужасающим, кровожадным и мерзостно-грязным Цербером.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ветви платанов покрылись юной листвой. Шелестели упруго серебристые тополя. Голосами птиц звенели яникульские парки, лесистые холмы Лация и Тускула.

Плебеи готовились к заклинанию лемунов, опасных духов, зыбкими привидениями крадущихся во тьме. Защиты от них молят у повелительницы призраков, мрачной Гекаты, принося ей в жертву черношерстных животных. Рои зловредных нежитей множились в теплую весеннюю пору, подобно комарам-кровопийцам. Меняя свой облик, текучий и неосязаемый, они проникали в жилища, принося болезни и толкая на преступления: желтые, тухло смердящие духи болотной лихорадки, постыдные видом, неотвязчивые духи запретного сладострастия, красноглазые, клешнястые, ядовитые, как скорпионы, духи смертельной, необоримой зависти. Особую силу вся эта нечисть брала ночами — вилась над кладбищами, клоаками, выгребными ямами... Но ранним утром, когда над Тибром истаивал туман и в пригородных усадьбах кричали петухи, нечисть пряталась, а в городские ворота сотни повозок ввозили душистые снопы только что срезанных цветов. Густой аромат наполнял римские улицы, будто они превращались в росистые фиденские луга или пренестенские плантации. Жимолость, жасмин, фиалки, маки, гиацинты, глицинии, багровые, белые, пунцовые розы... в деревянных ведрах, глиняных кувшинах, медных тазах расставлялись на ступенях храмов, прямо на мостовой, у тибрской пристани Эмпория.

Нежная заря золотила крыши палатинских дворцов и многоярусных плебейских «клоповников», городские стены, колоннады и цирки, торжественный выход консула с ликторами и свитой, разодетых матрон, спешивших в свой день рождения к храму Юноны, и трупы гладиаторов, гниющие на поле между Эсквилинскими и Кверкветуланскими воротами.

Корнелий Непот встал с рассветом. Он надеялся пройти к Форуму по спокойным и сонным улицам, — есть своя прелесть в утреннем безлюдье самых оживленных обычно мест. Непот думал в числе первых оказаться у книжных лавок и найти на заваленных хламом полках что-нибудь из интересующих его редких книг. Но Рим уже наполнился энергичным движением и шумом.

Всю ночь к рынкам тянулись обозы. И сейчас еще повозки, скрипя, вкатывались в городские ворота. Из широкодонных барок, подплывавших к

пристани, служащие работоторговца Торания высаживали грустных невольников с вымазанными мелом ногами и гнали их к храму Кастора, где был постоянный невольничий рынок.

На Велабр — рынок съестных припасов — везли снедь со всей Италии, со всего света.

Торговые ряды расположились нескончаемой лентой по обеим сторонам Субурры, по Виа Лата, пересекавшей город из конца в конец, около Форума, на самом Форуме и на многих улицах и площадях.

Повсюду толкаются и шумят римляне и те, кто теперь тоже считают себя римлянами. Воинственные марсы и латины, вспылчивые самниты, хитрые круглолицые этруски — знатоки древней мантики^[91], приземистые, медлительные умбры, храбрецы луканы, грубые оски, сицилийские, тарентские, неаполитанские греки, светловолосые цизальпинские галлы и другие племена и народности, населявшие издавна долины, горы и побережья Авзонии^[92].

А между ними ходят люди из дальних стран, приехавшие сюда временно или навсегда. Греки из Афин, Коринфа, Спарты, Фессалии и Эпира, греки со всех Эгейских островов, с Кипра и Крита, и даже прибывшие из Тавриды и Сарматии — вездесущий народ Средиземноморья: купцы, философы, грамматики, ювелиры, врачи, поэты, актеры, музыканты, гадалки и гетеры. И, конечно, рабы, десятки тысяч греков-рабов.

Встречаются в Риме иллирийцы, фракийцы, македонцы. Это люди простого нрава, предпочитающие изобилию республики свои бедные горные деревни. Они хорошие пастухи и гладиаторы, — вспомним, что Спартак был фракийцем. Попадают нередко иберы и лузитаны — жертвы испанских походов Помпея и Цезаря. Женщины этих народов нередко красивы, но у них нет лоска, общительности и приятной живости гречанок. На фракийцев и македонцев походят белокурые, голубоглазые, высокорослые варвары из косматой Галлии^[93].

Бронзовые, угловатые египтяне — знатоки драгоценных камней и ядов. Их хрупкие женщины умеют петь тонким голосом, играя на арфе, и владеют тайнами немислимого обольщения. Египтяне чаще притворяются, будто располагают волшебными познаниями древних, но так же, как и далекие предки их, злопамятны и коварны. В торговле детей Нила оттеснили их властители, александрийские греки; они привозят в Рим пестротканые покрывала, ароматы и снадобья, львов для травли, обезьян для забавы, чернокожих эфиопов и монеты с профилями Птоломеев.

В римской толпе мелькают горбоносые лица, клобуки и тюрбаны сирийцев, арамейев, персов, армян и прочих людей Востока, покоренного однажды Александром Великим и теперь, после победоносных походов Суллы и Помпея, вновь вынужденного прийти в тесное общение с Западом. От них несколько отличаются иудеи — не обликом, а особой племенной замкнутостью, нетерпимостью к чужим обычаям и обрядам. Впрочем, среди иудеев немало оборотистых и богатых торговцев; говорят, к ним благоволит Цезарь.

Когда-то вероломный и подобострастный Восток с его застарелой вонью, кудлатыми бородами, постыдной невоздержанностью был презираем до гадливого отвращения бодрыми и суровыми сыновьями Квирина^[94]. И вот Восток влился в жизнь римлян, развратил их, изнежил, заставил даже беднейших искать роскоши и безделья.

Опустели храмы Юпитера и Марса. Толпа устремляется в восточные святилища, кликушествуя в непристойных мистериях. Нелепые суеверия увлекают даже образованных и рассудительных людей. Теряют своих приверженцев философские возвышенные учения эллинов. Сенаторы, сколько ни противились, вынуждены разрешить отправление иноземных культов, потребовав только, чтобы их мерзостные капища строились подальше от римских храмов, за городской стеной. Большого не смогли сделать поборники старого уклада и государственной религии; их жены и дочери, не скрываясь, направляются в храмы Сераписа и Изиды и тайно — в святилища Кибелы или Астарты.

Непот мысленно беседовал с самим собой. Где бы он ни находился, он чувствовал свое одиночество; связанное с ощущением бесспорного духовного превосходства, оно являлось итогом глубоких и целенаправленных размышлений. Умеренным образом жизни и воспитанием воли Непот поддерживал в себе эту внутреннюю сосредоточенность. Он не желал отдаваться праздности и грубым соблазнам, как Гай Катулл, который никогда не молит Муз о подлинном вдохновении. Катулл увлекается, пустословит и веселится, а вдохновение приходит к нему чаще всего по какому-нибудь ничтожному поводу. В глубине души Непот осуждал такое отношение к творчеству. Он продолжал питать свои размышления плодотворной пищей греческой мудрости. Историк как бы мысленно вглядывался в лица давно умерших героев, чтобы отыскать среди них прообразы своих будущих «Жизнеописаний».

Солнце давно поднялось. Непот перебирал пыльные свитки и переходил от одной лавки к другой. Пройдя почти полностью торговые ряды Аргилета, Непот неожиданно увидел Катулла, будто не случайно

только что о нем вспоминал. Катулл смеялся, слушая болтовню какого-то развязного молодца.

Иной раз Непот огорченно думал о том, что столь щедро одаренный поэт растрчивает здоровье в оргиях, а скромные средства в модном мотовстве. Для поэзии ему не хватает времени. Непот ценил пытлившую свежесть его ума и чистоту сердца. Но, будто нарочно, он удивлял друзей своим безграничным сумасбродством. Преданный и ласковый, как ребенок, Катулл вдруг мог проявить обидное высокомерие или в споре быть нестерпимо грубым. Потом он раскаивался, но ненадолго. В представлении веронца о честности не укладывались сложности политических ситуаций, в которых подчас оказывались некоторые из членов «александрийского» кружка, — любое проявление изворотливости приводило его в бешенство.

Катулл великолепно знал греческую и римскую литературу, он легко постигал недоступный многим поэтический смысл и красоту стихотворной формы. Поэзия была его сущностью, для выражения своих мыслей он всегда находил единственно точные, изящные и образные сочетания слов. В то же время он раздражал изысканных знатоков пристрастием к нескромным песенкам и примитивным притчам простонародья. С одинаковым увлечением он торопился на представления классических трагедий и уличных мимов, восхищаясь теми и другими, будто рыбак с Бенакского озера. Стихи Катулла были полны той же непосредственной откровенностью, что и его поведение, претившее благовоспитанным людям. Однако пронизательный Непот терпеливо ждал от Катулла необычайного и не преувеличивал его видимых пороков. Он знал, что большей частью все это эффектная поза, вихрь безрассудной молодой бравады. Непот только спрашивал себя: когда наконец гений, посланный с Геликона^[95], заставит взбалмошного Гая запеть иным, божественным голосом?

Заметив историка, Катулл обрадовался и потащил к нему своего приятеля.

— Милый Корнелий! — кричал Катулл на весь рынок. — Вот взгляни-ка, это редкостный болтун из рода Флавиев. Познакомьтесь.

Непот без особого удовольствия пожал руку краснолицему весельчаку.

— К своей знатности он относился с безразличием и не желает преуспеть на трибуне Форума, — продолжал трещать Катулл. — Дар Флавия состоит в удивительной памяти на всякие уморительные сплетни...

— Да, тут уж меня не переплюнешь, — самодовольно согласился Флавий.

Оба были слегка навеселе: возбуждены и вертлявы, как ящерицы.

Непот улыбнулся со снисходительным добродушием:

— О каких же интересных событиях ты можешь рассказать нам, любезный Флавий?

— Авл, не опозорься! Двинь-ка вовсю, чтобы умник Непот обомлел!

— Катулл приплясывал от предвкушения забавы, как шаловливый мальчишка.

Флавий встал напротив Непота в комически-величественную позу и закинул узенькую пенулу через левое плечо.

— Итак, первое, драгоценнейший Непот. Когда гаруспикам^[96] привели быка, чтобы они по бычьей печени определили — стоит ли возобновить войну с Парфией, случилась невероятная вещь. Подойдя к жертвеннику, бык поднял хвост и вывалил здоровенную лепешку. Гаруспики засуетились, стараясь оттолкнуть быка в сторону, но он стоял, как скала, а из-под хвоста у него лилось и шлепалось, пока весь жертвенник не оказался заляпанным навозом. После этого бык повернул к гаруспикам морду и явственно промычал: «М-Марк Красс».

Непот не удержался от смеха:

— Что же из этого следует?

Флавий «честно» округлил глаза и ответил:

— Гаруспики прекратили гадание и отпустили быка пастись на лужайку. Ведь и так стало ясно, что военные действия против Парфии вновь начнутся, когда во главе наших армий встанет Красс. История правдивейшая, не вызывающая никаких сомнений. Теперь — второе. Когда жрецы-авгуры насыпали пшеницы священным курам, чтобы определить по их клеву, как успешны будут заседания сената, то случилось еще более удивительное знамение. Три самых крупных курицы разогнали остальных и склевали всю пшеницу, хотя петух возмущенно клохтал, а обиженные куры жалобно стонали. Вот уж этому указанию богов объяснение дать проще простого. Тем не менее авгуры не смогли вразумительно его объяснить.

— Ну, мой Непот? Каков Флавиций? — веселился Катулл. — Он ведь не выдумывает эти истории, а только пересказывает то, о чем болтает народ.

— И последнее, самое достоверное известие... — заспешил Флавий, несколько разочарованный сдержанностью историка. — Умоляю, выслушайте! Говорят, Цезарь тайно посылал в Египет своих агентов... А зачем? Не догадаетесь никогда! Чтобы они проникли в гробницу Александра и отрезали у трупа указательный палец...

— И что же?

— Палец доставлен в Рим. Цезарь приказал оправить его в золото, носит на груди под туникой, словно детскую буллу^[97], и надеется, что к нему придет слава непобедимого македонца.

— Катулл, мне кажется, эта тема пригодится тебе для эпиграммы, — усмехнулся Непот.

Беседуя, молодые люди двигались вдоль книжных лавок. Непот искал на прилавках исторические заметки Платона.

— Ты напрасно теряешь время, — сказал Катулл. — Найти сейчас в Риме редкую книгу — невозможно. Прошло время, когда книгами интересовались библиофилы и любознательная молодежь. Ныне разбогатевшие отпущенники, чванливые тупицы и спекулянты скупают все ценное из-за пустой похвальбы или корысти. Ты прольешь ручьи пота в розысках и сорвешь голос, уговаривая наглых барышников. Даже если у тебя достаточно денег, надежда слаба. Нужно иметь мощь Геркулеса, чтобы расчистить эти авгиевы помойки^[98]...

Улыбнувшись, Непот произнес из Еврипида:

— Нет в мире положенья столь ужасного,
Нет наказания богов, которого
Не одолел бы человек терпением.

С сомненьем покачав головой, Катулл принялся показывать историку свитки. Хозяин лавки пытался расхваливать свой товар, но Катулл сердито замахнулся на него.

— Взгляни-ка, — говорил он Непоту, — назидательные поэмы Энния лежат на самом видном месте. А вот тяжеловесные трагедии Цесия, Аквина и других нынешних бездарностей... Сборники речей Цицерона, Катона, Гортензия, Красса... Напыщенные трагедии Пакувия... Трактат Варрона о распределении сельских работ на доходной вилле... Его же речи, исторические труды... Философия Полибия... О боги, опять Цесий! Это что? «Пчеловодство» Гигина. Гм, как сладко издано... Труд о сельском хозяйстве карфагенянина Магона — и в двадцати восьми книгах! Чтоб тебе провалиться в Эреб! Магистраты еще жалуются, что папирус дорожает, и египтяне дерут за него шкуру! Стихи, стихи... На греческом... О, «Сиракузянки» Феокрита^[99]! Ты прав, мой Корнелий. Вот первая стоящая находка!

— «Сиракузянки» — прелестная комическая идиллия, — сказал Непот,

заглядывая через плечо Катулла, и прочитал вслух заключительные слова простодушной героини Феокрита:

— Время, однако, домой. Ведь муж мой не завтракал нынче. Он и всегда-то как уксус, а голоден — лучше не тронь!

— Эти слова необыкновенно точно относятся ко мне, — заявил Флавий, со скучающим видом переминавшийся с ноги на ногу. — Я устал. Я мечусь все утро среди толпы, словно мышь в ночном горшке...

— Удачное сравнение, — фыркнул Катулл. — Как видишь, и ты не лишен литературных способностей.

— Не смей толкаться... Мне неудобно за твое поведение перед воспитанным и выдержанным Непотом. Правда, я предпочитаю выдержанное фалернское... Как, ты не плачешь, расставаясь со мной, о каменное сердце?

— Ты успеешь надоесть мне завтра, пьянчужка.

— Не корчь из себя стойка. Ты не меньше меня любишь попойки и всякие безобразия. На другом видишь вошь, а на себе клопа не замечаешь. Я покидаю вас, почтенные книжники, и отправляюсь на Табернолу, в таверну Плокама. Всего наилучшего!

Когда Флавий скрылся, Непот посмотрел на Катулла своими спокойными, серо-голубыми глазами и спросил:

— Не понимаю, где ты находишь таких... одаренных приятелей?

— У Флавиция есть остроумие уличного мима. Временами он смахивает, правда, на кабацкое отребье, хотя по рождению принадлежит к палатинской знати. С его помощью я изучаю нравы.

— Знатность происхождения ничего не значит, даже наоборот. Нынешние аристократы настолько опустили в отношении нравственности, что перестали стыдиться не только своих рабов, но и других людей. Поведение и разговоры самых блистательных матрон часто отдают рынком и лупанаром.

— Пожалуй. Ведь стыд и честь — как платье: чем больше потрепаны, тем беспечнее к ним относятся.

К полудню солнце становилось жестоким. Оглушительно вопили лоточники, предлагая прохожим жареные бобы и медовое печенье. Другие наливали в глиняные кружки ватиканской кислятины, соблазняли дешевыми украшениями и, подмигивая на угол, ласками веселых девиц.

На Палатине толкотни было меньше, чем в плебейских кварталах, однако группы аристократов, прогуливающих в сопровождении клиентов и рабов, создавали и здесь заметное оживление.

Возле одного из патрицианских особняков, под великолепным портиком, у решетки, увитой плющом и виноградом, гудела толпа. Катулл и Непот подошли ближе. Оказалось, хозяева особняка отмечали какое-то семейное торжество, и любопытные собрались поглазеть на знатных гостей. Среди уличных бездельников выделялись элегантно одетые молодые люди, проявлявшие особое нетерпение. Эти щеголи торчали здесь, чтобы хоть таким способом увидеть светских красавиц — предмет своей безнадежной страсти. Влюбленные вздыхали и волновались. Остальные зрители перебрасывались дерзкими замечаниями, без стеснения разглядывали гордых нобилей, обсуждали наряды и драгоценности матрон.

Катулл нашел знакомых и вместе с ними издевался над тучными животами и красными от возлияний лысынами сенаторов.

— Послушай-ка, — обратился к нему Непот, — ты, кажется, спрашивал меня однажды про жену Метелла Целера Клодию...

— Я как-то видел ее издали, да ничего не разобрал.

— Она необыкновенно хороша. Можешь взглянуть на нее поближе. Вон две матроны, окруженные светскими хлыщами. Одна из них чуть повыше ростом, с черными волосами, — это Волумния, жена сенатора Агенобарба, а другая, светловолосая, и есть Клодия.

Продолжая смеяться чьей-то удачной остроте, Катулл повернул голову. Он не заметил прелестной Волумнии. Не отрываясь, остановившимися, будто от ужаса, глазами, он смотрел только на Клодию. Катулл не чувствовал суетного и жадного любопытства. Он был готов преклонить колени и молиться, уверенный, что к нему приближается олимпийская богиня. Но не такая, какой ее изобразили в мраморе суровые, рациональные стойки: с маленькой целомудренной грудью и мускулистым животом атлета, а в совершенном расцвете женственной красоты.

Клодия рассеянно взглядывала на толпу синими, чуть косящими

глазами Венеры.

Пронизанную солнцем, полупрозрачную столу жемчужного цвета соткали в невообразимо далекой стране серов^[100] и доставили в Рим через Индию и Египет будто лишь для того, чтобы, надев ее, Клодия не могла скрыть ни одного изгиба своего прекрасного тела... В это верили все, в их числе и обомлевший Катулл.

Беседуя с Волумнией, Клодия подошла ближе. На груди ее переливался огненно-красный опал, на руках блестели золотые браслеты.

Катулл перевел взгляд на белоснежный паллий^[101], волочившийся по отшлифованным плитам, потом на золоченые туфли с сапфирами в виде крошечных звезд. Вождеделение не шевельнулось в нем. Для чувственного влечения требовалась более ограниченная красота, лишенная такого неправдоподобного совершенства.

Сердце билось тяжелыми, гулкими ударами и вдруг так резко и больно сжалось, как будто смерть приблизилась и коснулась его волос. Он с трудом перевел дыхание. Тело его покрылось потом, руки и ноги заледенели. Непот что-то говорил ему, — он ничего не понял. Словно оглох. И потерял способность соображать.

Восхищенный ропот следовал за двумя красавицами, как скрежет гальки за волной, отхлынувшей в море. Катуллу нестерпимо захотелось продлить терзающее его наслаждение. Он бросился вперед, но перед ним сомкнулся ряд несокрушимых римских спин, и никто даже не заметил его молчаливого буйства. Будто за милю вспыхнула белокурая тиара волос. Клодия простилась с Волумнией, улыбнулась сопровождавшим ее поклонникам и села в свою роскошную лектику^[102], задрапированную виссоном^[103]. Статные рабы разом подняли ее и легко понесли.

Забыв о Непоте, обо всем на свете, Катулл помчался к Аллию. В дверь он колотил ногами и руками и бешено рвал кольцо из бронзовой львиной пасти. Встревоженный раб, открыл с опаской, а узнав, приветливо поклонился.

— Где твой господин? — закричал Катулл. — Замолчи, подлая птица! (на ручную ворону, каркнувшую из клетки «сальве»^[104]).

— Но господин в бальнеуме... — растерянно начал раб.

— Все равно!

— Я не могу отлучаться. Эй, кто там? Эвмен! Проводи друга нашего господина в бальнеум.

Лежа в горячей воде, Аллий отмокал после ночного пира. Это было прекрасное средство для восстановления сил. Исчезла тяжесть в затылке,

тошнота и угнетенное состояние духа. По телу разливалась приятная, безмятежная сонливость.

Вбежав, Катулл рухнул на пол и обхватил Аллия за шею. Толстяк испуганно уставился на него. Катулл тяжело дышал, вода лилась через край бассейна на его щегольскую пенулу.

Наконец Аллий вымолвил:

— Что случилось, Гай? Откуда ты свалился?

— Не сердись! Прости мою бесцеремонность! Прости и помоги мне!
— причитал Катулл.

— Ничего не понимаю... Что ты мелешь, дружок?

— Я не подозревал, что это может случиться со мной! И вот сегодня стрела Амура жестоко пронзила мое сердце...

Аллий осторожно высвободил шею из объятий Катулла, покрутил головой и опять вытаращил на него припухшие глаза. Постепенно его тучное тело стало колыхаться, и, закатившись приступом хохота, он повалился в воду.

Обессилев и еще издавая заключительные стонущие звуки, Аллий взглянул на Катулла. По бледному лбу веронца струйками стекал пот. Исступленный взгляд, стиснутые зубы, излом бровей, как на трагической маске, говорили об искреннем страдании. Он не замечал своей вымокшей одежды.

— Кликни-ка Эвмена, — сказал Аллий сердито.

Он приказал вошедшему рабу взять у Катулла одежду, высушить ее и принести холодного велитернского.

— Наливай, и приступим к делу, — сказал Аллий, когда раб подал вино. — Объясни толком, каким образом я могу тебе помочь?

— Клянусь Юпитером Капитолийским, я никогда не думал о какой-то невероятной, роковой страсти. Мне казалось, что все эти муки и вопли существуют только в трагедиях Еврипида. И вот страсть вонзилась мне во внутренности, как вертел. Чтобы увидеть возлюбленную еще раз, я готов пойти на убийство и поджог.

— Примерно то же ты нес, когда вздыхал о потаскушке Постумии.

— Нет, нет! — закричал Катулл. Он заметался по бальнеуму. Аллий посмотрел на его босые пятки, шлепающие по мокрому мрамору, но не улыбнулся.

— Ты и вправду не можешь без нее жить? — спросил он. — Кто же она?

И тут Катулл замялся. Ему стало стыдно своей несдержанности.

— Она патрицианка, первая красавица Рима... — бормотал веронец.

Аллий продолжал глядеть вопросительно: мало ли какую патрицианку Катулл считает первой красавицей?

Катулл сел на скамью и виновато, но с надеждой сказал:

— О Луций, золотой, милый, добрый друг... Только ты можешь познакомить бедного транспаданца с божественной Клодией, женой Метелла Целера...

— Что?! — Аллий уронил чашу с вином.

Катулл сидел, сжав голову руками, и глядел исподлобья, пока Аллий выбирался из воды, розовой от пролитого вина.

Молчание длилось. Они сидели рядом: поджарый, взлохмаченный Катулл и толстяк Аллий, красноватый, с большим животом и мясистыми плечами.

— Я многое мог бы тебе рассказать про жену Целера, — начал Аллий, — но вижу, что это совершенно бесполезно и еще больше тебя расстроит. Ты думаешь, будто познакомиться с Клодией можно лишь при помощи аристократических связей? Ты ошибаешься. К ней не без успеха может подойти и... Ну, хорошо, я умолкаю, не бросай на меня свирепых взглядов. Клодия, так Клодия. Тем более что она ослепительно красива и весьма неглупа. Раз ты просишь, я сведу тебя с ней.

— Когда? — спросил Катулл и поцеловал Аллия в мокрое плечо.

— Нечего подлизываться, я и так тебе помогу. За несколько дней до июньских календ^[105] будет праздник в доме сенатора Вариния. Палатинская знать соберется к нему. Я думаю, там мы найдем и жену Целера.

— Ты исцеляешь меня! — радостно закричал Катулл; внезапно помрачнев, он спросил: — Как ты находишь, я не слишком уродлив? Есть у меня хоть малейшая надежда понравиться?

Аллию надоело утешать Катулла. Весело подмигнув, он принялся разглагольствовать:

— Нельзя сказать, что ты красавец. Однако тебе не откажешь в привлекательности. На лице у тебя нет прыщей, оспин, гнойных язв и шрамов — это уже хорошо. У тебя живые и блестящие, как у обезьяны, глаза. По их выражению можно заключить, что ты не дурак, а также, что ты ненасытен и развращен. У тебя наглая улыбка и оскал зубов, как у кусачей собаки. Все это обычно нравится женщинам. Что касается фигуры, то, конечно, ты не очень похож на статую Мирона или Лисиппа^[106]... Впрочем, ты довольно строен, хотя и несколько суховат. Но это не должно тебе повредить, потому что всякому известно: хороший петух всегда тощ.

— О боги, — простонал Катулл, — за что вы послали мне в друзья такого бессердечного человека!

III

В назначенный день они отправились к дому сенатора Вариния. Обширный особняк находился у подножия Палатинского холма. Напротив сияли белизной храмы и базилики Форума.

Сенатор Публий Вариний, седой, но еще крепкий мужчина, стоял при входе с женой и двумя старшими сыновьями. Родственников и друзей он радостно обнимал, с высокопоставленными гостями обменивался рукопожатием, остальных — приветствовал поднятой рукой.

На круглой площадке, окруженной миртами и кустами роз, бронзовая нимфа обольщала дельфина, который орошал ее зеленое лицо изогнутыми чистыми струйками. Позади фонтана музыканты наигрывали на кифарах и флейтах неназойливые мелодии. Мальчики, загримированные под мифического Ганимеда^[107], разносили сладости.

Катулл и Аллий остановились, разглядывая гостей. Одетые в латиклавы с пурпурной полосой, в расшитые сирийские ткани и полупрозрачный шелк-серикум, блистая драгоценностями и благоухая восточными ароматами, нобили и матроны медленно прохаживались по дорожкам сада.

— Ну, гляди, где тут твоя Цирцея^[108]... — сказал Аллий.

Катулл взволнованно озирался, но Клодии нигде не было видно.

— Давай-ка я покажу тебе кое-кого... — предложил Аллий. — Ты ведь впервые попал в такое сборище знати. Вот, например, рыжий и противный лицом Фавст Сулла, сын незабвенного кровопийцы. Видишь, как он радостно скалит зубы? Фавст счастливый жених, ему обещана дочь самого Помпея. А вот и она в паре со своей распутной сестрицей. Что сделаешь, мой милый, потомство тиранов стремится объединить наследственные качества грабителей и убийц...

Оживленно беседуя, вошли двое сенаторов: один среднего роста, густобровый и бледный, с острым подбородком и запавшими щеками, другой высокий, красивый, нарумяненный и напудренный, по виду несколько старше своего собеседника.

— О, достойнейшие мужи! *Decora et ornamenta saeculi sui!*^[109] — воскликнул Аллий. — Это Варрон и Гортензий! Варрон хмур от ненависти к триумвирам и бледен от ночных бдений, во время которых он пишет философские и агрономические трактаты, исторические анналы, речи, памфлеты, трагедии, комедии, поэмы, элегии... Ну, что вообще можно еще

писать? А Гортензий, бывший когда-то соперником Цицерона, теперь малость скис, растерял свою славу и политические позиции. Зато он на склоне лет стал увлекаться радостями жизни — составляет кулинарные рецепты, покупает девочек и сочиняет легкомысленные стихи.

Тем временем Варрон отошел к группе гостей. Аллий схватил Катулла за край тоги и поспешил представить его Гортензию.

— Очень рад, — улыбаясь, говорил знаменитый оратор, — мне нравится твоя непосредственность, любезный Катулл. Не выношу напыщенных моралистов в поэзии. Живем один раз; после смерти — ничто, а богов не интересуется жалкая суета людей, как учит Эпикур. Я тоже не чужд поэтических занятий именно вашего «александрийского» толка. Как-нибудь с удовольствием приду в собрание одаренной молодежи. Теперь у меня много последователей, желающих перенять не только приемы красноречия, но и мой опыт в разведении павлинов. Что ты скажешь об этом, Аллий? Надеюсь, ты не считаешь мое увлечение ничтожным?

— Как ты мог подумать только о подобной дерзости с моей стороны! — воскликнул Аллий. — Все, что увлекает великого Гортензия Гортала — блестящие риторические обороты или созерцание сказочных индийских птиц, — всегда значительно и изящно.

— Благодарю, милый Торкват. Я оставляю вас, юноши. Кстати, вот и еще один ваш брат по кружку...

К Катулла и Аллию подошел Гай Меммий с лавровым венком на голове.

— Что случилось? Почему ты такой надутый и в венке? — удивился Аллий; он хитро сощурил глаза, предчувствуя нечто забавное. В ответ Меммий недовольно пожал плечами.

— Дядя умолил меня написать дифирамб^[110] для Вариния, — сказал он. — Я и сочинил сдуру длинейшее славословие в подражание Ариону^[111]. Старики пришли в восторг и нацепили на меня этот проклятый венок. Да еще забота: сейчас явится толстуха Фульвия с тощей Мунацией и красоткой Клодией... Я обещал их сопровождать до начала пира.

Аллий хихикал, но Катулла было не до смеха. Услышав, что скоро увидит поразившую его воображение красавицу, веронец побледнел и стал беспокойно оправлять складки своей тоги. Он показывал Аллию глазами, чтобы тот расспросил о Клодии, но Аллий слишком увлекся сплетнями. Заметив наконец гримасы Катулла, он обратился к Меммию без всяких уловок и предисловий:

— Веди сюда Фульвию и матрон, что придут с нею. Я хочу познакомиться с Клодией нашего Катулла. Он увидел ее неделю назад и страстно влюбился.

Катулл вспыхнул, но Меммий не выразил ни удивления, ни иронии.

— Хорошо, сейчас приведу, — только и сказал он.

IV

Плавную музыку кифаредов перебили звонкие удары кимвал. Ворвались мимы и танцовщицы, одетые сатирами, силенами и вакханками. Кривляясь и высоко вскидывая ноги, они закружились вокруг фонтана. Гости, успевшие приложиться к фалернскому, со смехом глядели на их непристойные ужимки. Представление «Шествие Вакха» длилось довольно долго и исчезло так же стремительно, как и началось.

Поглядывая на смуглых девушек, танцевавших томный восточный танец, гости лакомились фруктами, привезенными из Африки, и обсуждали скандальные новости Форума.

Катулл, словно издалека, слышал вокруг себя манерные интонации причудливо переплетавшихся женских и мужских голосов. Еще дальше раздавалось глухое постукиванье бубна. Эти звуки доносились сквозь охватившее его оцепенение, и то, что должно было произойти с минуты на минуту, представлялось ему несбыточным.

— А, вот они идут... — произнес Аллий.

Катулл обернулся и увидел Меммия рядом с Фульвией в бледно-лиловом пеплуме и Мунацией в пурпурном паллии. Справа от них плыло видение белоснежного невесомого облака, освещенного лучом солнца, — такой показалась Катуллу Клодия.

С приветственным восклицанием Аллий поспешил им навстречу. Сдерживая лихорадочную дрожь и растянув губы в улыбке, Катулл шагнул в том же направлении. Матроны приблизились. Аллий горстями разбрасывал шутки и похвалы. «Вот наш Катулл, шалуны... Помните его? То-то. Теперь и Клодия будет его знать. Чего же ты молчишь, Гай? Скажи что-нибудь жене сенатора Целера, да не опускай голову так низко, а то еще упадешь...» — веселье круглолицего Аллия было неисчерпаемо.

— Ты не даешь Катуллу слова сказать, — насмешливо перебила толстяка Клодия.

Веронец вдруг заговорил торжественно и несколько невпопад:

— Смертному невозможно не преклоняться перед твоей красотой. Кажется, будто видишь Венеру, выходящую из пены волн на золотой песок Амафунта^[112]... — Он старался быть возможно любезным и предпочел выражаться в приторно-вязком тоне.

— Ну вот, такие гимны поют мне все мужчины с утра и до вечера... — сказала Клодия с безмятежной откровенностью.

— Гораздо удачливее те, что поют их тебе с вечера до утра, — прибавил хитрым голосом Аллий.

Оба рассмеялись этой пошлой двусмысленности, как дети, которым надоело вести себя благовоспитанно. Клодия не чванилась, не кокетничала и не сдерживала себя ни в чем, уверенная, что все сделанное ею будет вполне достойно ее красоты.

Среди аристократов стало модным подражание безыскусственности простонародья. Разве не увлекательно сочетать утонченность ума и роскошные привычки с солдатскими остротами и замашками прачек? Клодия тоже предпочитала самую смелую, даже вызывающую манеру поведения.

Катулл тяжело вздохнул, стараясь отогнать мысль о ее доступности. Он не мог преодолеть благоговения перед внешним совершенством и очаровательной доброжелательностью патрицианки.

— Я не сказал тебе ничего более возвышенного, прекрасная матрона, потому что волнение помутило мой разум, язык прилипает к зубам, и в глазах темно, — пробормотал Катулл. — Я ревную тебя ко всем мужчинам и женщинам, дерзко глядящим на твою божественную красоту...

Пожалуй, это не совсем походило на приевшуюся любезность светских волокит. Что-то покалывающее нервы было в словах и облике бледного, порывистого веронца. Клодия пристально разглядывала Катулла.

Глухой голос поэта, произносившего изысканные признания, обаяние его ума и поэтической славы начинали действовать возбуждающе на ее капризную и развращенную волю.

Жужжали голоса гостей, гремела музыка, актеры плясали, распевая «кантики»^[113] из комедии Плавта, а Катулл готов был плакать, задыхаясь от невысказанной любви.

— Если бы я мог надеяться, что снова увижусь с тобой, о Клодия, — проговорил он сдавленным голосом, — если бы твоя милость ко мне была хоть... с тысячную долю унции^[114], то я считал бы себя счастливейшим из живых существ, обитающих на земле, и счастливее тех, кому суждено жить после нас.

Клодия немного удивилась, но приняла его тон и ответила ласково, хотя и с легкой насмешкой:

— Хорошо, Валерий, я прикажу своему ювелиру взвесить столь ничтожную частицу золота, сделать цветок и послать тебе как знак моего благожелательного внимания.

— Бедняга не сумеет сработать такую мелкую вещицу, даже если ему

пригрозить распятием, — вмешался Аллий. — А знаете ли, — продолжал он, — ваши возвышенные разговоры и похотливые взгляды меня раззадорили. Пожалуй, я побегу сейчас же к задастенькой отпущеннице Ливии...

— О, похабник! — с искренней яростью вскричал Катулл.

Клодия рассмеялась так весело, что на ее ресницах повисли слезы. Рискованное остроумие Аллия, как всегда, имело успех.

Тем временем перед гостями Вариния явились двенадцать флейтистов-виртуозов, приехавших из Афин. Юноши в одинаковых зеленых хитонах приложили к губам флейты, и полились нежные звуки буколического [\[115\]](#) напева.

Слушая пересвисты флейт, Катулл боялся потерять власть над собой.

Аллий шепнул ему на ухо:

— Не сходи с ума, петушок. Что ты вытаращился, как будто никогда ее больше не увидишь? Уверен, что она решила не упускать такого красноречивого поклонника. Взгляни лучше назад, там стоит здоровенный, как борец, малый, смуглый и бравый... видишь? Это Марк Антоний, родственник Цезаря. Будучи претором Македонии, дочиста ограбил и разорил всю страну. По беспутству он считается одним из первых в Риме. Вот и теперь, гляди-ка, приволок в самое избранное общество свою любовницу, актрису-гречанку... Справа от них юная, тоненькая, очень миловидная вдовушка Сервилия. Говорят, Цезарь так ею прельстился, что подарил малютке черную жемчужину, оцененную в шесть миллионов. А там... смотри внимательно! Подошел к хозяину... повернулся сюда... чешет голову мизинцем, чтоб не испортить прическу... Это муж Клодии, наместник в Цизальпинской Галлии и Иллирии, Метелл Целер.

Катулл с враждебным чувством разглядывал грузного, широкоплечего сенатора лет сорока пяти. Ему показались отвратительными тяжелые челюсти, толстая шея, неподвижные глаза и редкие волосы, начесанные на лоб. В облике Целера ощущалась холодная и уверенная сила, выпяченная нижняя губа указывала на высокомерие, а тучный живот и красноватый мясистый нос обличали пристрастие к застольям. Знатный род, богатство и непреклонность при защите позиций оптиматов создали Целеру положение одного из столпов сенатской аристократии.

Клодия заметила появление Целера, но не подошла к нему. Она немного отодвинулась от Катулла и стала расспрашивать Мунацию о каких-то пустяках.

Музыка смолкла. Флейтисты удостоились снисходительного одобрения гостей.

— Во времена наших дедов такие выступления казались скучной и непонятной диковиной, — сказал Меммий, — Случалось, зрители бросали в музыкантов грязью или тухлыми яйцами, а наниматель заставлял их подражаться, чтобы пинки и затрецины немного развлекли римскую знать. Для меня же музыка значит не многим меньше, чем поэзия.

Среди гостей появился улыбающийся хозяин. Он посылал воздушные поцелуи матронам и раскланивался во все стороны. Он сыпал любезностями, и ответные любезности сыпались на него. Представительный раб провозгласил звонким голосом, что сенатор Публий Вариний благодарит всех, милостиво одаривших его своим вниманием, и просит гостей перейти в дом для продолжения праздника.

— Это означает, — пояснил опытный Аллий, — что сенаторы со своими женами приглашаются в главный триклиний за один стол с хозяином. Остальные могут расположиться в соседних комнатах или выпить прямо в саду...

Катулл шагнул к Клодии, но, опомнившись, замер. Он не решался еще раз просить ее о встрече и чувствовал себя глубоко несчастным. Клодия посмотрела на него с загадочной улыбкой и слегка кивнула Мунации.

— Мой муж уехал в Синуэссу, на горячие ключи, у него разыгралась подагра, — сказала Мунация. — Через два дня, в свой день рождения, я буду рада видеть друзей. Прощу тебя, Клодия, и тебя, Катулл, не забыть одинокую, больную старушку Мунацию.

— О, благодарю, благодарю тебя... за приглашение! — воскликнул Катулл не в силах сдержать мальчишескую радость.

— Что делать, я должна идти к мужу, — с сожалением сказала Клодия. — У этого тупицы Вариния соблюдается старинный обычай, по которому во время трапезы жена должна сидеть в ногах своего супруга, как рабыня. Чтоб его истерзали Эринии^[116] и порвали бешеные собаки!

Только теперь Катулл заметил, что они привлекают общее внимание. Но разве могло быть иначе? Красота Клодии явилась мишенью для множества завистливых взглядов. Приглушенные пересуды ползли смрадным душком, кривились в усмешке мокрые губы сплетников и развратниц. Вот общество, о котором мечтал для него отец, — Катулл мрачнел от сознания своей отчужденности спесивому и злонравному сборищу знати.

Зато Клодия презирала их ровно настолько же, насколько они осуждали ее дерзкое своеволие. Спокойно и холодно глядя перед собой, она будто не замечала, что наступает на полы сенаторских тог и златотканых паллиев.

Клодия подошла к Целеру, они обменялись вежливыми приветствиями, как чужие. Клодия положила два пальца на локоть мужа. Ее движения были снисходительны и небрежны. Целер сказал что-то, почти не раскрывая рта, и они медленно последовали за другими парами, направлявшимися в триклиний.

Вечером, когда гости вышли в сад, Катулл снова увидел Клодию. Она оживленно разговаривала со своими соседями. Целер стоял рядом, самодовольно ухмылялся и, прикрываясь платком, икал.

Аллий опасался, как бы захмелевший Катулл не допустил какую-нибудь непростительную выходку.

— Да успокойся ты наконец, — увещевал он веронца, — все равно сегодня тебе уж к ней не подойти. По-моему, они собралась уезжать. Через два дня встретишься со своей богиней у Мунации. Чего тебе еще? Клодия не из тех, кто заставляет поклонников долго страдать. Взглянем-ка лучше на их отъезд. Право, стоит. Либурна^[117] покрыта резьбой и позолотой, задрапирована канузскими тканями, наверху золотой Меркурий, на кистях самоцветы... А каковы гиганты носильщики! Прямо двуглазые циклопы^[118]! Позади черноликие нумидийцы и служанки, под стать своей госпоже! Впереди скороходы с тростями, и трубачи, и глашатаи... Боги, какое великолепие! Целер-то, оплот праведных нравов, первый нарушает закон об ограничении роскоши... Хорош, нечего сказать! И до дома-то им не больше двух шагов, а сколько шума и блеска!

Катулл стал прощаться с Аллием и Меммием.

— Доберешься ли ты без провожатого? — забеспокоился Аллий. — В темноте скрываются беглые рабы и ужасные призраки. Ты хоть и не сильно пьян, но совсем ополоумел...

Катулл отказался просить у хозяина раба с факелом. Тогда Меммий протянул ему короткий меч, припасенный для ночной прогулки.

— Возьми, все может случиться, — сказал он.

Покинув постылое палатинское веселье, влюбленный Катулл уныло побрел к себе на Квиринал.

На другой день Катулл отправился в скромные термы^[119], нанял банщика, приказал ему свести с тела волосы и умастить кожу. После мытья он лежал на скамье и дремал.

В круглый водоем с журчанием стекала вода. Поодаль цирюльник брил толстопузого торговца, развлекая его похабными анекдотами. Трое стражников, сменившихся после ночного дежурства, распивали с усталым достоинством кувшин дрянного вейентского.

Откинув простыню, Катулл разглядывал свое тело. Оно блестит теперь, словно начищенный пемзой свиток папируса. Ни один волосок не безобразит его ног и груди. Подмышки выбриты, лобок гладок, как у десятилетнего мальчишки. Дурацкий обычай процветает в Риме. Не гнушно ли превращать тело мужчины в подобие бабьего! Но друзья советовали ему приготовиться на всякий случай, чтобы не оскорбить аристократического вкуса знатной красавицы. Катулл последовал иронически мудрому совету, хотя ему и представить было странно, что столь мучительно желанный случай может произойти.

Дома Тит подал ему обед и пожаловался на рыночные цены. Он качал головой и хмурился, глядя, как Гай Валерий равнодушно ковыряет салат с яйцами, копченую камбалу, свинину с горохом. Обед остался почти нетронутым. От вина Катулл отказался, выпил холодной воды и растянулся на ложе.

И снова видение смеющейся Клодии возникло перед ним. Он вспомнил, как Мунация сказала с нескрываемой завистью:

— Клодия поразительно сохранилась при таком бурном образе жизни. Ведь ей больше тридцати, а выглядит она на десять лет моложе. Может быть, ее врачи знают тайну продления молодости?

Цвет лица Клодии изумлял свежестью, кожа — упругостью и белизной, движения — грацией и свободой. Разумеется, все снадобья и ухищрения были использованы для поддержания божественного юного облика. И другие матроны стремились к тому же, но никто не достигал такого успеха.

Клодия даже не подкрашивала свои обольстительные губы и не сурьмила от природы черные, изогнутые ресницы. Низкий и ясный лоб — словно мрамор без малейшего изъяна, нос — совершенное явление красоты, овал лица — почти Фидиевой^[120] богини... почти — потому что

древняя этрусская кровь сказывалась в некоторой широковатости скул, особенно заметных, когда Клодия улыбалась. В этой погрешности перед классическим идеалом заключалось довершающее и необъяснимое очарование Клодии, похожей на белокурую женщину кельтов [\[121\]](#).

Своим пышным, светло-каштановым волосам она придавала золотистый оттенок и укладывала в высокую прическу. Огромные, чуть косящие глаза Клодии постоянно меняют выражение: в них то нежность и кротость, то надменная уверенность, то грозный вызов могучей хищницы. И цвет глаз меняется — от безмятежной небесной лазури до взволнованной морской синевы.

Клодия была среднего роста, но казалась высокой из-за прически и редкой стройности. Ее тело, отлично развитое греческими танцами и гимнастикой, прославилось в Риме, Байях, Неаполе, везде, где она появлялась, вызывая восхищенные пересуды и завоевывая новых поклонников.

— Позволить себе увлечься этой палатинской Венерой, — полусерьезно, полушутливо говорил Кальв, — значит превратиться в мотылька, летящего к беспощадному пламени.

Катулл не слушал его предостережений. Он не мог сейчас ни видаться с друзьями, ни убивать время среди крикливой толпы.

Два дня он не выходил из дома и, чтобы успокоиться, перебирал папирусы и таблички. Вот его перевод Сафо, великой поэтессы, искренней и страстной души, страдавшей от неразделенного чувства. Теперь не в ночных грезах, а наяву встретил Катулл красавицу, которая своим обликом вызывала в нем такую же бурю нежности и ревнивого отчаянья, что и стихи лесбосской волшебницы.

Где ты, смуглая, горячая, трепещущая Сафо! Ты словно передала обаяние своей певучей поэзии глубокому взору гордой римлянки, и Катулл никогда не сможет забыть о тебе.

VI

Ни мозаичными полами, ни росписями потолков и стен дом Мунации не отличался от других домов римской знати, хотя даже в сравнение не мог идти с дворцами магнатов. Однако собранные в нем скульптуры и картины греческих мастеров, египетские и коринфские вазы делали его небольшие залы настоящей сокровищницей.

— Мой муж и его покойный отец потратили огромное состояние, перекупив у барышников все эти ценности... — рассказывала Мунация, показывая гостям награбленные завоевателями произведения искусства. — Вы можете сравнить статуи учеников Поликлета^[122] и ваятелей Танагры^[123]. Вот небольшой бюст самого Лисиппа, напротив чеканка знаменитого Мия^[124], дальше прекрасная александрийская глиптика^[125] — профили Александра и Птолемея...

Рассеянно слушая, Катулл не отводил взгляда от лица Клодии. Аллий ухмыльнулся: Катуллу было явно не до скульптур.

— Это школа великого Апеллеса^[126], — продолжала объяснять Мунация. — Так замечательно передана натура, что хочется взять в руки кисть винограда или присоединиться к веселью нимф, купающихся в ручье...

День рождения Мунации проходил на редкость церемонно и скучно. Среди гостей расхаживала почтенная седая матрона. Она улыбалась синеватыми губами и говорила любезности лживым, холодным голосом. На ее увядшем лице можно было заметить тщательно скрываемую ненависть к жене сына.

Родственники и друзья дарили виновнице торжества дорогие благовония, перстни и золотые цепочки. Мунация повернулась к Катуллу, ожидая, по-видимому, поздравительных стихов.

Накануне Катулл находился в затруднении, не зная, что выбрать для подарка избалованной матроне.

Его выручил знакомый актер Камерий.

— Даже если ты отдашь все деньги до последнего асса, — сказал он, — то и тогда никого не удивишь, а сам останешься без хлеба. Благодарю преданного Камерия, дорогой Катулл, вот тебе изысканный подарок — театральная маска великого Квинта Росция, которой он, правда, пользовался редко, предпочитая выступать с открытым лицом. Для тщеславной аристократки, играющей в любительницу искусств, трудно

найти более подходящую вещь. Не сомневайся, это не фальшивка, вот и собственноручная подпись Росция... Реликвия обошлась мне довольно дешево: пол-урны красного велитернского сторожу театрального склада, и дело сладилось.

Маска актера, еще десять лет назад гремевшего на подмостках Рима и оставившего по себе легендарную память, вызвала завистливые восклицания у гостей Мунации.

Стихи в честь хозяйки произнес Меммий. Присутствующие одобрительно рукоплескали, а Катулл наклонился к уху Клодии, чувствуя, как у него дрожит сердце.

— Будь снисходительна, я дерзнул посвятить тебе несколько строчек... — прошептал он.

Пока гости Мунации восхищались стихами Меммия, Катулл украдкой достал табличку. Он так волновался, что у него побелели губы.

— Будь снисходительна, — еще раз пробормотал он, с беспокойством глядя, как она читает.

— Если бы эти прекрасные стихи были на греческом, — улыбаясь, сказала Клодия, — я бы подумала, что они принадлежат Сафо.

Катулл поразился ее образованности и интуиции.

— Ты права, здесь в основе — чудесный эпиграммой лесбосской поэтессы... Я хотел, чтобы на языке римлян чувства влюбленного выражались не хуже, чем ужас кровавых сражений и доблесть героев. Стихами Сафо мое сердце говорит о высокой и чистой страсти...

— Ко мне? — притворно удивилась Клодия и покраснела неожиданно для себя самой.

— К тебе, о божественная, о Лесбия...

Клодия торжествующе, губительным, неподвижным взглядом смотрела прямо в глаза веронцу.

VII

Издатель Спурий Кларан, человек умный и опытный в своем деле, разглядывал только что переписанный стихотворный сборник. Последнее время любители латинских стихов гоняются за легковесной и манерной поэзией. Что ж, если им нравятся бестолковые и неприличные излияния, он будет издавать эту чепуху, лишь бы за нее охотно платили.

Видимо, прошла эпоха величественных громкозвучных поэм. И хотя сенат каждый год заказывает Кларану трагедии Энния, «римский Гомер» пылится на прилавках и складах. А сборник, составленный вылощенным чистюлей Валерием Катонем, расхватывают в два дня.

Надо сказать, книжечка получилась нарядная — расчерченная красным, с лакированным шариком на скалке, в пестром футляре. Такая сразу бросится в глаза покупателю. Катон уже получил от Кларана пятьсот денариев только за первый выпуск. Ничего не поделаешь! Приходится отдавать «новым поэтам» груды серебра, потому что и сам издатель, и хозяева книжных лавок приобретают тройной барыш именно от таких пустяков.

Кларан научился безошибочно разбираться в бурном море поэзии, которое плещется в окна издательства и грозит его затопить. Поступают десятки стихов ежедневно. Их приносят важные богачи и голодные оборванцы, застенчивые девушки и развязные верзилы с сумасшедшими глазами. Всем надо дать ответ — благожелательный, холодно-вежливый или резкий, в зависимости от обстоятельств. Одним следует заплатить (иной раз и немало, о боги!), другие платят сами, лишь бы увидеть свои произведения опубликованными.

Сборник Валерия Катона — другое дело: это верный доход и слава издательства. Начинается он стихами самого Катона, довольно заковыристыми и учеными, такие теперь тоже в моде. Потом идут недурные элегии Корнифиция, Тицида и Кальва. Их имена с обожанием произносят разнаряженные вертихвостки и самовлюбленные юнцы. В книжке есть также несколько столбцов Меммия, Фурия, Руфа — они, как и остальные, подражают придворным александрийским стихоплетам, что, по мнению Кларана, позор для настоящего римлянина. Но лучший в сборнике, конечно, Катулл. Его эпиграммы и безделки начали появляться около года назад. Правду сказать, веронец умеет подбирать такие слова, от которых кровь ударяет в голову. Отдавшись пылкому чувству, он высказывает без

всякого стыда все, чем полно сердце. Наверное, потому Катулл нравится и простонародью и знати.

На этот раз в сборнике его прекрасный перевод из Сафо. А кроме того, и слюнявая детская вещица, в которой он обращается к воробью, живущему в доме некой красавицы, и завидует ему, мечтая о прикосновении ее нежных пальчиков. Впрочем, Кларан знал, о ком идет речь. Недавно ему показали белокурую матрону с лицом олимпийской богини. Это была Клодия, жена сенатора Целера. Ее сопровождало несколько щеголей; Катулл выделялся среди них вызывающим хохотом и беспокойным взглядом. Ему явно не хватает благородного воспитания, и, судя по всему, Клодия здорово запутала его в своих сетях.

Кларан вызвал из мастерской старшину переписчиков и протянул ему проверенный свиток:

— Ладно, Алекс, можно пригласить Дециана и передать ему для начала три сотни сборников.

— А сколько оставить плешивому хрычу Гавию? — спросил раб, усмехаясь (он знал, в каком тоне хозяин предпочитает с ним говорить).

— Оставь ему столько же, пусть подавится, мерзкая образина.

— Не много ли Гавию, господин? — усомнился Алекс, почесывая подбородок, чтобы показать свою озабоченность и преданность интересам хозяина. — Он что-то стал не так оборотист, как прежде.

— Ничего, книжка разойдется — мигнуть не успеешь. Хотя по мне эти «новые поэты» суцая дрянь, и сам Цицерон поносит их на чем свет стоит, но... главное для меня — римский народ. Клянусь жизнью! Публика желает читать подражания манерным грекосам и всякую всячину наподобие похабных стишков Катулла. Что ж, таковы нравы — нам важно знать вкусы людей. Они расплачиваются за свои пристрастия не медными квадрантами, а серебром... Боги, какая честь! — Кларан рысцой побежал к двери, в которую входил оратор Гортензий Гортал с рабом-номенклатором^[127].

— Кларан, издатель, — произнес номенклатор из-за плеча Гортензия.

— Знаю... — отмахнулся оратор. — Неужели ты думаешь, я забыл имя своего издателя? Привет тебе, любезный Кларан. Милостивы ли боги к твоему поприщу?

— Я счастлив услышать вопрос участия из уст великого Гортензия!

— Когда дело касается трудов, полезных отечеству, между римлянами не должно быть никаких церемоний, — произнес Гортензий, самодовольно улыбаясь. Он сел в кресло, торопливо придвинутое Клараном, и взял у раба несколько исписанных табличек.

— Чем соизволишь обрадовать? — подобострастно спросил издатель.
— Это твои божественные речи или пленительные стихи?

— Нет, здесь нечто совсем иное. Я составил книгу с рецептами всевозможного приготовления павлиньих яиц. Уверен, что она заинтересует изысканную публику.

— О, всемогущие боги! — всплеснул руками Кларан. — Какая разносторонность ума! И в этой области знания ты решил оставить потомкам свои мудрые советы!

— Выпусти книжку в небольшом количестве, но прикажи красиво оформить, — продолжал Гортензий. — А что там у тебя на столе?

— Стихи молодых поэтов, которых Цицерон называет презрительно «неотериками»...

— Ну, Цицерон все хочет петь неуклюжие песни столетней давности. Мне нравится Валерий Катон и его друзья, и особенно этот... как его...

— Катулл, — подсказал номенклатор.

Кларан сделал лукавый и понимающий вид. Отвернувшись от его фальшивых улыбок, Гортензий развернул свиток.

— Ты своего не упустишь, — подмигнул он Кларану. — Эти юноши принесут тебе немалый доход. Я первый куплю десяток сборников в подарок друзьям.

— О, несравненный, я велю принести книги в твой дом.

— Что же до Катулла, то, даю слово, о нем скоро будет говорить весь Рим. Или я ничего не смыслю в нынешней поэзии.

Гортензий распрощался с издателем и продолжал прогулку. На углу Табернолы он увидел элегантно одетых молодых людей, вышедших из двери замызанной плебейской попины. Многие аристократы считали особым щегольством побывать в таком заведении среди грузчиков и мастеровых, поесть вареной бараньей головы и выпить прокисшего ватиканского.

Гортензий узнал Аллия, Руфа, Корнифиция и Катулла. Они подталкивали друг друга, прищелкивали пальцами и обсуждали, как видно, что-то забавное. Встретившись с Гортензием, молодые люди перестали хохотать и учтиво приветствовали знаменитого оратора.

Гортензий добродушно осведомился, как они провели время в таком «божественном триклинии».

— Клянусь Вакхом, неплохо и, главное, весело! — затрещал краснощекий Аллий, — Сначала мы пили уксус вместо вина и ели кровяную колбасу с таким количеством перца и чеснока, что у нас драло горло. Потом Руф едва не сцепился с каким-то солдатом, потому что строил

глазки подружке этого парня...

— А Руф прочитал ей элегию, — фыркнул Корнифиций.

— Свою лучшую элегию... — комически-сокрушенно вздохнул Руф.

— Но красоте не понравилось. «Дрянь какая-то», сказала она. Мы по очереди стали предлагать ей самые возвышенные стихи, и она всех охаяла. Тогда попросили Катулла вспомнить его послание к Ипсифилле. «Вот это другое дело, — заявила девка, выслушав Катулла. — Этот бледненький кобелек разбирается, что к чему».

Гортензий долго шутил с молодыми поэтами, потом сказал серьезно:

— Совсем недавно я держал в руках ваш новый сборник. Да не оставят Аониды^[128] своим покровительством ваши поэтические труды. Я опытный политик и литератор и хочу сказать откровенно: вне всякого сомнения, сообщество «александрийцев» стало влиятельной партией в жизни Рима. Желаю вам дальнейших успехов, юноши. Привет от меня Катону, Меммию, бородатому Тициду, крошке Кальву и остальным.

— Да благословят тебя боги! Приходи, осчастливь нас своим присутствием! Ave^[129], великий Гортензий! — кричали ему вслед польщенные поэты.

Вскоре друзей покинул Руф: он спешил на судебный процесс в базилике Эмилия, где разбиралась интересовавшая его тяжба. Потом ушел Корнифиций.

— Ты, кажется, зван Клодией? — обратился Аллий к Катулле. — Идем вместе, я буду опекать тебя, на всякий случай. Только переоденемся, а то мы похожи на непрспавшихся забулдыг. Да еще прополощем рот и пожуюм ароматной травки, чтобы от нас не разило чесноком.

Придя к Аллию, они сменили одежду, надушились и к полудню были у особняка Целера.

VIII

Друзья ждали довольно долго, пока раб доложил о них хозяйке. Аллий дразнил говорящего попугая, прикованного за ногу золотой цепочкой; Катулл расхаживал из угла в угол.

Наконец раб явился и сказал, что госпожа просит проследовать к ней в конклав. Раб был красив, высокого роста, с черными вьющимися волосами: наверняка лузитан или ибериец. В его блестящих глазах и белозубой улыбке сквозь приторную почтительность проглядывала наглость избалованного бездельника. Двойственность его интонаций говорила о знании всех особых обстоятельств в семье Целера.

Катуллу показалось, что едва уловимый оттенок неприязни во взгляде красивого раба относится к нему. Это и возмутило его, и наполнило неясной надеждой.

Проходя через атрий, они встретили самого Метелла Целера в окружении десятка клиентов. Сенатор взглянул на друзей с мрачной гримасой и не ответил на их приветствие. В каждом госте жены он видел ее очередного избранника и едва сдерживал бешенство.

— Вежливостью у Целера не объешься, — шепнул Аллий. — Экая злобная рожа, будто подтверждающая: человек человеку зверь. Говорят, он терпеть не может греческой болтовни, напрасно ты сказал ему: хайре.

— Плевать, впредь не станем разбрасывать жемчуг перед свиньей, — с досадой сказал Катулл.

Дома знати постепенно перестраивались на новый лад, в них возводилось столько комнат и зал, что традиционные части римского дома совершенно терялись среди них. Таким был и особняк Целера. В полумраке пространных покоев мерцал мрамор, сияли грани горного хрусталя, длинными складками струился виссон и пурпур. Вошедшего встречали застывшие улыбки эллинских статуй.

Клодия приняла их, грациозно изогнувшись на ложе из слоновой кости, напоминающем трон восточных царей. Только короткая туника и полупрозрачный паллий прикрывали ее прелести. Распущенные золотистые волосы потоком ниспадали до самого пола.

Аллий сощурился, как от палящего солнца, и плотоядно чмокнул губами. Что и говорить, созерцание такой красоты может помрачить разум кому угодно, а не только влюбчивому веронцу.

— Ну, Клодия, красавица моя, ты и всегда-то похожа на Венеру, а

сегодня — на Венеру, скорбящую об Адонисе^[130]... — сказал он. — Что случилось?

Глаза Клодии припухли и покраснели, она прикладывала к ним скомканный платок. Оказалось, что околел ее ручной воробей, и Клодия все утро плакала, глядя на пустую клетку.

— Клянусь Юпитером, это недостойно такой умницы, как ты! — воскликнул Аллий.

— В жизни мало душевной улады... И привязанность даже к крошечному существу, к бедной серенькой птичке, скрашивала мне скорбь и заботы, — печально сказала Клодия.

Аллий пригляделся: нет, притворством здесь, пожалуй, не пахнет. Знаменитая распутница и роскошная сумасбродка Клодия плачет о подошедшей пичуге! Вот сейчас и Катулл расхнычется: брови как у трагика, и губы дрожат...

— Чтоб мне провалиться в Эреб! Прикажи отхлестать прутьями твоих нерадивых рабов! Пусть они растрясут животы и со всех ног бегут к храмам, где продаются священные птицы — воробьи, голуби... вороны, галки, орлы... Если хочешь, я подарю тебе пару толстых нумидийских кур^[131] вместо твоего покойничка... Мы с Катуллом сочиним надгробные поэмы и попросим Корнелия Непота занести сообщение о смерти твоего выдающегося воробья в исторические анналы...

Аллий сумел наконец рассмешить Клодию, она оживилась и благосклонно протянула молодым людям свои нежные руки.

— Обещаю тебе, что о твоей печали по бедному птенцу скоро узнает весь Рим, все муниципии и провинции, все люди, читающие на латинском языке, — пылко сказал Катулл.

— А я обещаю заказать повару две сотни жирных воробьев под самым невероятным соусом и приглашу на обед тебя и твоего мужа! — пародируя Катулла, завопил Аллий. — Кстати, при встрече с нами почтенный Целер смотрел так грозно... Я думал, он откусит мне голову, а Катулла, который втрое хуже меня, проглотит целиком.

Клодия поморщилась, будто при упоминании о чем-то крайне неприятном, и сказала пренебрежительно:

— Мой муж стал невыносим из-за своей ревности и постоянных упреков. На ночь глядя он объедается и напивается как невозддержанный варвар, а утром страдает от болей в желудке. Я просила его прекратить обжорство, но он только огрызается на мои просьбы. И Петеминис напрасно его предупреждает...

— Я всегда почтительнейше советую сенатору Целеру не допускать излишеств... — возник сзади скрипучий голос.

Катулл с удивлением оглянулся и заметил в отдаленном углу низенького человека, ростом значительно меньше Кальва, почти карлика. Он с достоинством кланялся, кивая сморщенным носатым личиком.

— Мой отпущенник и врач... Забавный, не правда ли? — сказала Клодия. — Он взял себе имя моего знаменитого прадеда, теперь он Аппий Клавдий Петеминис, знаток укрепляющих настоек, мазей и водолечения.

— Египтянин? — спросил Аллий.

— Он не египтянин, не иудей и не грек... — рассмеялась Клодия.

— Я александриец, с позволения молодых господ, — заявил Петеминис, потев от горделивого напряжения. — Хотя в Александрии живут греки, египтяне, иудеи и аравийцы, но я не отношу себя ни к одному из этих народов. Я александриец, — повторил он и приложил к темному, лысоватому лбу костлявые пальцы.

Клодия приказала рабыне принести для гостей вина, а сама удалилась в спальню переодеться.

Друзья пили старый массик^[132], закусывая медовым печеньем.

Когда Клодия вышла, Аллий покачал головой и сказал, поджав пухлые губы:

— Все-таки надо чувствовать себя отчаянно смелым, чтобы решиться полюбить такую женщину. А ты, несравненная матрона, не боишься, что возлюбленный вместо страстных ласк начнет совершать перед тобой жертвоприношения и запоет священные гимны?

— Нет, не боюсь, клянусь матерью богов, — ответила Клодия серьезно. — И мой возлюбленный будет петь гимны вместе со мной, но не смертной, а вечной и благой Венере.

Клодия посмотрела на Катулла с призывом и нежностью, ее лицо порозовело от волнения. Катулл поцеловал край ее одежды и произнес хрипловато:

— Если тебе нужен преданный раб, пленник, молящий о пощаде, то он перед тобой...

— Милый Гай, я всего лишь слабая женщина, мечтающая о защите и участии. Мне не нужен раб, я предпочла бы желанного повелителя.

Она пошла вперед, волоча по коврам голубой паллий.

— И это прославленная легкомыслием Клодия? Или я ничего не понимаю, или она готова ответить тебе взаимным чувством, счастливирик... — шепнул Аллий стоявшему в блаженной растерянности Катуллу.

Они гуляли до десяти часов по римскому времени^[133], и весь Рим наблюдал, как Катулл и Клодия смотрят в глаза друг другу, как шевелятся их губы, произнося обычные слова с тайным, многообещающим смыслом, как поощрительно ухмыляется круглолицый Аллий, вздыхает красивый раб, несущий за ними зонт, напряженно тянет шею низкорослый уродец-лекарь, и с женской завистью переглядываются смазливые рабыни.

Через день Катулл принес Клодии обещанную элегию. В конклаве красавицы собралось целое общество: несколько матрон со своими поклонниками, молодой литератор Асиний Поллион и два разбогатевших вольноотпущенника семьи Клавдиев. Тут же находился врач Петеминис.

Гости передавали табличку из рук в руки и с интересом разглядывали Катулла. После чего важный сенатор Курион сказал, что эту приятную вещицу о бедном воробышке следовало бы, конечно, издать, если б не настораживала некоторая опрометчивость в отдельных строчках. Не рассердится ли Целер, увидев в стихах, посвященных его жене, слова «славный птенчик, услада моей милой» и «покраснели глаза моей подружки»? Сочувствие поэта прекрасной Клодии и восхищение ею понятны, но ведь толпа не оценит поэтического иносказания и воспримет его как непристойную откровенность...

Матроны согласились с Курионом, считая эту элегию неприличной по отношению к замужней женщине. Им хотелось показать сочинителю из Вероны и оказавшимся в их благородном обществе толстосумам-отпущенникам, что им претят подобные вольности.

Катулл слушал лицемерные рассуждения, надув губы с досады. «Надо было подождать, пока эти высокомерные дуры уберутся, и я останусь наедине с Клодией», — проклиная свое тщеславие, думал Катулл.

— Все ваши пересуды — глупость, — заявила Клодия, убирая табличку в ларец, — Стихи прелестны, я рада стать виновницей вдохновения поэта. Что касается приличий, то мне плевать, каково будет мнение невежд о моей нравственности! Ну а мой муж, я надеюсь, найдет в себе достаточно благоразумия, чтобы не оскорбляться. В конце концов, в стихах не указано моего настоящего имени.

Когда Клодия закончила свою краткую речь, гости со значением переглянулись, но языки прикусили. Лучше не спорить с этой сумасбродкой, тем более у нее в доме...

Поллион кивал Катуллу сочувственно. Что поделаешь с упрямыми моралистками! Они, верно, вдосталь навалялись в чужих постелях, но малейшая откровенность оскорбляет их, как невинных весталок (которые, кстати, давно уже не так целомудренны, как им назначено по закону

предков). Еще нет у римлян навыка в понимании живых человеческих чувств. Многие по старинке считают: стихи о любви должны быть скромны настолько, чтобы автор без стеснения мог прочитать их своей почтенной матери.

Гости решили ехать за Тибр, погулять в роще, на склоне Яникульского холма.

Опершись на руку Катулла, Клодия, прежде чем сесть в лектику, сказала вполголоса:

— Скоро Целер уезжает в свое кампанское имение. Я буду ждать тебя, Гай.

— Катулл, я не могу забыть твои чудесные стихи, — говорил подошедший Асиний Поллион. — Неужели эти гусыни заметили только «неприличное»?

Катулл благодарил, почти не слушая Поллиона. Слова Клодии привели его в состояние смятения и восторга. Вместе с безостановочным бегом времени близится долгожданное счастье!

Вежливо пропустив Поллиона впереди себя, Катулл случайно повернул голову и заметил быстрый, ненавидящий взгляд, брошенный на него темнолицым карликом Петеминисом.

IX

С тех пор как Цезарь отказался от триумфа, прошел год. Консульское кресло стоило шествия к Капитолию^[134]. Цезарь торжествовал. Он добился своего и утер носы оптиматам — *quod erat demonstrandum*, что и требовалось доказать. Но если вначале триумвират напугал сенаторов до беспамятства, то теперь у них появилась надежда на его ослабление и распад. Склонность Помпея ежедневно слышать хвалы своим заслугам вызвала недовольство Красса. А Цезарь, словно нарочно, объявил Помпея принципсом сената до конца своего консульского правления. Обиженный Красс перестал предоставлять Цезарю средства. Богатства, привезенные Цезарем из Испании, значительно подтаяли, и он уже неохотно тратился для привлечения плебейских симпатий.

Капризная римская толпа начала проявлять первые признаки неприязни. Консул Бибул, сидя дома, писал бичующие Цезаря эдикты^[135]. Римляне с довольным смехом читали эти эдикты, присовокупляя к ним язвительные анекдоты. Так по всей Италии пошел гулять фантастический рассказ о том, что Цезарь будто бы тайно похитил из храма Юпитера Капитолийского три тысячи фунтов золота и заменил их таким же количеством позолоченной меди.

Но Цезарь не обращал внимания на сплетни. Он втихомолку посмеивался над важным Помпеем, регулярно открывавшим заседания сената, и ласково увещевал хмурого, раздраженного Красса. Цезарь продолжал покупать драгоценности, произведения искусства, особенно охотно — красивых рабов и рабынь и при этом просил своего казначея не заносить в счетные книги неслыханные суммы, которые он тратил на развлечения.

Поэты Фурий Бибакул и Марк Отацилий писали на Цезаря злые эпиграммы. Всадник Лаберий сочинил сатирический мим о его жадности и распутстве. Мим был сыгран и имел большой успех.

Публий Клодий Пульхр, переведенный при поддержке Цезаря из патрициев в плебеи, подал заявление об избрании его народным трибуном. Он выдвинул программу законодательства, восторженно встреченную плебеями. Клодий требовал отменить всякую плату за ежемесячно раздаваемый беднякам хлеб, восстановить отмененные сенатом плебейские коллегии^[136] и запретить наблюдение небесных знамений в дни комиций — чтобы не иметь повода для их отмены.

Цезарь с интересом следил за деятельностью этого бешено-энергичного римлянина из патрицианской семьи, с недавнего времени формально усыновленного неотесанным простолюдином Фонтеем. Клодий был смертельным врагом оптиматов и прежде всего добропорядочного и лицемерного Цицерона. Он прославился демагогией и скандалами. Наиболее известный из них касался самого Цезаря, когда, два года назад, Клодий проник к нему в дом якобы на свидание с его женой, а попал на священнодействие в честь Доброй Богини, при котором мужчинам присутствовать запрещалось. Небывалое святотатство возмутило Рим, но Цезарь не настаивал на наказании Клодия ни как оскорбленный муж, ни как великий понтифик^[137]. Клодия оправдали по требованию разъяренной толпы, а Цезарь использовал громкий скандал для развода с надоевшей женой.

В противоположность красавице сестре Клодий не столько увлекался любовными похождениями, сколько опасными политическими авантюрами. Ненависть потомственного аристократа, правнука знаменитого консула Аппия Клавдия Пульхра, к сенату была удивительна. Цезарь объяснял себе этот странный феномен стремлением прийти к власти на плечах взбунтовавшейся толпы или же явной психической деградацией.

Ожидая своего избрания в народные трибуны, Клодий преподнес сенату еще одну издевательскую шутку.

На Капитолийском холме, под неусыпной охраной, жил молодой армянский царь Тигран, привезенный Помпеем в качестве заложника. Таким образом Армения отпадала от союза с Парфией, ослабляя позиции единственного серьезного противника Рима на Востоке.

Разленившиеся, сонные стражи растерялись, когда темной ночью на них напали сообщники Клодия. Легионеров обезоружили и связали. Не зажигая факелов, Клодий и Тигран направились к Пренестенским воротам и вышли из города. За воротами ждали рабы с оседланными иберийскими скакунами.

— Ты свободен, Тигран, — сказал по-гречески Клодий. — Через тридцать миль приготовлены свежие лошади, а в Гистонии^[138] ждет корабль, который довезет тебя до Антиохии или Тарса^[139]. Я постараюсь содействовать твоему укреплению на престоле и объявлю «другом римского народа».

— Благодарю тебя, о доблестный Клодий, — ответил царь, — я буду тебе верным союзником, когда ты станешь главой государства.

— Увидим, увидим... Скажи, положась на милость богов.

— Моя благодарность тебе окажется вполне материальной, как только я достигну родины. — Армянский царь говорил на греческом как афинянин, и он знал, конечно, что римские политики возвышенным заверениям в дружбе предпочитают золото. — Передай от меня привет почтенным отцам-сенаторам.

Царь сел на коня и в сопровождении приближенных помчался к берегу Адриатики, а Клодий вернулся в Рим.

Утром поднялась суматоха; дело расследовали, и Помпей с сенаторами чуть не задохнулись от ярости. Они обвиняли Клодия в предательстве, продажности и преступном сумасбродстве. Они произносили обличительные речи, потрясали кулаками, бранились, как солдаты, но так и не решились предпринять что-нибудь против любимца плебеев. Клодия постоянно оберегали верные рабы, клиенты и десятки добровольных телохранителей.

Хохоча в душе, Цезарь передал Помпею свое соболезнование по поводу столь досадного происшествия. А Красс сделал то же, не скрывая злорадства.

Продолжая борьбу, популяры отказались постепенно от поддержки триумvirата. С Клодием они выходили на собственную дорогу, и побег Тиграна был предлогом для проявления их разгоравшейся вражды к оптиматам.

Катулл не сочинял эпиграмм ни на Клодия, ни на Цезаря.

Фурий, Кальв, Катон требовали у Катулла объяснений, но он только пожимал плечами и рассеянно улыбался. Пожалуй, ему было не до политических споров. Клодия оказалась «божественной» любовницей и умной подругой; Катулл жил, озаренный счастьем. Друзья, не ожидавшие от Клодии столь долгой привязанности, начинали ему завидовать.

Катулл очень изменился, в его поведении исчезла дерзкая бравада. Он сопровождал Клодию в театр и цирк, в прогулках по городу и окрестностям. Они оставались наедине лишь изредка, когда удавалось спровадить постоянно вьющихся вокруг красавицы льстивых поклонников. Кроме того, Катулл почти не мог находиться у нее в доме. Его угнетала мрачная злоба Метелла Целера.

Надменный сенатор багровел и шептал проклятья, встречая жену в обществе молодого веронца. Условности светских отношений и дух времени пока что заставляли его сдерживаться. Но если раньше он закрывал глаза на похождения Клодии (среди знатных матрон она была не единственной в своем возмутительном поведении), то теперь ее странное постоянство в любви к Катуллу растревляло его ревность и, как он считал, наносило урон его сенаторскому достоинству.

Клодия жаловалась друзьям, что Целер осыпает ее оскорблениями и грозит покарать, руководствуясь законом двенадцати таблиц^[140]. Однако его угрозы вызывали лишь обидный смех дерзкой жены. По сути дела, она была безнаказанна. Кто в Риме будет оглядываться на законодательство пятисотлетней давности?

В списках передавались стихи Катулла, в которых он издевательски смеялся над почтенным сенатором:

Лесбия вечно при муже поносит меня и ругает.
 Это его, дурака, радуется чуть не до слез.
 Ах ты, безмозглый осел! Да ведь если б меня позабыла,
 Знаю: молчала б она. Если ж бранится весь день —
 Значит, не может забыть. Не под силу ей стать равнодушной:
 Лесбия гнева полна — Лесбия любит меня.

Впрочем, ветреная красавица уже не раз заставляла поэта страдать. Она многообещающе кокетничала с щеголеватым юношей Квинтием, шутила на прогулке с Луцием Кальконом или обольстительно улыбалась самому Помпею Великому.

От ревности у Катулла мутился разум, он приходил в бешенство и, как мальчишка, ссорился с Клодией, осыпая ее упреками.

Метелл Целер, избранный наместником Цизальпинской Галлии и Иллирии, давно должен был отправиться к месту своего назначения. Строптивая жена ехать с ним наотрез отказалась. Целер проклинал все на свете и, лишь проездом посетив свои провинции, торопливо возвратился в Рим. Это навлекло на него осуждение сената.

Как раз в то же время отец Катулла прислал письмо, в котором с тревогой сообщал, что, не имея над собой высшей власти, по всей Цизальпинской Галлии безудержно разбойничают откупщики. Плохо, когда наместник вымогатель и взяточник, но еще хуже, когда его нет совсем. Кто-то из друзей также получил письма от родственников с просьбой предпринять что-нибудь и повлиять на Целера. Катулл чувствовал свою косвенную вину в этих беспорядках.

Однажды земляки собрались у Катона. Они смотрели на Катулла как на человека, обязанного пожертвовать своим личным счастьем ради устранения общего бедствия. Катулл молчал, а они смотрели на него выжидающе: Катон, Цинна, Фурий, Непот, Корнифиций и еще четверо финансистов из Мантуи и Вероны.

— Но если Клодия откажется ехать с мужем и после моей просьбы? — Катулл и в мыслях не допускал обратного.

— Ты должен уговорить ее, — твердо сказал Валерий Катон. — Ты знаешь, откупщики не только разоряют крестьян и ремесленников, грабят и возмущают не столь давно успокоившиеся галльские племена. Они начали трясти наши усадьбы. При таком вопиющем произволе не спасет и римское гражданство. Конечно, мы будем через Гортензия, Меммия и других влиятельных друзей просить сенат об установлении справедливого взимания откупов по всем цизальпинским землям. Но в основном это обязанность Целера. Пожалуй, я сам поговорю в твоём присутствии с Клодией, если ты не возражаешь.

— Да, конечно... — неуверенно ответил Катулл.

На другой день они сидели в конклаве Клодии. Катон объяснил матроне все обстоятельства дела, просил ее повлиять на мужа и, если не окажется иного выхода, пойти на временную разлуку с Катуллом.

— Нет, нет, только не разлучайте нас с Гаем! — воскликнула Клодия,

краснея и беря Катулла за руку. — Подождите немного, я попробую что-нибудь придумать, чтобы сломить упрямство моего злонравного мужа...

Когда Катон ушел, Клодия сказала нахмуренному Катуллу:

— Я возненавидела Целера с нашей первой ночи. Возненавидела его грубые руки и волосатую шею, его чмокание, чавканье и сопение, его кислую отрыжку... И, хотя я родила от него ребенка, он по-прежнему внушает мне непреодолимое отвращение. Он не дает мне развода, предпочитая ежедневно оскорблять меня и устраивать за мной слезку. Теперь этот негодяй окончательно отравил мне жизнь.

— Ни за что не соглашусь расстаться с тобой, мое счастье, божественная моя Клаудилла... — Катулл целовал ее маленькие влажные ладони, раскрытые на коленях. Клодия сделала над собой усилие и, мягко оттолкнув настойчивого Катулла, встала.

— Гай, мой милый, дело требует немедленного решения. Я должна подумать, как изменить намерения Целера. К тому же он вот-вот застанет нас вдвоем. Оставь меня, завтра я пришлю за тобой рабыню.

Катулл посмотрел на Клодию, сосредоточенную и холодную, наверное, похожую сейчас на своего брата — политика, и со вздохом отправился домой.

Как и предвидела Клодия, через несколько минут занавес у двери распахнулся, и в конклав грузно ввалился Целер. Не приветствуя супругу и не глядя на нее, он в раздражении ходил от одной стены к другой, сжимая и разжимая мясистые кулаки. Клодия молча провожала его презрительным взглядом.

Наконец Целер остановился и хрипло произнес:

— Сколько раз я тебя предупреждал, чтобы этот стихоплет не смел приходить в мой дом. И вот, несмотря на запрет, я опять чуть не столкнулся с ним на пороге. Долго будет продолжаться такое разбойничье отношение к хозяину дома? Или я здесь уже не хозяин?

— Ко мне приходят мои друзья и подруги, именно те, которых я желаю видеть, — ответила Клодия, не меняя позы и глядя все так же презрительно.

— Клянусь Юпитером, ты могла бы встречаться со своим отребьем в другом месте. Мало ли в городе лупанаров, притонов и всяких заведений подобного рода!

— Замолчи, несносный грубиян! — крикнула Клодия, бледнея от гнева. — Как ты разговариваешь с женщиной знатного рода и своей женой!

Целер грубо захохотал, выкатывая маленькие, покрасневшие от злобы глазки.

— Да я предпочел бы родиться среди самого низкого простонародья, среди симнитских пастухов, среди диких варваров, чем иметь такую жену! — завопил он, и на его багровом лице вздулись сизые жилы. — Мне стыдно, что матрона из благородной семьи Клавдиев, называющая себя женой Метелла Целера, ведет себя, как солдатская подстилка, как бесстыдная иберийская рабыня! Имея мужем выдающегося деятеля республики, человека, украсившего тебя драгоценностями, словно египетскую царицу, ты предаешься разврату и кутежам! Ты выставяешь на посмешище черни прославленное в сражениях имя Метелла Целера! В старые времена наши достойные предки не потерпели бы такого поведения замужней женщины: тебя отправили бы в темницу и поднесли бы тебе чашу с отваром цикуты^[141]...

Клодия усмехнулась; она смотрела на этого ожиревшего некрасивого мужчину и удивлялась, что обязана терпеть его упреки. Она вдруг стала спокойной. Чего ради волноваться из-за какого-то глупца, хотя он и считается ее мужем!

— Я давно прошу тебя произнести формулу развода, но ты не желаешь сделать шаг, столь разумный и справедливый, — сказала Клодия.

— Мне не ясно, какой предлог я должен избрать, чтобы развестись с тобой, не роняя чести сенатора... — Целер несколько поостыл и отдышался.

— Разве не безразличен предлог, если супругам ненавистна совместная жизнь?

— Своего сына я не хочу лишать наследственных богатств Клавдиев. Хотя ты, наверное, успеешь промотать их до его совершеннолетия...

— Надеюсь, наш сын не останется нищим, — сказала Клодия, пожимая плечами.

Целер сел в кресло, подперев подбородок широкой ладонью, и произнес дрогнувшим голосом:

— Сколько времени я терплю и прощаю твои бесчинства, стараясь не слышать постыдных сплетен о тебе, о Клодия...

Клодия смотрела на его опущенную круглую голову, и уголки ее губ коварно приподнялись. Ты не разводишься не потому, что не желаешь этого, тупица Целер, а потому, что она, прелестная, неотразимая Клаудилла, не собирается терять твои деньги и виллы, твоих рабов и раболепствующих клиентов, а также высокое положение супруги одного из крупнейших магнатов Рима.

Серебристый голосок Клодии прозвучал нежно и трогательно:

— Нет, ты не любишь меня, о жестокий... Иначе мне не пришлось бы

каждый день проливать слезы...

— Что же мне сделать, Клодия?

— Мы несколько испортили наши отношения, Квинт. Самое лучшее решение заключается в том, чтобы побыть в отдалении друг от друга и очиститься от грязи и вражды прошлых лет. Клянусь Венерой Мурсийской... Клянусь Кибелой, матерью богов... Почему бы тебе не покинуть Рим и со всей твоей твердостью и неподкупностью не приступить к управлению Галлией и Иллирией? Почему бы тебе сейчас не уехать?

— Мне уехать? — переспросил Целер, снова багровея. Он встал и подошел вплотную к жене. Она не двинулась с места и даже не поморщилась, ощутив на лице его зловонное дыхание.

— Ты, может быть, считаешь меня непроходимым дураком, — начал он шепотом, — но ты ошибаешься. Я никогда не доставлю тебе такого удовольствия, хоть и подвергнусь справедливому осуждению римлян. Я знаю, ты хочешь на этом самом ложе беспрепятственно обниматься с веронским стихоплетом и с другими твоими любовниками. И, пока я буду отстаивать интересы государства, ты займешься проматыванием моих денег!

Целер уже вопил, перекосив обрюзгшее лицо и брызгая слюной:

— Дрянь, потаскуха и безбожница! Такая же, как твой преступный брат Публий — враг правительственного сената! Одна распутная и наглая порода! Недаром говорят, что ты и с ним возилась по ночам в детстве, с родным-то братом! — ревел Целер, протягивая к жене руки с кровожадно скрюченными пальцами.

Клодия вдруг отпрянула, бросилась в сторону и сорвала со стены тяжелый меч. Она была достаточно сильна, чтобы держать меч в руке.

— Посмей только приблизиться ко мне, убийца, я встречу тебя как подобает римлянке! — пронзительно закричала Клодия, ее прекрасное лицо исказилось от ненависти, на губах выступила пена. Она кружила вокруг Целера, словно пантера, выбирающая момент для нападения. Целер стоял, схватившись за голову, одержимый черными духами отчаянья.

Из-за двери донеслись торопливые шаги и взволнованный голос. Рабы и рабыни прибежали на крик, но войти не решались, боясь еще больше рассердить господина.

Целер овладел собой и перевел дыхание. Ему послышался приглушенный смех. Нет, в его положении нельзя забываться из-за ревности к жене. Если сегодня над его горем посмел засмеяться раб, то завтра разнуздавшиеся плебеи не дадут ему прохода своими наглыми издевательствами. Он узнает, конечно, кого из рабов обрадовала ссора

господ, и прикажет содрать с негодея шкуру.

Взглянув на жену, Целер вздрогнул и попятился. Перед ним шептала побледневшими губами ругательства и сверлила его остекленевшими глазами взлохмаченная колдунья. Она подкрадывалась, примериваясь отточенным лезвием. Не прелестная Клодия, а страшная Медуза^[142], богиня ночного убийства, гневная Бримо^[143]...

Целеру стало стыдно. Он римлянин и сенатор. До какого отвратительного состояния довел он жену! Недостойно, глупо и опасно. Следует сейчас же прекратить скандал.

Неожиданно ловко Целер схватил Клодию за руку, отнял у нее меч и отшвырнул прочь. Потом усадил ее в кресло и сказал:

— Уезжать я не собираюсь, не жди. Скоро мои доверенные составят точный перечень имущества и наличных денег, а юристы оформят документы, в которых я лишаю тебя права пользоваться моим состоянием. Учтут все до последнего асса. Теперь я поговорю с тобой по-другому, милая женушка Клаудилла...

Скрипнув зубами, сенатор вышел из конклава. Раздались хлесткие удары, стоны и всхлипыванья. Целер вымещал ярость на подвернувшихся под руку рабах. Разбив несколькими парням лица, он удалился в свои покои.

Клодия осталась сидеть в кресле. Она не зарыдала и не упала на пол, как могла бы сделать на ее месте всякая униженная и повергнутая в смятение женщина. Она сидела неподвижно, глядя прямо перед собой.

Прошел час, не меньше. Рабы поднялись на верхний ярус в тесные каморки для сна. Целер мрачно напивался на другом конце обширного особняка. Воцарилась тишина, тягостная и тревожная. Клодия думала перед дрожащим огнем светильника.

За дверным занавесом кто-то поскребся.

— Иди сюда, Хиона, — сказала Клодия.

На цыпочках вбежала ее любимая рабыня, хорошенькая, смуглая гречанка. Она опустилась на колени и сочувственно поцеловала руку госпожи.

— Потихоньку передай Кондилу, чтобы он сходил за лекарем Петеминисом. — Клодия говорила медленно, словно все еще не осмеливаясь прийти к окончательному решению. Поколебавшись, она кивнула головой в подтверждение своих слов: — Да, да, Петеминиса ко мне. Но сначала смешай мне киа вина, мне нужно подкрепиться.

Хиона налила в хрустальный бокал темно-красного вина, разбавила холодной водой и подала Клодии. Потом выскользнула из конклава.

Клодия сидела, изредка поправляя фитиль массивного золотого светильника, и тени, зыбкие и причудливые, разбегались от ее рук по стенам и потолку. Вернулась Хиона, шепнула, что Кондил с Петеминисом пришли.

Возник из темноты лекарь, вступил в круг света и поклонился, сложив руки на животе.

— Я вызвала тебя в ночную пору, потому что мне срочно нужен твой совет, — сказала Клодия.

— Госпожа дурно себя почувствовала?

— Нет, я здорова, но страдаю душой и беспокоюсь за свое будущее. Садись в это кресло напротив. Отбрось все церемонии. Говори по-гречески. Хиона далеко отсюда, она не услышит, а Кондил не поймет.

— Я слушаю внимательнейшим образом, и я весь к услугам госпожи, — произнес Петеминис скрипучим голосом, заранее зная, о чем пойдет речь.

Пятнадцать лет назад низенький, уродливый греко-египтянин был куплен отцом Клодии за весьма крупную сумму, так как имел письменную аттестацию знаменитых александрийских врачей. Не обращая внимания на насмешки избалованных рабынь, он сумел понравиться Клодии и с тех пор находился в числе ее любимцев.

Может быть, вначале юная красавица просто хотела оттенить свою прелесть безобразием образованного слуги. Он мог заинтересовать пытливый ум: цветом кожи Петеминис походил на египтянина, совершенным греческим произношением — на просвещенного элина. Уже пять лет как он стал либертином, свободным жителем Рима, но по-прежнему был скрытен и молчалив. Окружающим он казался человеком странным, многие его побаивались. Сам лекарь подчеркивал своим поведением, что в доме Целера он имеет отношение только к Клодии, и продолжал служить ей с усердием преданного раба.

Он знал все ее тайны, и Клодия с полным доверием отдавала свое тело его искусным рукам. Она от природы обладала великолепным здоровьем, но с помощью Петеминиса это здоровье вовремя подкреплялось и казалось неиссякаемым.

Иногда, склоняясь над ней, массируя, смазывая и натирая, лекарь замечал ее затуманенный, косой взгляд. В такие мгновения Петеминис чувствовал: Клодия уступила бы мольбам безобразного карлика из любопытства, из снисходительного каприза.

Но Петеминис был слишком умен, чтобы совершить столь опрометчивый и дерзкий поступок. С течением времени Клодия может

испытать отвращение при воспоминании о близости с ним. И тогда он потеряет ее доверие и дружбу. Нет, Петеминис никогда не совершит святотатства, не посягнет на богиню именно потому, что страстно ее любит. Ему достаточно прикоснуться к ее телу, обонять ее запах и ощущать свою власть — власть врача — над редчайшей красотой этой женщины.

Встречи Клодии с Катуллом поначалу не вызвали у Петеминиса тревоги. Обычное дело: новое увлечение госпожи и новый приступ ревности у ее грубого супруга. Но скоро карлик почувствовал неладное. Клодия в чем-то изменилась, затеяв любовную игру с этим вылощенным стихоплетом. Волнение неопытной юности охватывало красавицу перед свиданием вместо знакомого Петеминису, жадного нетерпения. И впервые, когда он тонко и вкрадчиво попытался выяснить некоторые подробности, Клодия промолчала. Для Петеминиса это было ударом. И он присоединил свою расчетливую злобу к бычьей ярости Метелла Целера.

Маленький, уродливый, уязвленный в своей извращенной страсти человек сидел теперь перед Клодией и, щурясь на огонь светильника, внимательно ее слушал.

Петеминис знал, что рано или поздно это от него потребуется. Но... проклятый Катулл! С каким удовольствием Петеминис прежде всего занялся бы им. Карлик ненавидел Катулла не только из-за Клодии. Он ненавидел его за смелость ума, за пренебрежение к условностям, за внимание женщин и поэтическую славу, за все то, что было недоступно его, зажатой в тиски ущербности, мстительной и тщеславной натуре.

— Ты сам уверял, что Целер болен, и довольно опасно... — говорила Клодия, приглушая голос.

— По моим наблюдениям, у него воспаление печени и, кроме того... сердце гонит кровь с излишним напором, — подтвердил лекарь.

— Вот видишь, есть все основания для внезапной смерти.

Петеминис достал маленькую склянку с прозрачной жидкостью.

— Снадобье не имеет ни цвета ни запаха, ни вкуса, — сказал он. — По несколько капель трижды добавлять в пищу или вино — и достаточно.

Подходила к концу зима в год консульского правления Кальпурния Пизона и Авла Габиния.

Новые претенденты на магистратские должности наперебой ублажали избирателей. Обжорство и пьянство тысяч людей завершались страшными драками со множеством изувеченных и убитых.

Переполненные цирки дрожали от воплей, рукоплесканий, грохота колесниц. Казалось, еще немного — Рим задохнется, погибнет от собственного буйства и расточительства. Но обозы с продовольствием и товарами вновь и вновь стекались к Вечному городу. Отвернувшись от толпы праздных гуляк, расходились по мастерским хмурые ремесленники, и под бдительной плетью надсмотрщика принимались за тяжкий и безрадостный труд рабы.

Клодий собрал римский плебс в цирке Фламиния, чтобы утвердить закон об изгнании Цицерона как виновника казни катилинарцев. Возбужденная толпа бросилась к дому бывшего «отца отечества», смела стражников и подожгла особняк.

Цицерон успел заранее покинуть город и увезти наиболее ценное имущество.

— Ваш враг с позором бежал! Свершилась справедливая месть, о римляне, — торжественно произнес Клодий, глядя, как рушатся подрубленные мраморные колонны и пылают стропила. — Сейчас мы пойдем на Капитолий и установим доски с записью закона, принятого вами. А здесь, вместо логова предателя и убийцы, будет выстроен храм Свободы!

Добившись изгнания Цицерона, Клодий поставил па голосование комиций новое предложение: о назначении сенатора Марка Порция Катона полномочным послом на Кипре. Комиции проголосовали положительно, и сенатор с мрачной покорностью отправился пререкаться с изворотливыми кипрскими династами. Только теперь столицу оставил Цезарь. Во главе четырех отборных легионов он двинулся к границам «косматой Галлии», сопровождаемый бодрыми напутствиями друзей и проклятиями оптиматов.

Рим продолжал волноваться; в таблице поэта Валерия Катона тоже бушевали политические страсти. Хозяин старался успокоить своих пылких друзей. Правда, они ограничивались возмущенными пересудами, опасных и опрометчивых поступков в отношении правительства никто из них не совершал. Только Гай Меммий пытался начать судебное дело против

Цезаря, но не нашел поддержки в сенате.

Меммий находился в состоянии бессильного бешенства. Он приходил с остановившимся, как у маньяка, взглядом и, никого не слушая, начинал сквозь зубы пространно объяснять ясную для всех сущность противозаконности и беспримерной наглости триумвиров. Он поносил нерешительность и слабость сената, сопровождая свои доводы такими изощренными ругательствами, что Валерий Катон пожимал плечами и сокрушенно качал бритой головой.

В виртуозности ругательного лексикона от Меммия не отставал Фурий Бибакул. Альфен Вар и Тицид тоже много говорили, осуждая Цезаря, но в их словах чудилась странная уклончивость, будто они боялись откровенно высказаться до конца. Как всегда стройно, обоснованно и решительно выступал Кальв. Он расхаживал с воинственным видом, бросая короткие, язвительные фразы и подчеркивая их резким движением маленькой руки. Черные глаза Кальва светлели от злобного вдохновения. Восхищенный Фурий старался записать хотя бы часть его обличительных, по, увы, не обнародованных речей.

В исступлении впадал обычно сдержанный Корнифиций. Небрить, взлохмаченный, с воспаленными веками, он потрясал кулаками, и кричал как одержимый:

— Труссы! Все труссы! Сенаторы, всадники... и вы тоже! В Риме больше нет мужчин! В этом городе живут одни дряхлые старухи! Вы забыли о нашей клятве? Чего вы ждете? — Корнифиций разрывал на груди тунуку и, взвизгивая, рыдал.

— Квинт, милый, ради всех богов, успокойся... — просил его растерянный и огорченный Катон.

Стуча зубами по краю чаши, торопливо поднесенной ему Геллаником, Корнифиций затихал на несколько мгновений, потом отталкивал чашу и опять хрипло выкрикивал:

— Убить! Сегодня же убить Помпея! Схватить и распять, как подлого раба, Клодия! Догнать Цезаря, проползти, зарезать ночью в палатке...

Его красивое лицо искажала судорога; он тяжело дышал, пожелтевший, потный, истомленный ненавистью, потерявший былую элегантность. Цинна заботливо обнимал его и успокаивал настойчивым шепотом.

Молчал один Аллий, хотя и полностью разделял возмущение друзей. Последнее время он дурно себя чувствовал из-за беспробудного многодневного пьянства; его румяные щеки приобрели сизый оттенок, глаза опухли и потускнели, круглый живот нелепо обвис.

Ненадолго заходил Корнелий Непот. Он слушал смелые речи, сочувственно кивал головой, спрашивал: «Катулл не появлялся?» — и, пожав всем руки, спешил к своим папирусам и табличкам. Катон втайне ему завидовал: несмотря на хаос и волнения в городе, историк осуществлял свои замыслы, работая над объемистой «Хроникой» (всемирной историей в трех томах). Однажды Непот рискнул втиснуться между запальчивыми диспутами и прочитал отрывок из описания греко-персидских войн. Нашествие Ксеркса и подвиг трехсот спартанцев, рассказанные впервые на языке римлян, произвели впечатление. Поэты почтительно смотрели на худощавого, голубоглазого Непота и невольно думали о том, что его знаний и усердия хватило бы, пожалуй, на все их легкомысленное и шумное сборище. Знаменитый оратор Гортензий, часто теперь бывавший у них в гостях, подошел к историку и поцеловал его с признательной улыбкой. Он сделал это изящно и величественно, внушая окружающим чувство неоспоримой правильности всего того, что он делал или произносил.

Поэты недосчитывали в своих рядах только двоих: Катулла и Целия Руфа.

Красавец Руф исчез больше месяца назад. Сначала предполагали, что он потрясен изгнанием любимого наставника. Но вот клиенты Валерия Катона принесли невероятную новость: Марк Целий Руф, честный и смелый Руф, ученик великого Цицерона, живет теперь в доме его злейшего врага Клодия! Друзья не знали, как в это поверить. Одни проклинали Руфа, другие их увещевали, сомневаясь в его измене.

Наконец пришел Катулл, усталый, грустный, но тщательно одетый, надушенный и причесанный. Он получил интересное письмо от отца и хотел обсудить его с Валерием Катоном. Старик писал с наивным или, может быть, преднамеренным восторгом о пребывании Цезаря в Вероне. По его словам, Цезарь оказался любезнейшим человеком, который сумел привлечь к себе все образованное общество. Цезарь обещал новые льготы муниципалам. Он дарил польщенным матронам (изысканные подарки и под огромные проценты занимал деньги у веронских ростовщиков, состязался в остроумии с молодежью и так весело приглашал юношей принять участие в походе, будто речь шла об увлекательной травле лис. Его солдаты не пьянствуют, не скандалят и не грабят. За три недели Цезарь не только успел завести несколько любовных интриг, но подготовил запас продовольствия, теплую одежду и зимние квартиры для армии. Отец Катулла был счастлив, что Цезарь побывал у него в доме. «Трудно себе представить более скромного и благожелательного гостя», — уверял сына старый муниципал.

В конце письма Катулл с двойственным ощущением удовольствия и досады прочел: Цезарь расхваливает его стихи, Цезарь предрекает ему еще больший успех, Цезарь хотел бы стать его покровителем.

— Как же ты собираешься поступить? — спросил Валерий Катон дрогнувшим голосом.

Катулл искреннее удивился. Неужели даже Катон не в силах преодолеть низкого, оскорбительного подозрения? Впрочем, настало время, когда честность и чистота души считаются свойствами слюнтяев и дураков. Всякий стремится извлечь хотя бы минимальную пользу из случайной снисходительности власть имущих. Что ж, разве Катулл теперь не римлянин, и практичность не должна стать его главным достоинством? Ведь, по мнению благородного Катона, ему следует срочно подольститься к Цезарю, сумеет наконец нажиться под его покровительством и сделать головокружительную политическую карьеру.

Катулл усмехнулся и спрятал письмо в сумку.

— На тебя очень сильно действуют провинциальные новости, — сказал он без тени упрёка. — Но дело в том, что меня с детства, и совершенно справедливо, считали недотепой.

Катон ощутил угрызения совести и братскую нежность к взбалмошному веронцу, вечно обеспокоенному любовными неурядицами и до нелепости бескорыстному.

— Прости мою забывчивость, Гай, — сказал он, — я забыл о том, что ты всего лишь поэт. Просто — поэт, а не политик и не торгаш, сочиняющий стихи...

Катулл пожал плечами:

— Во-первых, я действительно слишком ленив и неловок. Во-вторых, сластолюбивый Цезарь и его наглые прихвостни мне отвратительны. Но главное — я сейчас вообще не думаю ни о Цезаре, ни о Помпее или о Цицероне... Словом, я равнодушен ко всей этой традиционной и грязной возне нобилей.

— Не сочту равнодушие в такие дни похвальным для гражданина, — заметил Катон сухо и еще долго шелестел тонкими губами что-то укоризненное. Катулл его не слушал.

— Я много дней не виделся с Клодией, — прошептал он. Его глаза наполнились обильными слезами. Он превратился в обиженного мальчика, грубо отвергнутого с его безумной любовью.

Катон догадывался, как он незащищен перед обольстительной игрой и расчетливой жестокостью аристократки. Друзья больше не завидовали его связи с Клодией. До них доходили слухи о частых ссорах любовников, о

возвратившемся легкомыслии красавицы и о смешной ревности Катулла.

Любовь его все разгоралась, перерастая в отчаянное, страстное обожание и изливаясь во взволнованных и совершенных стихах, подобных которым еще не знала римская поэзия. Катулл смотрел на свою возлюбленную потрясенными глазами фанатика, ему представлялось кощунственным вспомнить о том, как эта богиня стонала в его объятиях.

Клодия была волшебницей, исполненной сознания своей покоряющей женственной силы. Оттенки ее страсти менялись многократно, неожиданно и необъяснимо. Любовные метаморфозы Клодии околдовали Катулла. Он не мог привыкнуть к божественной гармонии ее нежного голоса и благородного облика, когда в обществе самых придирчивых ценителей она безошибочно, с лукавой, чуть двусмысленной усмешкой, читала его элегии. Он не мог примириться с тем, что вчерашняя разнузданная гетера и сегодняшняя высоконравственная матрона, беседующая с Варроном о поэтике Каллимаха, одна и та же непостижимая Клаудилла.

XII

Скоро Катулл получил еще одно письмо из Вероны. Отец сообщал ему о смерти младшего сына Спурия, подкошенного гнилой лихорадкой в далекой Троаде^[144]. Это случилось месяц назад, но известие пришло только теперь.

Катулл плакал безутешно, кусая руки и царапая ногтями лицо. Он вспоминал улыбку и ласковые глаза брата, его мягкую рассудительность и постоянную готовность прийти на помощь. Их характеры были во многом различны, но, может быть, именно поэтому они так любили друг друга. Катулл вспоминал проводы Спурия, последние поцелуи и запах грубого шерстяного плаща, в который он уткнулся, чтобы скрыть невольные слезы. Думал ли он тогда, что видит Спурия в последний раз? Брат был с детских лет единственным, незаменимым поверенным всех его замыслов. К нему Катулл относился с безоглядной искренностью, ему первому приносил свои стихи на дружеский и взыскательный суд. И вот — все кончено: никогда больше он не увидит ясной улыбки Спурия, не услышит его голоса.

Воспоминания усиливали тоску Катулла, соединяясь с ревнивыми мыслями о Клодии. Днем и ночью он лежал, обливаясь слезами, голова его бессильно и маятно моталась на скомканном валике подушки.

— Гай Валерий, да нельзя же так убиваться, — говорил укоризненно старик Тит. — Горе большое, что и толковать, но ведь и себя пожалеть надо. Гляди-ка, от плача глаза ослепнут или сердце заболит... Клянусь богами, всем придется переплыть Ахеронт — кому раньше, кому позже... Не лучше ли тебе навестить да утешить отца и матушку?

Старик хитрил: ему хотелось домой, в деревню. Катулл послушался его, затих и оцепенел. Ночь он не спал, утром решил написать Клодии, Катону и Кальву. Потом передумал и послал записку о своем отъезде только земляку Корнифицию.

Через два дня Катулл с небритой бородой, в темной тунике, пенуле с капюшоном и войлочной шляпе сел вместе с Титом в крытую повозку, запряженную понурыми мулами. Захлопали бичи, пронзительно заскрипели колеса, и большой купеческий обоз двинулся по скользкой от разжиженной грязи Фламиниевой дороге. Обоз направлялся в Верону через Аримин, Равенну и Мантую. Перекликались хмурые возчики: злым, пропойным голосом ругался начальник охраны, проезжая верхом вдоль

длинного ряда неуклюжих возов; мулы встряхивали мокрыми ушами, отфыркивались и жалобно икали. Черными клочьями металась над дорогой охрипшие галки. Зимний рассвет брезжил сквозь рваные, бешено мчавшиеся тучи; свистел ветер в голых ветвях, и прерывистый дождь косо хлестал по кожаному верху повозки. Бурная ночь сменилась таким же ненастным днем.

Уложив в ноги дорожные сумки, Тит накрылся овчиной и задремал. Катулл угрюмо и неподвижно уставился через плечо возчика в сизую, промозглую даль. В отчаянии он стискивал окоченевшие пальцы. Мысль о смерти брата терзала его постоянно, и в душе мрачно теснились предчувствия новых бед.

Альпийские ветры занесли Верону глубоким снегом. Переполненная интендантами, фуражирами, маркитантами, солдатскими шлюхами и костоправами, она напоминала неопрятный и шумный походный лагерь. Верона готовилась усладить отдых победоносных легионов Цезаря, которые могли в скором времени явиться на зимние квартиры. После разгрома Цезарем галльских племен гельветов и секванов, а также свирепых германцев, все устремились к нему в предвкушении добычи.

Катулл с досадой оглядывался по сторонам, не узнавая свой тихий городок. Он едва добрался до родительского дома: снег серыми пластами лежал на кровлях, а под ногами пешеходов и лошадей раскисал, превращаясь в чавкающую, навозную жижу.

Отец встретил Катулла с холодным спокойствием. Казалось, он был не очень опечален постигшей его утратой или скрывал скорбь под непроницаемой личиной. Мать, увидев старшего сына, разрыдалась. Она заметно постарела и похудела, ее хрупкие кости жалко просвечивали сквозь желтоватую кожу. Отец выглядел гораздо свежее, хотя и был на десять лет ее старше. Катулл бросился к матери и неистово целовал ее ранние морщины и дрожащие руки, пахнувшие терпкими мазями. Он испытывал страдальческое счастье, ощущая, как ее слезы текут по его щекам и смешиваются с его слезами. Все еще рыдая, она неожиданно отстранилась и взглянула на него удивленно, будто с сожалением убеждаясь, что перед ней именно он. Почтенную матрону не обезоружила сыновья нежность. Перестав всхлипывать, она своенравно вскинула голову с узлом седеющих кос и начала упрекать его в распутстве и расточительности, только и составлявших, по ее мнению, жизнь таких, как он, опустившихся бездельников.

Для того ли он спешил прижать ее к груди, чтобы услышать упреки, граничившие с бранью? Ее ли имя он шептал дорогой, как спасительное

заклятье от тоски и бед? Или, произнося имя матери, он представлял себе кого-то другого, больше похожего добротой и чуткостью на умершего брата? Он отступил со смущением и обидой. Отец поспешил несколько смягчить неприятный привкус их встречи. Он предложил оставить пока посторонние разговоры, а в память бедного Спурия совершить молебствие и ритуальную трапезу. В триклинии он рассматривал сына с любопытством, застольную беседу вел осторожно, рассуждая о превратностях жизни и о чести семьи.

Серьезный разговор состоялся на другой день. Отец заявил, что знает все подробности его жизни в Риме от земляков, а также из посланий неизвестных доброжелателей, соболезнующих ему по поводу недостойного поведения его старшего сына.

— Ты мог завести полезные знакомства, я дал тебе достаточно денег и рекомендательные письма. Но ты предпочел общество пьяниц и прощелыг, — говорил отец с презрительным недоумением. — Ты сочиняешь неприличные стихи, издаешь их и даришь своим беспутным приятелям. Допустим, тебе кое-что удастся в поэзии. Сам Юлий Цезарь не остался равнодушным к твоему дарованию. Но зачем эти гнусные эпиграммы и опасные замечания в адрес правителей? Или ты хочешь попасть в тюрьму, как клеветник и отщепенец? И нанести этим ущерб моему авторитету и моим родительским чувствам? Ты поехал в Рим, чтобы развить свои способности, которые ты считаешь исключительными, — не возражай, я знаю, что ты так считаешь! Почему же тебе не заняться доходным делом? Например, адвокатским или коммерческим?

Отец продолжал с наигранной бодростью:

— Почему бы тебе не проявить себя добропорядочным гражданином? Ты спрашиваешь, по отношению к кому следует соблюдать добропорядочность? Надо иметь голову чуть умнее ослиной, чтобы понять, кто железной рукой держит в республике власть. И во что выльется в ближайшем будущем сопротивление могучим обладателям империя...

Отец, по-видимому, совсем не желал прослыть принципиальным республиканцем. Более того, он явно принадлежал к противникам старых традиций. Его интересовало возрастающее влияние муниципий на политическую жизнь государства и возможность увеличения доходов муниципальной знати. Короче говоря, его интересовало то, что касалось его самого.

Он говорил безостановочно, размеренным и твердым голосом. Вместе с длинными поучающими фразами изо рта у него шел пар.

Дом веронских Катуллов, выстроенный около столетия назад,

обветшал и холодными зимами промерзал насквозь. Под узкими окнами натекали мутные лужи. Бассейн в атрии переполнялся, и служанкам приходилось отчерпывать воду, чтобы она не хлынула через край. Хозяева и домочадцы кутались в шерстяные накидки и собирались вокруг жаровен.

Зимой в доме не хватало света — сегодня с утра зажгли масляные светильники. Мать приказала подогреть вино в бронзовом кувшине. Неряшливый старик повар наполнил гретым вином две большие чаши, а белокурый мальчик, озабоченно сопя, отнес их в таблин.

Гай сидел в кресле напротив отца, слушал его настойчивые советы и смотрел в сторону грустными глазами. Он знал — отец достаточно образован и умен, чтобы не пренебрегать признанием его таланта, но, прежде всего, старику нужны ощутимые результаты, подтверждающие этот сомнительный успех. Да и что для него слава стихотворца, если она не способствует приобретению высокого общественного положения и не приносит доходов? Отец гордится своей политической осмотрительностью и уважением городской верхушки, а теперь еще и приятельством самого Цезаря. Он происходит из рассудочной и крепкой породы первых латинских переселенцев, не то что мать — мнительная и вспыльчивая, вечно встревоженная суевериями и вздорными слухами. Гражданство отец матери получил за беспорочную военную службу и верность республике. В его доме еще терпко пахло необузданным запахом варварства; дочь он воспитывал по старинке: без римских нарядов и греческой слюнявой изысканности.

В детстве и ранней юности Катулл был нежно привязан к матери. Во время его частых болезней, разогнав нянек, она самоотверженно выхаживала большеглазого заморыша, пела ему монотонные деревенские песни, поила горячим молоком с сотовым медом и, казалось, любила его сильнее здоровяка Спурия и сестер. Но к тому возрасту, когда Гай получил право надеть тогу взрослого^[145], мать к нему охладела. Его увлечение поэзией и дружба с учеными греками раздражали ее здравомыслие и заставляли брезгливо сторониться своего первенца, в чем-то необъяснимо не оправдавшего ее надежд.

Даже теперь, после двух лет разлуки, она смотрела на него с прежней неприязнью и недоверием — свойствами ограниченных и гордых людей.

Отец снисходительно относился к шалостям молодежи, он поощрял способности сыновей и не жалел денег на их образование. Ему нужно было от них только одно: преуспевание. В этом отношении его не радовал ни рассудительный, но лишенный тщеславия Спурий, ни легкомысленный и строптивый Гай.

«О злая судьба, ты оставила мне сына, похожего на яркий пустоцвет, — он привлекает внимание, но бесполезен: не зреет и не приносит плодов. Он не стремится заполучить государственную должность, а ведь участие в управлении государством — главная и священная обязанность гражданина. Он отвернулся от кипучей жизни общества и остается лишенным состояния и доброй славы. Не хочет он испытать и многотрудной, опасной, но почетной доли воина, подобно его доблестным предкам. Итак, Спурий умер. Гай сочиняет постыдные безделки и возмутительные эпиграммы... К старости я пришел без наследника и в совершенном одиночестве».

Таковы были печальные размышления умного и почтенного муниципала. А Гай Катулл думал по-своему.

Разве тщеславный старик поймет его предназначение, его муки и мечты? Разве расскажешь о поцелуях Муз, прилетевших к нему с отрочества пламенными ночами? Разве докажешь практичному дельцу, что долг патриота есть неприятие беззакония и самовластья, угрожающих республике? И разве поведаешь ему о своей безумной любви?

Гай слушал отца, вернее, делал вид, что внимательно слушает. На самом же деле до него явственнее назидательных речей доносилось потрескивание углей в жаровне, ворчание собаки, звон медной посуды, гулкий стук дождевой капли в тесном внутреннем дворике и голос молоденькой рабыни, тихо напевающей в соседней комнате. Наверное, она штопает одежду, прядет шерсть или занимается другой домашней работой; у нее блестящие черные глаза, пунцовые губки, как у ребенка, расчесанные на пробор гладкие волосы и круглая шейка, от которой невозможно оторвать взгляд.

Отец закончил свой монолог и приготовился выслушать ответ Гая без всякой надежды на что-либо ободряющее. Гай тяжело вздохнул, побарабанил пальцами по изящному буксовому столику с изогнутыми ножками и начал уныло оправдываться.

В течение всего времени, прожитого Катуллом в Вероне, отношения между ними оставались натянутыми. Чтобы развеять грусть, он бродил по городу. Его с восторгом встретили два молодых веронца, Фабулл и Вераний, вместе с ним посещавшие грамматическую школу, а позже — поэтические собрания и пирушки. Они расспрашивали и утешали Катулла, красноречиво вздыхая. Встреча с ними привела Катулла в более уравновешенное и бодрое состояние. Он постарался забыть горести, с удовольствием вспоминая веселую юность. Особенно ему был приятен Вераний — приветливым нравом, открытым лицом и голубыми глазами походивший на умершего Спурия.

Друзья уселись за стол в скромном доме Верания. Его мать, радушная и болтливая маленькая старушка, с помощью ленивой рабыни, толстухи и растрепы, поставила перед ними наскоро приготовленное угощение. Вераний отбил горлышко у замшелой бутылки, и они, не забыв плеснуть на пол во славу богов, помянули бедного Спурия, чей пепел лежал так далеко.

После полудня к ним присоединился пылкий почитатель Катулла, двадцатилетний Цецилий.

— Гай, дорогой мой, видел бы ты, сколько прекрасных книг я собрал за эти два года! — воскликнул Цецилий, сияя золотисто-коричневыми глазами. — Я отвез их к себе на озеро (Цецилий жил в городке Новум Кому на берегу Ларийского озера^[146]), и среди них почетное место занимают твои стихи. Моя жена тоже считает их непревзойденными, ведь и моя жена — поэтесса.

Юноша наизусть читал элегии Катулла, с его лица не сходило при этом глуповатое и восторженное выражение. Фабулл посмеивался над ним, но Цецилий не обижался. Он гордился дружбой с Катуллом и, сидя рядом с ним, чувствовал себя вполне счастливым. Жизнерадостность Цецилия, его наивное преклонение словно вливали умиротворяющее лекарство в сумрачную душу Катулла.

Вераний и Фабулл просили не забывать о них и присылать им новые стихи. В скором времени они и сами собирались в столицу. Семь лет назад, совсем юными, они уже попытались счастья — ездили в Испанию в числе многочисленного сопровождения претора Кальпурния Пизона. Но напрасно они мечтали разбогатеть. Пизон разорял иберийские города в свою пользу, юные муниципалы возвратились ни с чем.

После второй бутылки друзьям стало жарко. Они хохотали, острили, рассказывали Катуллу о любовных победах, действительных и только что придуманных. Катулл пил и улыбался совсем беззаботно, слушая слегка заплетающуюся речь Цецилия.

— Клянусь Аполлоном Дельфийским... Клянусь Аонидами... — говорил захмелевший Цецилий, прижимая руку к груди. — Я не знаю, кто эта твоя несравненная Лесбия, но так изящно и сильно не воспел возлюбленную ни Асклепиад Самосский, ни Феокрит, ни Каллимах, ни изысканный Мелеагр...

Катулл шутливо отмахивался от неумеренных похвал Цецилия и вдруг побледнел. Видение обольстительно смеющейся Клодии явилось ему мнимым даром веселья. У него сжалось сердце, будто обручем стиснули грудь, глаза застлали слезы нестерпимой тоски. Все притихли, думая, что он плачет об умершем брате. О, наивные простаки!.. Ему не нужно ни

друзей, ни родных... Единственное счастье для него — возвратиться к губительно-прекрасной патрицианке, снова обонять знакомый аромат светящихся волос, с тайной дрожью прикоснуться к ней, чувствуя под скользящей тканью упоительное тело...

Катулл стиснул челюсти, как изголодавшийся хищник, что давно алчет в ночном лесу своей трепещущей жертвы.

Он не мог больше терпеть разлуку с Клодией. А внешних причин для поспешного отъезда было достаточно: отвратительная толкотня на улицах, повсеместное превознесение доблестей удачливого человекоубийцы Цеваря, упреки матери и отчуждение отца.

XIII

С ломким треском горели соломенные крыши галльских селений. Вырубались священные дубравы, разрушались алтари прорицателей-друидов, вытаптывались луга и тучные нивы...

Обширные пространства Галлии все больше оказывались под жестоким контролем римского войска. Испытанные в войнах, смуглые италийцы продолжали уверенно громить толпы отчаянно сражавшихся белокурых гигантов. Впрочем, Цезарь не всегда действовал только силой. Одни вожди становились его союзниками, другие пытались откупиться, не жалея накопленных предками сокровищ, третьи бежали к германцам или бритам, четвертые заменяли варварские штаны цивилизованной тогой и переходили на службу к завоевателям. Цезарь отлично разбирался в племенной мешанине и вековых противоречиях галлов. С ловкостью гениального интригана он стравливал их, запугивал, подкупал, карал и обманывал. Своим солдатам он казался воплощением самого непобедимого Марса. Цезарь спал вместе с ними, где приходилось, — на земле, в палатке и на телеге, ел из солдатского котелка, спокойнее всех переносил холод и жажду, удивлял своей выносливостью в многодневных походах, а когда требовалось их воодушевить, первым бросался навстречу галльским секирам. Он помнил имена ветеранов и лично следил за перевязкой и лечением раненых. После удачного дела он дарил каждому солдату рабыню и горсть серебра, осыпал друзей драгоценностями, но сокровищницы варварских капищ приказывал вычищать в свою пользу.

Навстречу обозам, доставлявшим в армию продовольствие, навстречу вспомогательным отрядам, подвозившим тараны, зажигательные снаряды, катапульты, онагры и баллисты, двигались к альпийским перевалам тысячи повозок с золотыми сосудами и украшениями. Римляне угоняли в Италию огромные табуны и стада. Под охраной кавалерийских отрядов тянулись длинные вереницы пленных. Скрип колес, рев и ржанье животных, щелканье бичей, вопли и стоны пленников, ругань солдат, стук и грохот сливались в ужасающий, трагический шум над некогда мирными дорогами Галлии.

В грязи и пепле разоренных селений истлевали тела погибших от ран и голода, повсюду смердели со вздутыми животами и задранными копытами околевшие лошади и быки. Медведи, волки, одичавшие псы сбегались на падаль. Омерзительно каркая, вороны и орлы-могильники

черными стаями закрывали небо.

За полгода войны Цезарь отослал в Италию тридцать пять тысяч рабов. В Риме объявили всенародные празднества в честь победителя галлов; сенат вынужден был воздать хвалу своему неукротимому и удачливому врагу. Римские банкиры, откупщики и работоторговцы метались с горяченно выпученными глазами. Они рвались в только что завоеванную страну: шагая по трупам и дымящимся развалинам, легче всего было приобрести колоссальное состояние. Только бы успеть, не пропустить благодатное время новых римских побед! Служить под началом Цезаря устремились многие молодые аристократы, среди них — прославленный кутила Марк Антоний, сын Марка Красса Публий, сыновья магистратов, сенаторов и даже брат изгнанного Цицерона. Слухи о богатствах Галлии не давали спать ни пресыщенным нобилям, ни нищим оборванцам. Всюду звучали странные названия захваченных северных городов: Герговия, Лугудун, Аварик, Бибракта... Все думали о Галлии, все говорили про Галлию, все бредили Галлией.

Деловая жизнь Рима, подстегнутая притоком золота и рабов, бурлила. Войсковые квесторы передали казначейству республики горы ценностей стоимостью в сорок миллионов сестерциев; вероятно, не меньше Цезарь оставил себе и своим приверженцам. По всей Италии стоимость золота сравнительно с курсом серебра упала в четыре раза. В конторах банкиров и ростовщиков ежедневно совершались десятки головокружительных сделок. Вокруг римских богачей, глотающих фантастические барыши, извивались и щелкали зубами бойкие неопрятные людишки с всклоченными волосами и воспаленными веками — горбоносые сирийцы, сидонцы, иудеи, коричневатые египтяне и лстивые, коварные греки.

Консулы пятнадцать дней увеселяли народ на деньги Цезаря. В цирках состоялись грандиозные представления. За тысячами столов римляне пировали, будто в дни Сатурналий. Оставшиеся в Риме сподвижники Цезаря чувствовали себя все уверенней.

Той же порой многие пристрастные наблюдатели, следившие за деятельностью цезарева агента Клодия Пульхра, невольно вспомнили откровенные намеки Цицерона о слишком близких отношениях Клодия с красавицей сестрой. Впрочем, ни для кого это не было тайной. Но вышеназванное обстоятельство стало особенно увлекательным, когда посещения прекрасной патрицианкой возлюбленного брата заметно участились с явлением в его доме оратора и поэта Марка Целия Руфа.

Вот здесь-то и возникло сочетание необычных случайностей, придающих отношениям Клодия, его сестры и Руфа скандально-

политический привкус.

Каким образом Руф, любимый ученик Цицерона, друг республиканцев — оптиматов Кальва и Меммия, оказался среди окружения Клодия, оставалось загадкой. Некоторые простаки пытались и объяснить это просто: небогатый адвокат снял пристройку в доме трибуна, ну так что же? Конечно, язвительно возражали скептики, во всем Риме он не нашел другой квартиры... Значит, Руф изменил своим друзьям и своим убеждениям? Перешел в лагерь популяров и даже примкнул к самому крайнему их крылу, к бесчинствующему Клодию? Многие видели, будто бы, как Руф провозглашал здравицы Юлию Цезарю и рукоплескал на Форуме его клевету Ватинию...

Но это была лишь первая часть забавной проделки Руфа. Как только Катулл уехал в Верону, прояснилась и еще одна сторона хлопотливой сноровистости адвоката. Руф стал являться повсюду рука об руку с Клодией. Они любезничали, бросая друг на друга томные взгляды, и всячески старались вести себя так, чтобы никто не мог усомниться в их взаимной страсти.

Клодия счастливо улыбалась, ее прелестное кругловатое лицо с нежным румянцем напоминало облик белокожих и белокурых галльских княгинь; она носила и золотые галльские украшения — это было сейчас особенно модно. И Целий Руф выглядел великолепно, под стать ей: мужественно-смуглый, с орлиным носом, резкой линией волевого подбородка и гордой осанкой. Они не расставались целыми днями, и ночевать Руф отправлялся в спальню Клодии, с успехом замещая своего друга Катулла. Рим нетерпеливо ждал приезда веронца. Друзья и враги, женщины и мужчины предвкушали удовольствие.

Однажды на Форум, к портику Весты, где происходили литературные диспуты, пришел Лициний Кальв. Выждав немного, Кальв предложил довольно многочисленному собранию послушать эпиграмму Катулла, написанную только вчера.

Некоторые поэты сделали кислую мину. Предусмотрительные хитрецы приготовились записать услышанное. Оратор Гортензий приставил к уху ладонь, чтобы не упустить ни слова. Молодой литератор Асиний Поллион заранее торжествующее улыбался.

Достав табличку, Кальв прочитал:

Руф! Я когда-то напрасно считал тебя братом и другом!
Нет, не напрасно, увы! Дорого я заплатил.
Словно грабитель подполз ты и сердце безжалостно выжег,

Отнял подругу мою, все, что я в жизни имел.
Отнял! О, горькое горе! Проклятая, подлая язва!
Подлый предатель и вор! Дружбы убийца и бич!
Плачу я, только подумаю: чистые губы чистейшей
Девушки пакостный твой гнусно сквернит поцелуй.
Но не уйдешь от возмездья! Потомкам ты будешь известен!
Низость измены твоей злая молва разгласит!

С этого дня внимание римлян к любовным похождениям Клодии еще более обострилось. Уязвленный Катулл через каждые несколько дней сочинял новую эпиграмму и собирал дань всенародной славы. Под базиликами, во дворцах и тавернах, на рынках и площадях обычно обсуждались теперь следующие новости: блестящие победы Цезаря; обогащение и мотовство Цезаревых сподвижников; дебаты в сенате по поводу возвращения изгнанного Цицерона; самоуправство Клодия, незаконно отнявшего поместье у судьи Вария; слухи о странных стонущих звуках, исходивших из-под земли недалеко от Неаполя, и, наконец, стихи Катулла.

К последней теме обратился и разговор молодых людей, стоявших солнечным утром у колоннады Эмилия. Это были друзья и знакомые Катулла, сведущие не только в тонкостях поэзии, но и во всех подробностях его жизни.

— Я допускаю, что Катулл многого добился в искусстве стихосложения, но к непристойности содержания в его стихах привыкнуть невозможно... — говорил поэт Фурий Бибакул.

И длинный, худой щеголь Порций с испытанным лицом и выпяченной нижней губой, и сверкающий перстнями Тицид с напыщенной бородкой, узкой, как на статуях египетских царей, и оратор Калькой, больше прославившийся кутежами, чем успехами на роstralной трибуне, и даже земляк Катулла, массивный и громогласный Вар, — все кивнули головами, соглашаясь с Фурием. Действительно, Катулл в своих эпиграммах на Руфа перешел всякие границы грубости и бессмысленной клеветы.

Руф оказался политическим перевертышем, примкнувшим к партии Цезаря... Но об этом-то Катулл как раз и не упоминает, — он поносит Руфа только за то, что тот отбил у него Клодию. Боги всеблагое, разве в этом дело! Не стань Руф ее тысяча первым любовником, подвернулся бы кто-нибудь другой. Неужели Катулл не понимает столь простой истины?

Что же касается прекрасной патрицианки, которую Катулл раньше

воспевал так восторженно, то тут уж он совсем обезумел. Какими только оскорблениями он не поливает свою недавнюю возлюбленную, точно из помойного ведра! Он избрал для этого интересную форму: обращается к своим ямба́м и учит их, как уломать «подлую девку» и потребовать у нее обратно табличку со стихами. О мать богов, здесь и «мерзкая подстилка», и «порождение гнуснейшего разврата»!

Рассуждая об этом, еще один собеседник, близкий друг Цицерона, трибун Сестий, искренне негодовал. Сес-тий был мужчина лет сорока, с лысым лбом, зеленым цветом лица и унылым носом. Несмотря на болезненный вид, энергии и смелости Сестию было не занимать.

Он явился одним из инициаторов борьбы за возвращение Цицерона из изгнания.

Итак, Сестий стоял у колоннады Эмилия и строго судил стихи Катулла. Милейший юноша Фурий прав: Катуллу следует выбирать выражения. Как не стыдно писать так о римлянке, хотя она и сестра злобного чудовища Клодия Пульхра! И дело не в ней, наконец, а в римской поэзии! Что это: «улыбка сучья» и «собачья морда»?

— Я чуть не лопнул со смеху, читая последние строчки, — признался Альфен Вар. — Ничего не скажешь — ловко закручено!

Собеседники опять пожали плечами. Как бы там ни было, от Катулла напрасно ждут изящной поэмы на редкий мифологический сюжет. Нет, Катулл слишком увлекся своими пошлыми переживаниями. Вообще Катуллу повезло. Он прославился потому, что Катон и Кальв суют во все сборники любую блажь, какую бы ему ни вздумалось нацарапать. Он их прямо околдовал, они готовы жизнь отдать за его стихи.

Литераторы долго обсуждали поведение взбалмошного и безалаберного веронца. Они любили его, конечно, но правда для них свята: не следует превозносить Катулла выше того, чего он действительно стоит.

— А то совсем уж рехнулись, — возмущенно сказал Луций Калькой, поднимая красиво подведенные брови, — издают две жалких строки...

— У кого ты нашел эти две строки? — спросил Тицид, позевывая и небрежно вертя пальцами тросточку.

Калькой достал из сумочки, украшенной сердоликом, свиток и развернул его.

— Вот сборник Асиния Поллиона. И сюда между законченными и вполне приличными стихами втиснули Катулла, послушайте-ка...

Да. Ненавижу и все же люблю. Как возможно, ты спросишь?
Не объясню я. Но так чувствую, смертно томясь.

Вар фыркнул:

— Только и всего?

— Odi et amo^[147]... Какая нелепость! — воскликнул Сестий.

— Пустяк, не стоящий внимания, — произнес Тицид, но почему-то поежился, будто от внезапного озноба.

XIV

Катулл вернулся в Рим без старика Тита и почти без денег. Прощаясь, отец не предложил ему и полсотни аурей. Катулл выслушал его наставления и с сыновней почтительностью поцеловал суховатую руку матери. Он покинул их с облегчением и печалью.

По приезде он отправился на Квиринал: пристройка в доме всадника Стаберия оставалась пока за ним. Стаберий передал ему письмо от Корнелия Непота. Историк настойчиво просил навестить его в день приезда, не откладывая ни минуты. Взволнованный тон письма не походил на обычную рассудительность Непота. Катулл почувствовал странную тревогу и как был — с запущенной бородой, в войлочной шляпе и дорожном плаще — поспешил к другу.

Непот крепко поцеловал веронца, провел его в таблин и тщательно задернул вход занавесом.

— Что случилось, Корнелий? — спросил Катулл упавшим голосом, тревога не оставляла его, словно подтверждая самые ужасные предчувствия.

Непот воскликнул, подняв руки:

— Хвала богам, что ты послушался моего письма! — И он рассказал Катуллу об измене Клодии.

Катулл сначала был неподвижен, потом побледнел, как мертвец, и бросился к двери, но историк твердо стоял на пороге. Катулл грубо выругался, пытаясь его оттолкнуть. Непот заранее призвал все свое хладнокровие и все участие дружбы.

Они долго боролись. Непот пересилил и, тяжело дыша, повалил Катулла на низкое ложе, устланное шерстяным покрывалом.

Катулл лежал лицом вниз, растерзанный и униженный, из-под задравшейся сбоку грязной туники торчали его худые волосатые ноги. Лежа, он еще раз осознал свое бессилие перед постигшей его бедой. Катулл вцепился пальцами в свои отросшие космы и зарыдал. Грустно мигая и слушая, как он глухо взлаивает и скрипит зубами, Непот накрыл ему ноги краем покрывала и молча гладил по прыгающей спине.

Когда Катулл с усилием поднял мокрое лицо, Непот обнял веронца и начал говорить. Он негодовал, убеждал и ободрял. Он приводил примеры их мифологии и истории. Он использовал в своих рассуждениях стихи и изречения философов. Рассуждая, он расхаживал перед Катуллом, который

продолжал лежать, полузакрыв распухшие веки. Наконец Непот умолк и стоял напротив с открытым ртом, будто собираясь еще что-то прибавить. Веронец криво усмехнулся искусанными губами.

— Прости, я беспокоил тебя, мой Корнелий. Вечно меня преследуют неприятности. Но я люблю эту развратницу до безумия. Прошу тебя, дай мне выйти. Я убью Руфа и отнесу ей кинжал, испачканный его подлой кровью. Пойми, мне все равно не жить без нее.

Непот велел принести конгий крепкого аминейского и кисть вяленого винограда. Катулл смирился с непреклонностью друга. Увидев вино, он словно оживился ипил стакан за стаканом. К вечеру он попросил третий кувшин.

Непот несколько раз вставал ночью, подходил к таблину и прислушивался. Веронец наливал в стакан вино, икал и, всхлипывая, бормотал несвязные слова. Заснул он, нелепо скорчившись, завернув голову шерстяным покрывалом. Когда он проснулся, у него началась тяжелая рвота.

На другой день Непот вошел в таблин, толкнул ногой пустые кувшины и сказал:

— Хватит, Гай. Для тебя нагрели воды, вымойся, сбрей бороду и перемени одежду.

Катулл хмуро повиновался. Его покачивало. Скоро он явился выбритый и в чистой тунике. Непот подал ему кусок папируса, тушь и тростинку. Дрожащей рукой Катулл написал письмо Клодии.

В ожидании ответа он метался по комнатам и от нетерпения готов был биться головой о стены. Через час посланный с письмом раб вернулся. Он рассказал, что отнес письмо на Палатин в дом госпожи Клодии, но вместо ответа получил только пинки. Двое верзил схватили его и вышвырнули на улицу.

У Катулла ослабли ноги, он опустился на скамью.

— Может быть, все еще изменится... — неуверенно произнес Непот, не зная, что предпринять дальше. Катулл лег и лежал не двигаясь.

Тем временем в городе узнали о возвращении поэта. Знакомые и незнакомые люди стали осаждать дом историка, настаивая на свидании с Катуллом. Большинство безуспешно прятали жадное любопытство. Непот спокойно отказывал всем, даже близким друзьям — Цинне, Корнифицию, Вару, — и послал Валерию Катону просьбу не принуждать Катулла к встречам и объяснениям. Один почтенный всадник просил передать поэту в подарок десять тысяч сестерциев. Непот вежливо отклонил столь щедрое проявление поэтического признания. Деньги деньгами, но к чему

удрученному веронцу брать на себя обязательства почтительной благодарности? Непот оградил Катулла и от этого беспокойства.

Утомительная осада продолжалась. Однажды ночью какие-то наглецы стали с криками ломиться в дверь. Непот достал со дна сундука кавалерийский меч своего умершего отца, приказал рабам зажечь факелы и распахнул дверь.

Крикуны попятились в темноту. Непот стоял, освещенный факелами, и размахивал широким мечом, горевшим багровым отсветом. По древнему закону Рима, крикнул Непот, он имеет право убить каждого, стремящегося ночью проникнуть в его дом, как вора. И пригрозил вызвать городскую стражу. Опасаясь быть узванными, буяны трусливо бежали. И все-таки непрошенные посещения не прекратились. Римляне выказывают удивительное упорство, когда им хочется позабавиться за счет чужого страдания.

Через неделю пришел Кальв. Непот впустил его без колебаний. Кальв посмотрел на Катулла, поцеловал его в подбородок (Катулл казался ему высоким), выслушал Непота и сказал:

— Ну, Гай, кажется, ты надоел Корнелию. Накинь тогу и прошу тебя следовать за мной.

Они простились с Непотом и направились к подножью Авентина, где находился дом маленького оратора. На улицах кое-кто узнавал Катулла, но им преграждали дорогу клиенты Кальва, крепкие молодые люди, на всякий случай державшие в руке по здоровенному булыжнику.

Несмотря на болезненную бледность, Катулл выглядел вполне сносно. Он вежливо приветствовал жену Кальва, скромную, тоненькую Квинтилию, и светски-изящно поцеловал край ее паллия. Они пообедали втроем, и в триклинии Катулл пытался даже шутить. Кальв занимал его разговорами о политических новостях и между прочим сообщил, что сенат постановил отменить изгнание Цицерона и вызвать великого оратора в Рим. В свою очередь, Катулл предположил, что с возвращением Цицерона самовластье триумвиров поколеблется его обличительными выступлениями. На это Кальв, пожав плечами, заметил, что сомневается в смелости Цицерона. Они заспорили. Казалось, к Катуллу вернулось относительное спокойствие. Но вечером, когда Кальв заглянул в отведенную для веронца комнату, он увидел его равнодушно наблюдающим, как из надрезанной на левой руке вены упругим фонтанчиком льется кровь. Кальв выхватил у Катулла нож и вскрикнул сорвавшимся голосом. Вбежала Квинтилия и рабыни. Вену перетянули жгутом и помчались за лекарем. Катулл смущенно бормотал, оправдываясь,

но не сопротивлялся. Кровь удалось остановить, и Катулла уложили в постель.

Кальв погладил его перевязанную руку и сказал скорбно:

— В этом доме таким способом уже призвал смерть мой несчастный отец... Честь была для него драгоценнее жизни...

— И мне не хочется жить, Лициний. Без любви мне не нужны ни воздух, ни пища... — виновато сказал Катулл.

— Муза одарила тебя своей величайшей милостью. Гений поселился в твоей душе. Разве не кощунство до срока заставить его умолкнуть?

Катулл внимательно слушал. Его ослабевшая воля искала целительной поддержки в уверенных и торжественных словах друга.

— Твои стихи переживут столетия, — продолжал Кальв, — Почему ты не хочешь подумать о людях, которым они необходимы? Благодаря твоим безделкам они узнают мгновенья светлого счастья. Ты ранен гнусной изменой, но не держи в себе страдание — выплесни его так, как это дано только тебе. Ты старше меня, но ты неразумное дитя, если сам не сознаешь своего предназначения. Обещай мне не делать больше ни одного поступка, недостойного мужчины...

Катулл кивнул, напряженно глядя в угол, на тень от головы Кальва.

— Клянись Юпитером, Аполлоном... памятью любимого брата...

Кальв положил перед Катуллом стиль, табличку и придвинул ближе светильник.

— Ты клянешься? — настаивал он.

— Да, — тихо сказал Катулл и посмотрел на маленького оратора уже отвлеченным поэтической мыслью взглядом.

Кальв нашел для Катулла квартиру на восточном склоне Авентинского холма. Две комнаты на четвертом ярусе шестиярусного «острова» сдавались за полторы тысячи сестерциев в год. Кальв уплатил в домовой конторе треть суммы и нанял лохматого возчика-сабинца, который перевез на своей повозке вещи Катулла.

Двух-и трехкомнатные квартиры, выходившие узенькими оконцами на улицу, занимали семьи торговцев средней руки, мелких служащих магистратур, учителей грамматики и врачей городской больницы. Среди этих людей встречались и граждане, и отпущенники, и провинциалы. С другого входа, со стороны темного простенка, находились каморки ремесленников, ветеранов, пропивающих свои пенсии, разносчиков, мусорщиков и девиц, по нескольку раз на день приводивших гостей.

Катулл взял на новое место только книги, сундук с одеждой и самую необходимую утварь. Вазы и статуэтки он отдал за небольшую сумму перекупщику.

Комнаты были довольно просторные, но со стен ключьями облупилась краска, а над жаровней чернела жирная копоть. Катулл приладил вешалку для плащей и постлал одеяло на ложе с расшатанными ножками. Надо было еще сложить в ларец книги, отдать прачке грязную одежду и купить в лавке сыра и овощей. В доме, к счастью, оказался водопровод — на третьем ярусе из пасти бронзового пса лился тоненький ручеек. Житейские заботы на время отвлекли Катулла от душевных терзаний.

Тишина была здесь редкостью: целый день раздавались вопли чумазных детей, крики и ссоры горластых женщин, громкие разговоры, ругань, плач, пьяные песни. Все это продолжалось до поздней ночи, а перед рассветом с улицы доносился тяжкий скрип колес и голоса возчиков — к рынкам двигались бесконечные обозы. В этом квартале никто не интересовался поэтической и скандальной славой Катулла.

Правда, однажды в дверь робко постучались. К нему заглянули соседи — молодой провинциал с хорошенькой смущенной женой. Они осведомились, тот ли он самый Гай Катулл, который сочинил прелестную песню об умершем воробышке, и в ответ на хмурый кивок преподнесли ему вышитый платок и горшок пиценских оливок.

Катулл, принужденно улыбувшись, поблагодарил. Он был растроган, хотя и немного досадовал. Ох, уж этот воробышек, этот «милый птенчик»!

Можно подумать, что он не написал больше ничего стоящего... Не говоря о вкусах некоторых простодушных почитателей, даже в столичных сборниках перед столбцами его стихов часто рисуют пресловутого воробья, сидящего на лавровой ветке. Такая упорная безвкусица раздражала его, он пытался протестовать, но тщетно. Все любили стихи о воробышке, о той издохшей пичуге, память которой он воспел, угождая Клодии.

Катулл вдруг сменил свое грустное одиночество на прежнее беззаботное веселье. С судорожным смехом он врывался к Валерию Катону и с порога читал очередную эпиграмму на подлеца Руфа. Его эпиграммы появлялись в разных сборниках еженедельно. Римляне переписывали их друг у друга, не дожидаясь новых изданий.

Руф пренебрежительно отворачивался от злопыхателей. Он сократил время, отведенное для любовных утех, и тоже взялся за стихи, в которых описывал свои высокие чувства к некой безымянной возлюбленной. Но издатели под разными предлогами отказывались принимать его излияния, тогда как еще недавно он считался одним из любимых поэтов римской молодежи.

Руф сжимал кулаки и шептал проклятия. Этот истеричный, языкастый Катулл неумолимо поливал его грязью. Над Руфом посмеивались даже его нынешние соратники-цезарианцы, а Клодий Пульхр, читая катулловские эпиграммы, хохотал с видимым удовольствием. «Ревнует ко мне сестрицу!» — бормотал озлобленный Руф, но продолжал жить у него в пристройке. Между Руфом и Клодией стали происходить ссоры.

Издание эпиграмм поддерживало Катулла не меньше, чем помощь друзей. После выпуска очередного сборника Клараном, Поллионом или другим издателем Валерий Катон раскладывал перед Катуллом столбики серебряных денариев. Веронец сметал их со стола в кошелек и приглашал земляков в таверну Плокама. Катон советовал побереечь деньги, но беспечный Катулл кричал, подбоченившись:

— В Эреб бережливость!

Впрочем, веселье Катулла было только кратковременной игрой. Он тосковал и плакал ночами, а на рассвете, умывшись у фонтана и вытерев лицо краем измятой лацерны, будто влекомый колдовской силой, отправлялся безмолвным призраком бродить вокруг дома Клодии.

Все казалось ему здесь дорогим и трогательным, все восстанавливало в памяти ее слова и жесты, звуки милого голоса, прикосновения нежных рук... и на глаза просились слезы умиления. Вот на этом месте он простился с Клодией, провожая ее после праздника у Мунации, и впервые прикоснулся губами к ее щеке, потрясенный нестерпимым блаженством.

Сколько раз он выходил из этого дома утомленный ее искусными ласками, со звенящей от бессонной ночи головой и переполненным любовью сердцем! Так же пробивалась травка с краю мостовой, так же покачивались от легкого ветерка глянцеви́тый мирт и тоненький тополек на перекрестке, перед статуей палатинской Юноны.

На улицах было еще безлюдно. В небо взлетали белые голуби, воробьи сыпались стайками с крыш. В лучах зари розовели дворцы и храмы, из-за оград возносились, слегка покачиваясь, исполинские свечи кипарисов, шелестели смоковницы и перистые ливийские пальмы. У дверей патрицианских домов появлялись зевающие и потягивающиеся рабы. С настороженным удивлением они косились на одинокую фигуру Катулла.

На следующие сутки все повторялось. Катулл не надеялся на чудо и не мечтал увидеть Клодию даже издали. Ему лишь хотелось взглянуть на истертые плиты мостовой, где ступала ее изнеженная ножка. Он бродил по ночам потерянно и безвольно, как заболевший лунной болезнью. Он знал, что гибель его близка.

И судьба наградила его неожиданно, сгустив редяющий сумрак в светящемся силуэте Клодии.

Солнце вставало. Колоннада портика, к которому Катулл поднимался по широкой лестнице, отбрасывала прохладные тени, а между колоннами навстречу ему шла Клодия. Лес мраморных стволов и фигура стройной женщины на фоне разлившихся красок пурпурной зари походила на воплощение эллинского мифа о розовоперстой Авроре — Эос. Катулл провел рукой по лицу, будто стирая с глаз пелену обмана. Он подумал, что у него начались галлюцинации. Но Клодия приближалась. Сначала Катуллу показалось, что она совсем без одежды, так пронизывали утренние лучи ее легкую тунику, подпоясанную красной лентой. Смуглая гречанка Хиона несла изящную сумочку и сидонский плащ госпожи.

Куда шла Клодия в такой ранний час? Катулл не находил объяснений. Сердце его гулко стучало, обмирая и падая. Он стоял, напрягаясь всем телом, потому что ступени под ним качались.

Пораженная печальным явлением поэта, Клодия направилась к нему. Он смотрел на нее неподвижным взглядом безумного. Утренняя нега еще не оставила ее, и, может быть, из-за этого она почувствовала смущение и слабость.

— Привет тебе, о Клодия... — прошептал Катулл. Ее зрачки метнулись, не выдержав пристальной силы его взгляда, и Клодия сказала:

— Я ждала тебя, Гай.

Катулл был уверен, что она говорит правду. Только веление богов

могло заставить капризную красавицу подняться на грани ночи и дня, выйти без охраны на пустынную улицу и оказаться на его пути.

Клодия подошла вплотную и прильнула к нему — прижалась щекой к щеке, закинув ему за шею обнаженные руки. Катулл ни единым словом не напомнил о ее измене и своем исступленном страдании. Оба дрожали, как неопытные подростки. И когда Катулл услышал «милый мой, жизнь моя, Гай...» — в его душе не было сомнения в том, что Клодия любит его как прежде.

XVI

Необъятная весенняя синева сияла над Римом. Исчезло уныние одиночества, все предстало перед глазами в упоительном и радостном возбуждении, словно в дни беззаботной юности. Пение птиц, детский смех, улыбки и взгляды девушек, даже скрип повозок и собачий лай отзывались в сердце Катулла торжеством любви.

Его шаги звенели по мостовой Палатина, развевалась его легкая лацерна, и солнце рыжим огнем горело в каштановых волосах. Он улыбался, открыв зубы и весело сверкая светлыми галльскими глазами. Прохожие на него оглядывались.

Катулл примчался к особняку Аллия и, как в тот далекий, благословенный день, когда он впервые увидел Клодию, стал стучать в дверь ногами и греметь железным кольцом. И так же растерянно таращился на него перепуганный привратник.

— Где твой господин, негодяй? — закричал Катулл с озорством. — Что?! В бальнеуме?!

Он ворвался в бальнеум и увидел Аллия, отдыхающего после утренней ванны.

— Сейчас же вставай! — хохоча и приплясывая, вопил веронец. — Как тебе не стыдно дремать, когда пришел знаменитый поэт Катулл!

Аллий посмотрел с опаской: может быть, веронец сошел с ума? От него можно ждать этого в любое время. Но куда девалась его ипохондрия? Он похож на веселого проказливого мальчишку.

Словно прочитав его мысли, Катулл подмигнул:

— Нечего раздумывать, Луций. Тебе такое занятие не к лицу. Ты ведь вылитый Силен — такой же распухший нос, вздувшееся чрево, будто огромный мех для вина, и бессмысленно глядящие глазки. Не хватает только седой бороды, а рядом — менад и сатиров.

— Менады были вчера... Но вообще-то не очень остроумно врываться чуть свет в чужой дом и обзывать хозяина пьяницей, — притворно обиделся Аллий. — Клянусь Юпитером, хорошо, что ты еще не сочинил обо мне стишков в таком хулительном тоне. Зато сам ты смахиваешь на уличного сорванца, из тех, что шатаются по эсквилинскому рынку... У меня к тебе всего один вопрос: в кого ты влюбился на этот раз?

— Твой вопрос может вызвать недоумение у всякого здравомыслящего человека. В кого влюбляются все, попадающие в развратный, спесивый

Рим? Разумеется, в самую прекрасную из целомудренных римлянок, в мою восхитительную Клаудиллу.

Аллий покачал головой. Кажется, Катулл на новой стезе своей страсти к Клодии. Теперь это не прежнее упоительное обожание, а скорее грубое влечение, приправленное беспощадной катулловской иронией. Пережитые страдания не прошли бесследно. Но Катулл опять чересчур взбудоражен: и тоска, и раздражение, и веселье всегда переходят у него границы приличий. Чем-то он все-таки, при своей образованности, походит на невоспитанного варвара. Настоящие римляне, даже впадая в крайнюю разнузданность, не теряют достоинства и своеобразной, конечно, меры. Умереть умеют с торжественным изречением на устах, к измене относятся со снисходительной усмешкой и ликуют без навязчивости.

— Итак, вы помирились.

— Благодарение богам!

— Надолго?

— Я надеюсь, во всяком случае... — неуверенно начал Катулл и, будто отгоняя горькие мысли, закружился вокруг толстяка с беззаботным смехом. Аллий еще раз утвердился в том, что Катулл уже не прежний неистовый обожатель.

— Что же ты не угощаешь меня, скупец? — удивился веронец. — А я тащился к тебе, надеясь на выпивку.

Аллий оделся с помощью почтительного раба и пригласил Катулла в залитый ярким солнцем мраморный перистиль, утопавший в зелени плюща и вьющихся роз.

— Извини, дружок! — сказал Аллий. — Я на полчаса оставлю тебя одного. Отец назначил сегодня прием в честь праздника флораллий, и мне нужно распорядиться по хозяйству. Я прикажу подать тебе утку в шафрановом соусе...

— И табличку со стилем, — добавил Катулл.

— Великолепно! С твоим приходом я услышал голоса Муз! — Аллий хлопнул нетерпеливо. Молоденький юноша-иониец прикатил столик с бутылью массикского и уткой на серебряном блюде. Поклонившись, он положил на скамью табличку. Помедлив немного, загадочно улыбнулся и удалился, красуясь стройными девичьими ногами.

Катулл остался в одиночестве. Он сосредоточенно расхаживал между фонтаном и пальмами в каменных кадках, напевал и хмурился. Потом налил в чашу смешанного с медом вина, но не выпил, отставил чашу, сел и начал быстро писать, почти не исправляя написанного. Изредка он отрывался, рассеянно взглядывал по сторонам, покусывая губу, и опять

писал.

Аллий вошел с извинениями и еще одной бутылью в руках.

— Как, ты даже не пригубил? — закричал он. — И утка не тронута... А я устал от трудов. Приказал украсить цветами статую Флоры, послал младшему понтифику просьбу освятить алтарь. Составил с поваром перечень вин и кушаний, отобрал певцов, музыкантов и самых хорошеньких рабынь... о, боги!

— погоди, Луций, — прервал его Катулл, — послушай-ка лучше только что испеченную элегию. Обычно я вожусь со своими стихами довольно долго, а тут получилось сразу, хотя... может быть, и придется что-нибудь изменить...

Аллий замахал руками:

— К свиньям твое сбивчивое вступление! Читай сейчас же!

Катулл прислонился к колонне и заглянул в табличку:

— Если желанья людей сбываются сверх ожидания,
Счастья негаданный день благословляет душа.
Благословен же будь, день, драгоценный, чудесный,
Лесбии милой моей мне возвративший любовь!
Лесбия снова со мной! Блаженства не ждал я такого!
О, как сверкает опять великолепная жизнь!
Кто из живущих счастливей меня? И чего еще мог бы
Я пожелать на земле? Сердце полно до краев!

— Прекрасные стихи, Гай! — сказал Аллий, — Сегодня ты прочтешь их моим гостям!

— Будь по-твоему. Но вели это переписать и отнести Катону. Я обещал ему всю мою стряпню.

— А теперь омоем каждую строчку струей веселого Вакха... Эй, чашу мне! — крикнул Аллий. — Да утку подогреть живее!

— Не надо, — сказал Катулл, — она и так хороша... Вот видишь, мой Аллий, я уже сочиняю бодрые славословия жизни. Кто бы мог подумать, что я на это способен?

Когда они осушили по две чаши и обгладывали утиные стегнышки, Аллий вдруг усмехнулся и проговорил лукаво:

— Все, что ты ни напишешь, Катулл, — блистательно. Но, положи руку на сердце, признаюсь: язвительность и озорство твоих безделок убедительнее любовных восторгов.

— Неужели? — спросил веронец, нахмурясь.

— Клянусь, Аполлоном! Это мое мнение. Не обижайся, дружок.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Жизнь снова была полна празднословия и нескончаемой суеты. Дни мелькали, как мячи в азартной игре. К завтраку Катулла нередко ждал Гортензий Гортал, у которого собирались образованные нобили, проводившие время в высокоумных разговорах. От Катулла они ждали особой находчивости. Веронец старательно расточал экспромты и часа через два чувствовал себя уставшим, как балаганный фокусник. Молва не оставляла его имени, слава его росла. Когда он проходил мимо базилики Грекостаза, ученики риторской школы, не сговариваясь, устроили ему оvation. А спустя неделю юный Камерий затащил Катулла на пирушку, где актеры, приятели Камерия, весь вечер читали его стихи. Катулл неожиданно почувствовал, что не на шутку растроган. Скрывая волнение, он сказал, что счастлив успехом своих безделок, и предложил выпить за процветание актерского искусства. Девушки увенчали его розами, а мужчины преподнесли ему золотой стиль.

Среди внешнего благополучия и столичного блеска Катулла преследовала неотвязная мысль о Клодии. Впрочем, в ее любви он не сомневался, считая, будто встреча их в то волшебное-мерцающее утро произошла не случайно. Ведь Клодия уверяла, что она думала о нем ночи напролет и накануне видела во сне божественного посланца, приказавшего ей выйти на поиски возлюбленного. На самом деле она тайно направлялась в храм Астарты^[148], где должно было состояться весеннее радение весьма заманчивого свойства. Для знатной аристократки не существовало запретов, да и среди участников непристойного представления Клодия надеялась встретить своих друзей и приятельниц.

Все сильнее терзаясь ревностью, Катулл решился на последнее средство. Не без смущения он посоветовался с Аллием. Толстяк понимающе кивнул и сказал, что узнает подробно у своей отпущенницы Ливии, ловкой проныры и пройдохи.

— Ворожба — дело не шуточное, а кумушки из простонародья разбираются в ней лучше нас.

На другой день, получив нужные сведения, Катулл отправился за Тибр, к древнему храму Тиберина. Возле облупившегося портика теснились покосившиеся лачуги пригородного поселка. В нем жили бедняки, для которых не хватило места на чердаках Рима. У оврага, заваленного кучами смердящих отбросов, шумел рынок. Здесь торговали старьем, крадеными

вещами, амулетами, лечебными и приворотными снадобьями.

Катуллу со всех сторон предлагали рваные латиклавы^[149] и пиксиды — баночки с ядом. В густой пыли топтались с криками люди, а под ногами у них крутились шелудивые псы.

Скоро Катулл увидел харчевню, о которой рассказала Ливия. Харчевня называлась «Обед Геркулеса»; имелась и вывеска, она изображала грызущего кость уroda. Протиснувшись между галдящими оборванцами, Катулл спросил хозяина.

Одноглазый грек подозрительно взглянул на Катулла и осведомился, что ему нужно. Катулл коротко объяснил.

— А... так найди старую Климену. Она недалеко отсюда торгует ночными горшками, — ухмыльнулся грек.

Катулл отправился на поиски Климены. Тощая старуха в черной одежде одиноко сидела возле пирамиды медных посуды. Выслушав Катулла, она ослабилась и схватила его за руку.

— Доволен будешь, мой дорогой... Сейчас отведу тебя к сестре... Она великая гадалщица и колдунья... Только тихо... Наклонись ко мне, слушай...

Подавляя смутное волнение и в то же время саркастически посмеиваясь про себя, Катулл глядел на обезьяньи ужимки старухи.

— Все сделаем... Не такое устраивали... — хрипела она. — Кто поднимал быка, легко поднимет теленка... Не сомневайся, готовь сотню сестерциев... Эй, Сцинтилла, куда ты запропастилась, мерзавка?

Откуда-то выскочила девочка лет тринадцати в короткой тунике.

— Хватит возиться с мальчишками и воровать пирожки у ланувийки Цильнии! Попадешься в конце концов, и она тебя отлупит...

— В жизни ей меня не поймать, толстой корове, — засмеялась Сцинтилла.

— Постереги товар, — строго приказала Климена, — а я провожу этого человека.

Катулл молча шел за бойко ковылявшей Клименой. В одном из дворигов старуха нашла загорелую женщину с бельмом в правом глазу. Они долго шептались, искоса поглядывая на Катулла. Ему стало досадно. Из-за своей страсти он скоро сойдет с ума и будет бродить по Риму, осыпаясь издевательствами и пинками. Зачем он связался с этими обманщицами? Если он не нашел помощи у образованных и умных друзей, то почему надеется найти ее среди невежества и нищеты? Здесь процветают такие же корыстные помыслы, как и в домах знати, только более беззастенчивые и мелочные. Гай Меммий и Гортензий Гортал будут смеяться над

доверчивостью неотесанного транспаданца. Все просвещенное общество заражено эпикурейским свободомыслием, хотя, с другой стороны, в Риме только и болтают о знамениях и чудесах.

Пока он размышлял, сестрицы кончили совещаться; бельмастая поманила его за собой в полутемную лачугу. Катул сел на низенькую скамеечку у стены. Бельмастая примостилась напротив и вперила в него свой единственный черный глаз. Катуллу стало не по себе от такого пристального разглядывания. Он уже собирался прервать молчание и, отделавшись несколькими сестерциями, уйти.

— Наберись терпения, и ты не пожалеешь, что обратился ко мне, — неожиданно сказала колдунья. — Духи зла и напастей сделали свое дело, вижу на твоём лице их мрачную власть. Душа твоя раздвоилась: ты властелин и униженный, ты торжествуешь и мучаешься, ты смеешься и плачешь... Разве не так?

— Я не совсем понимаю тебя, — пробормотал Катулл.

— Меня зовут Агамеда, я вижу твою судьбу и твою тоску по неверной возлюбленной. Но я хочу помочь тебе. Смотри сюда... — Она бросила какую-то крупинку в чашку с прозрачной жидкостью и подала Катуллу. Постепенно чистая влага замутилась, по ней змеились красные и зеленые разводы. Агамеда монотонно шептала непонятные слова над головой Катулла, внимательно глядевшего в чашку.

Там происходили удивительные явления: причудливые переливы красок выстроились в ясную, развернутую в пространство картину. Катулл увидел себя летящим; как большая птица он летел над огромным городом, над улицей, широкой, как Виа Лата. По обеим ее сторонам возвышаются прекрасные храмы, и перед каждым сверкают золотые статуи неизвестных героев или богов, загораживая вход. Катулл опускается и идет посередине улицы, с мучительной надеждой разыскивая свободный вход между мраморными колоннами, но повсюду стоят грозные идола, запрещающая ему войти. Он идет все дальше — улица утомительно длинна, будто тяжелый нескончаемый сон, но вот вход в один из храмов свободен.

Катулл хочет обратиться к Агамеде с вопросом... и понимает, что ее нет рядом. Исчезла и закопченная лачуга. Он находится на привидевшейся ему странной улице и чувствует неизъяснимую радость оттого, что может войти в один из храмов.

Тут он замечает перед собой маленького человечка с темным сморщенным личиком. Человечек смотрит на него с ненавистью. Он похож на врача Клодии, отпущенника Петеминиса. Катулл кивает ему и с удивлением видит: это не Петеминис, у карлика красивое смуглое лицо

Руфа. Недоброе предчувствие смущает Катулла и отравляет его чистую радость. Лицо Руфа злобно смеется, карлик прыгает по-лягушачьи и исчезает.

Сейчас Катулл войдет в храм... и опять ему мешают. Какие-то серые, покрытые пылью люди с перекошенными от ярости лицами угрожающе машут кулаками и широко разевают беззубые рты. В первом ряду важно выступают карлики — лысый с узенькими, жестокими глазами, за ним рябой рыжий урод, потом опять лысый, похожий на свинью... От них исходит невыносимое зловоние и Катулл понимает, что несет мертвечиной.

«Обернись, Гай», — говорит кто-то нежным и тихим голосом. Перед ним женская фигура, закутанная в пурпурные одежды. Лица не видно, но Катулл во что бы то ни стало хочет узнать, кто эта таинственная женщина. В его сердце входит щемящая, сладостная тревога, на глаза набегают слезы. Сейчас он узнает ее имя, имя навеки любимой и желанной...

Внезапно раздается отвратительный хохот, из-за плеча женщины высовывается чудовищная морда с оскаленными клыками, и вылезает мохнатое существо на кривых ногах. Оно лает, воеет, визжит и делает жесты, мерзким и комическим образом напоминающие приемы ораторов. Чудовище хватает огромный бич и с беспощадной силой начинает хлестать по сторонам. При каждом ударе летят брызги теплой крови. — Катулл ощущает их на руках и лице. Ужас охватывает его. Он кричит отчаянно, он молит о помощи... и видит перед собой бельмо Агамеды.

Катулл закрыл глаза, снова открыл... понял, что больше ничего таинственного не произойдет, и что он вернулся в лачугу. Бельмастая колдунья сидела молча, в ее руках была чашка с мутной водой.

— Ты удостоился пророческого видения, — сказала она наконец. — Устал немного?

— Но я искал средств, чтобы приворожить женское сердце... Я пришел к тебе ради этого... — разочарованно пробормотал Катулл. — Будет ли счастлива моя любовь?

Агамеда хитро усмехнулась:

— Любовь как кашель, все равно не скроешь, если она есть; а уж нет — так нет... Ну, да ладно, через неделю ты получишь то, о чем хлопчешь. Приворожить красотку в моих силах. Приходи за четыре дня до июньских нон, в сумерки, за городскую стену. К базилике Сестерция. Для приворотного снадобья мне нужна трава с эсквилинского кладбища. А сейчас дай денег в награду за мои старания...

II

Позади была стена и земляной вал. Впереди, за базиликой Сестерция, лежало пустынное поле, за ним огороды и виноградники, еще дальше, погружаясь во мрак, чернели, словно гигантские шлемы, лесистые холмы. Катулл стоял там, где ему указала бельмастая Агамеда. Он пришел в сумерки и наблюдал, как Рим светится тысячами мерцающих огоньков.

Из-за туч выскользнул обрезок белой луны и косо повис над полем. Какие-то шевелящиеся тени проплывали в скудном лунном свете — не то стаи ночных птиц, не то химерические видения. У Эсквилинских ворот бряцало оружие легионеров, полыхали багровые гривы факелов. Безмолвные фигуры подкрадывались к Катуллу. Он торопливо нащупывал кинжал и вздыхал с облегчением, когда они исчезали. Терпение его стало иссякать, но тут кто-то взял его за руку.

— Это я, Агамеда, — услышал он и с трудом разглядел колдунью.

Агамеда повела его через заброшенное кладбище. Спотыкаясь о разрушенные бугорки могил и обугленные костяки, они брели в темноте, пока не остановились на краю черного провала, откуда несло отвратительным, сладковато-душным запахом. В этот ров сваливали трупы гладиаторов и бездомных бродяг.

Катулл настороженно ждал, вглядываясь в смутные очертания предмета, еле различимого на противоположной стороне рва.

— Слышишь?

Из темноты донесся протяжный стон, потом всхлипывание и опять стон...

— Что это? Слышишь? — еще раз спросил Катулл, невольно отступая.

Хриплый голос забормотал, как в бреду. В этом голосе было столько ужаса и страдания, что у Катулла сжалось сердце, и он почувствовал, как холодный пот течет по хребту.

— Не обращай внимания, — глухо проговорила Агамеда, — здесь такое часто случается... Раба распяли за побег или убийство, вот он и мучается, подышает, бедняга... Ну а нам нужно собрать травы для волшебного варева, я покажу где..

В нескольких шагах от них звякнуло железо, и в тишине разнеслась грубая ругань.

— Эй, бродяги, — ревел стражник, — убирайтесь немедленно! Больше я вас предупреждать не буду, пропорю брюхо и сброшу в ров!

Агамеда потащила Катулла прочь, шепча на ухо:

— Жаль, клянусь Гекатой... Волшебные травы растут здесь лучше, чем в других местах. И хорошо бы отрезать у распятого большой палец с правой ноги, да сейчас не до того...

Лунный свет притемнился облаком, и так густо слилась чернота неба и земли, что Катулла представилось, будто он находится в подземелье. Но колдунья уверенно шла на ощупь и вывела его из низины на взгорок, откуда стали опять видны тусклые огни города.

Катулл принадлежал к числу тех римлян, кто, допуская рабство, как привычное состояние иноплеменников, все же не отрицал их способности полноценно мыслить и чувствовать. Выходцы из рабов могли стать гениями, как Плавт и Теренций, приблизиться к управлению государством, как друг полководца Сципиона, философ Полибий, или невероятно разбогатеть, как ростовщик Клавдий Исидор. Зараженный предрассудками своего времени, веронец считал, что, получив свободу, вчерашний раб необъяснимым образом приобретает гражданские качества, хотя вольноотпущенниками чаще всего становились любимчики господ, наушники и мошенники. И все же Катулл всегда чувствовал себя расстроенным после зрелища гладиаторских сражений, удивляясь равнодушию или возбужденному веселью друзей. Жестокость по отношению к рабам возмущала его потому, может быть, что у его родных рабов было не слишком много и в общении с ними сохранялись остатки патриархальности.

— Помоги мне, — сказала Агамеда, — ищи широкие, гладкие листья, это и есть то, что нужно...

Они долго ползали среди могил. Когда им удалось собрать достаточно трав, колдунья завернула их в узелок и присела отдохнуть. Прислушиваясь, она прижала палец к губам. Катулл различил утробное урчание, хруст костей и сдавленное повизгиванье.

— Уж не подземные ли духи собрались нас наказать? — мрачно пошутил он, холодея от суеверного страха.

— Если явятся мстительные духи, мы оградимся магическим заклятьем. Если же это собаки — пожирательницы трупов, то, может случиться, что мы и не вернемся благополучно... — ответила Агамеда. Катулла казалось, что голос ее непритворно дрожит. Они двигались медленно, стараясь не привлекать внимания одичалых псов. Косматые сгустки тьмы возникали с разных сторон.

— О, боги всеблагие, охраните и помилуйте нас... — шептала Агамеда, затравленно озираясь.

Катулл нагнулся, чтобы поднять обломок горелой кости.

— Нет, нет, не раздражай их, — торопливо остановила его старуха. — Если хоть одна собака обозлится и бросится, то за ней и остальные, разорвут нас в клочья...

— Разве ты не знала об этой напасти?

— Я не думала, что их такое множество. Тысячи кровожадных спутников Гекаты... О, боги Олимпа и боги египетские, те что со звериными головами, выручайте, внемлите молению Агамеды... Потерпи, мой дорогой, уже конец кладбища... Вон на небе и звезды проглянули, а вот и дорога от Кверкветуланских ворот...

Злобное рычание стало отдаляться; внезапно огромная стая завyla и бросилась прочь, рассыпав во мраке десятки пронзительных голосов.

Утирая пот со лба и щек, колдунья сказала:

— Чуть не попали мы в беду... Это я виновата, старая дура... Хорошо, Геката помиловала, отвела своих псов... Зато я нашла могильный цикламен (она показала какой-то цветок), он придаст волшебному снадобью особую силу. Еще вся ночь впереди, идем, я помогу тебе понять сердце твоей возлюбленной.

Они брели по выщербленным камням пустынной дороги. Потянуло прохладой, тучи рассеялись. Катулл спотыкался и ворчал, почти жалея, что затеял это гадание.

Подойдя к постройке, стоявшей недалеко от дороги, Агамеда невнятно произнесла несколько слов. Дверь отворилась, они вошли, и при свете глиняного светильника Катулл узнал Климену. Над очагом кипел котелок.

— Принесла травы, сестра? — спросила Климена. — Уже готов необходимый состав для ворожбы. Я положила туда сушеную жабу, крысиный хвост, измельченные змеиные кости и перья сипухи...

— Возьми еще зловонные воды, что ты собирала у жеребых кобыл, и сучий послед. А вот травы, сосавшие корнями соки на месте погребальных кострищ... Пусть сам ожидающий ответа бросит их в снадобье — так будет надежнее. Вот тесьма с ложа умершего от несчастной любви, и ее окуни туда же... Вот цикламен, выросший у рва с мертвецами. О, сестры, мудрые волшебницы этрусские, колхские, фессалийские, пошлите свои чары на помощь мне, Агамеде, сове с бельмом, крысе бесхвостой, облезлой кошке...

Агамеда с хитрым смешком протянула Катуллу медный кувшинчик.

— Пей, не бойся, может, и не помрешь, — сказала она и подтолкнула локтем Климену. Обе старухи затряслись и заклохтали от смеха. Раскрыв безобразные рты и отвратительно сморщившись, наблюдали, как Катулл

отхлебывает из кувшинчика. «Что ж, они вполне подходят на колдуний из комического мима», — с унылой иронией подумал он. Вино, которое он пил, терпкостью напоминало фалернское, но отдавало причудливым пряным привкусом. Голова слегка закружилась, он сел, наблюдая, как старухи помешивают свое зелье, суетятся вокруг, шепчут непонятные заклинания.

— Тебе придется раздеться и позволить себя связать, — сказала Агамеда и пристально на него воззрилась. Он послушно сбросил плащ, стащил через голову тунику, отстегнул башмаки и растянулся на мягком тряпье, брошенном на полу. Его крепко спеленали широким полотнищем.

Продолжая приговаривать и хихикать себе под нос, старухи намазали ему лицо, грудь и ноги резко пахнувшей, теплой мазью. Внезапно Агамеда выскочила на середину комнаты, расставила руки с растопыренными пальцами и издала пронзительный вопль. Серые космы ее поднялись дыбом, сверкающий глаз вылез из орбиты, она закричала хрипло и дико:

— О Геката — мать волшебства, повелительница злых духов! О Бримо — гневная богиня ночных преступлений! О Тривия — царица ночи! Открой мне, в чем смысл нестерпимой страсти этого человека, открой мне, в чем его заклятье? Прими жертву, Геката! Давай вороненка, сестра...

Агамеда выхватила у Климены взъерошенную птицу, взмахнула ножом и брызнула кровью в угол.

— Прими и помоги, о Геката! — простонала она.

Потом старухи притащили отчаянно скулившего, черного щенка. Агамеда зарезала и его, окропила угол кровью и бросила в огонь щепотку какого-то порошка. Комната озарилась синевато-мертвенным светом, клубами повалил едкий дым. Колдуньи метались, торопливо совершая магические обряды и бормоча заклинания. Климена ударила в гулкий тимпан, Агамеда запела и закружилась в пляске.

Оцепенение давно оставило Катулла, его знобило, отвращение и страх боролись в нем с ожиданием великого откровения. Все яростнее гудел тимпан. Выпучив глаза, скакали лохматые уродливые старухи, и Катулл тоже принялся подскакивать, лежа у стены и подпевая их дикому гимну.

Тяжелый удар потряс дом. Станный, вибрирующий звук донесся из-под земли. Огонь в очаге вспыхнул, взметнулся до потолка и погас. Колдуньи беспомощно распластались, обхватив головы. Катулл, обмирая, почувствовал прикосновение ледяной руки, с отчаяньем увидел, что потолок исчез, стены раздвинулись, и открылась черная бездна ночи... Сверхъестественной властью он, будто запущенный из баллисты, взвился в ночное небо и полетел.

Он летел все стремительнее, выше. Звезды, пылая, мчались навстречу и пронзали насквозь его бесплотное тело. Внезапно в нем возникла сладкая боль ожидания. Он задохнулся от счастья и тогда... Гигантская, вихрящаяся тень вознеслась над ним... Чувствуя, что сейчас у него разорвется сердце, Катулл упал с ужасной высоты и оказался на прежнем месте, спеленутый и намазанный вонючей мазью. Все качалось и вертелось перед глазами, он со стоном опустил голову.

— Приняла жертву! — завопила Агамеда, подскочив к Катуллу. — Смотри! Смотри внимательно! Все поймешь!

Она побежала к дальней стене и распахнула ее, как занавес. Катулл резким движением приподнялся и сел, пораженный открывшимся перед ним видением.

В просторном помещении, освещенном яркими светильниками, стояла Клодия. Это, несомненно, была она. Катулл узнал ее в первое же мгновение. Клодия стояла, наклонив голову с распущенными золотыми волосами, и слегка улыбалась. Ее прелестное лицо, безмятежное и ласковое, поблескивало гладкой белизной мрамора. Катулл рванулся к ней, но Климена шепнула:

— Ни слова, а то все испортишь!

Откуда-то появилось маленькое существо, похожее не то на обезьянку, не то на уродливого ребенка. Гримасничая размалеванным личиком и помахивая пушистым хвостом, существо прыгало на корточках и хватало Клодию за стройные лодыжки. Клодия засмеялась, отстраняясь от назойливых прикосновений, но потом, как будто уступив, стала медленно раздеваться. Она сбросила широкую паллу и потянулась, изгибая великолепное, сияющее розовым отсветом тело. Посмеиваясь, Клодия отгоняла лаптящуюся к ней обезьянку. Выскочила еще одна обезьяна, крупнее и мохнатее первой. Улыбка исчезла с лица Клодии, движения ее стали вялыми и изломанными, она словно начала странный танец, зависящий от вертящихся около ее ног мохнатых фигурок. К ним присоединилась, гнусно ухмыляясь, взлохмаченная, бельмастая Агамеда. Она грубо схватила красавицу за пышную грудь. Рядом кривлялась Климена, колотившая в гудящий тимпан.

Словно из воздуха возникло еще с десяток уродцев — довольно крупных и совсем крошечных, едва заметных. Серой, мелькающей, пушистой стаей они облепили Клодию, беспрестанно ощупывая ее с ног до головы. Клодия закружилась вместе с ними фантастическим многоруким волчком. Разметав волосы, закрыв глаза и вскидывая ногами, она призывала кого-то нетерпеливыми движениями... И вот появилось

огромное и клыкастое чудовище, виденное Катуллом во время прошлого гадания. Одним прыжком чудовище оказалось рядом с Клодией, обхватило ее мохнатыми лапами и со всей воющей и визжащей стаей потащило к ложу, стоявшему в глубине помещения.

Катулл из последних сил старался освободиться от пут, но он был крепко спеленут. Судорожно извиваясь, он бился и разбрызгивал пену, как в припадке падучей. Он потерял способность издавать звуки. Неожиданно обернувшись, Клодия заметила его. Лицо ее страдальчески исказилось, она указала на Катулла рукой. Раздался пронзительный крик — все пропало, и наступила тишина.

Голос Агамеды сказал рядом:

— Ты мог бы победить всех соперников, кроме него...

Катулл взгляделся в очертания нового видения. Черные и красные пятна мелькали, раздваивались, роясь, угасая и вспыхивая, и мешали ему смотреть. Наконец он различил светловолосого человека, стоявшего перед ним с гордым и воинственным видом. В его лице Катулла поразило отчетливое сходство с прекрасным лицом Клодии.

— Вот твоё заклятье! — снова раздался голос Агамеды. — Я разгадала его.

Напрягаясь всем телом, Катулл потянулся к стоявшему, с жадной ненавистью запоминая смелое, нахмуренное лицо. Сильная боль сдавила грудь, он опрокинулся, ударился головой об пол и потерял сознание.

III

Очнулся он перед рассветом, увидел над собой небо и понял, что лежит во дворе, на шаткой скамейке, прикрытой своей одеждой. Расправив затекшие руки, он надел тунику, накинул плащ и, пошатываясь, прошелся по двору. Ему хотелось расспросить Агамеду о смысле ночных видений. Башмаки Катулл не нашел и опасно ступал по остывшей за ночь, усеянной острыми камешками земле.

Небо чуть розовело, на крыше кротко стонала горлица, и суетились воробьи. Протиснувшись в узкую дверь, Катулл оказался в темном коридоре, по которому пришлось пробираться, вытянув руки. Он уже собирался позвать кого-нибудь, как услышал за дощатой стеною приглушенный разговор.

— Петухи пропели, — произнес голос Агамеды.

— Пойду взгляну на него, — сказала Климена.

— Да подожди, он должен дрыхнуть еще, — возразила Агамеда. — Выпьем лучше по стаканчику, подкрепимся. Ночью работа была на совесть. Вон, гляди-ка, Канидия совсем разомлела. Эй, проснись, успеешь выспаться в своей конуре!

— Чего пристала? — сердито зашипела женщина, названная Канидией. — Покою от тебя нет: то гостей принимай, то участвуй в богопротивных гаданиях. Деньги-то сами загребаете, а мне — мышиную долю. Уйду скоро от вас, я вам не рабыня...

— Кому ты нужна, щербатая посудина, толстозадая дура? — засмеялась Агамеда. — В дорогих лупанарах держат таких красоточек — пальчики оближешь... А на тебя польстится разве какой пьяница...

— Ну, уж ты слишком поносишь Канидию, сестра, — вмешалась Климена. — Она недурна собой, зачем зря говорить. И к чему вы ссоритесь, дорогие? Все в порядке, кошелек у меня. Поделим по справедливости... Наливай, Канидия, милашка.

Катулл хватился кошелька и с досады закусил губы.

— А насчет гаданий — не тебе судить, — продолжала за стеной Агамеда, — я в таких делах собаку съела. Разве ты не поняла, что великая Геката приняла жертву?

— Знаю я вас, морочите людям головы... — огрызнулась Канидия. — К тому же ты, старуха, так меня хватанула — на груди синяки... А мерзавка Сцинтилла стала щекотать меня под коленками. Еще немного — я бы

влепила ей затрещину... Клянусь Юноной, к свиньям такие представления!

— Много ты понимаешь! — Агамеда закричала сипло, как простуженная ворона. — Эти ослы ни за что не поверят в истинность гадания, если перед ними не разыграть настоящий мим. Влюбленному заморышу нечего на меня обижаться, я сказала ему правду. Для убедительности я попугала его сначала на кладбище, а потом здесь.

— Ладно, давай деньги, мне пора, — проворчала Канидия. — Почему только тридцать? Опять за свое, одноглазая крыса?

— А за что тебе еще? Ночью тебя никто не мял. Покривлялась, и все... Иди-ка лучше, растрясси Фундания. Проклятый гладиатор вылакал целый кувшин и теперь храпит как зарезанный.

— Чтоб вам сдохнуть! — взвизгнула Канидия. — Клянусь матерью богов, больше вы меня не увидите!

Катулл отшатнулся, покрывшись холодным потом. Значит, эти таинственные колдуньи обыкновенные обманщицы — такие десятками рыщут около Большого цирка в поисках доверчивых простаков. Но все эти ужасные, вещие видения — как они сумели их вызвать? Голова у Катулла болела, он не мог сосредоточиться и разобраться во всем, что произошло. Он решил не показывать старухам, что слышал их разговор. Не следовало ставить себя в еще более глупое положение, чем то, в котором он оказался. Вернувшись, Катулл присел на край скрипучей скамьи.

Из-за угла выглянула Климена, принесла башмаки и кинжал, потерянный им при раздевании. Пока он обувался, старуха молча глядела на него черными колючими глазками и не заикалась о кошельке, хотя он должен был уплатить за гадание только сотню сестерциев.

— Как выйти отсюда? — спросил Катулл.

Клименту засуетилась, услужливо расправляя складки его плаща. Они пробирались узким коридором, натываясь в темноте на шершавые стены. Неожиданно сбоку, в голубоватом утреннем свете Катулл увидел Клодию. Одной рукой она открывала низкую дверцу, другой закалывала на затылке свои золотистые косы. Катулл не поверил глазам, но это была прекрасная патрицианка — ее стройный стан, гладкие изящные руки, прелестная шея и роскошные волосы...

Значит, это все-таки она, бесстыдная и голая, плясала перед ним ночью! Сердце отчаянно застучало в его груди. Он бросился к ней, волоча на себе Климену.

— Куда ты? Опомнись, сумасшедший! — вцепившись в его плащ, хрипела старуха.

— Клодия! — крикнул Катулл и, отшвырнув Климену, распахнул

дверцу, за которой скрылась возлюбленная.

Нет уж, теперь он не даст ей бесследно исчезнуть — он распутает клубок колдовства и обмана и спросит надменную красавицу, зачем она издевается над ним? Как она попала сюда, в этот грязный притон? Но, право, от Клаудиллы можно ожидать любых сумасбродств...

Эти мысли мелькнули в его затуманенном мозгу, пока он бежал за Клодией. Он догнал ее в углу тесной каморки, опрокидывая скамьи, стулья, гремящие котелки и миски. На полу храпел мужчина с бычьей шеей и чудовищно развитыми мускулами. Дрожа от бури противоречивых чувств, едва сдерживая слезы и тяжело дыша, Катулл обхватил плечи Клодии и с силой повернул ее к себе... Он увидел рябоватое лицо с плохо смытыми полосками грима и испуганно вытаращенными глазами. В ноздри ему ударил запах кислого вина и едкого пота — обычный запах жалкой нищеты.

Не сказав ни слова, Катулл вышел во двор и вдруг выхватил из-за пазухи свой кинжал.

— Стой! Что ты хочешь делать, несчастный? — Агамеда бесстрашно подошла к Катуллу и отняла у него кинжал. В то же мгновение из каморки донеслась отвратительная ругань.

— Эй, сводни проклятые! — ревел грубый голос. — Опять привели любовника моей Канидии?

— Уходи поскорее, — увлекая Катулла к двери, шептала Агамеда. — Этот гладиатор силен и свиреп, как бешеный кабан... Возьми свой ножик и не вздумай им размахивать. На меня не сердись. Ночью я открыла тебе истину; подумай над смыслом того, что видел. Чтобы навсегда привлечь к тебе сердце твоей возлюбленной, мне нужны ее волосы, обрезки ногтей и полкиата мочи. Не возражай, найдешь меня, если захочешь... Сцинтилла, проводи господина.

Кудрявая девочка потянула его за край плаща и вывела на заросший колючими сорняками пустырь.

— Там дорога в город, — указав пальцем, сказала она, фыркнула, зажала рот маленькой ладонью и убежала.

Катулл горько усмехнулся, растерянно потер ноющую голову. Его состояние напоминало тяжелое, удручающее похмелье. От него еще пахло снадобьем, которым мазали его старухи, но в душе рассеялся ночной ужас и страстная вера в их магическую силу. Ему было стыдно перед самим собой: принять уличную потаскушку за прекрасную Клодию, за самую очаровательную и изысканную матрону Рима! Конечно, Агамеда заранее узнала, по ком страдает незадачливый проситель, и разыграла все это

похабное действо с поразительным искусством. Старуха могла бы с успехом ставить на подмостках мимы, в этом ей не откажешь. Словом, ему подсунули лихо сыгранную комедию, а он принял ее за таинство. О, неисправимый веронский недотепа!

Придя домой, Катулл переменял тунику и отправился к Клодии, полный дурных предчувствий.

А Клодия только проснулась и принялась потягиваться и выгибаться — с этих движений начиналась ее ежедневная гимнастика, предписанная лекарем Петеминисом. После гимнастики она приняла теплую ванну, потом поплавала в прохладной воде бассейна и блаженно вытянулась на белоснежной простыне. Проворная Хи-она тщательно вытерла ее и умастила благоуханным маслом, поел чего Петеминис долго и осторожно массирует коричневой рукой ее упругий живот. Глубоко дыша полуоткрытым ртом, Клодия, косилась на лекаря, как Венера с мозаичной картины^[150]. Жалкие глаза мужчины приводили красавицу в веселое настроение, даже если этим мужчиной был всего лишь уродливый карлик Петеминис.

Вокруг суетились усердные рабыни, обсуждая вслух, как превосходно госпожа помочилась в серебряный горшок, и какое счастье, что на ее левой ягодице исчез маленький прыщик, омрачавший блеск ее божественной красоты. Закончив всевозможные притирания, рабыни накинули на нее тончайшее египетское полотно, застегнутое на плече изумрудом, и проводили к креслу, стоявшему напротив финикийского зеркала в золотой раме.

И тут вперед выступил тучный грек — знаменитый цирюльник, умеющий создавать на головах римских матрон сложнейшие произведения искусства с помощью фальшивых кос, шпилек, скрытых каркасов, красящих снадобий и других ухищрений; он знал около сотни причесок, и его состояние перевалило за триста тысяч сестерциев.

Знаменитый цирюльник несколько раз собрал и распустил морщины на лбу, поджал губы и глубоко задумался. Служанки хранили почтительное молчание, понимая исключительную важность того, что происходило. Наконец старая нянька Клодии с трепетом приблизилась, наклонилась к его уху и шепотом предложила начинать.

Цирюльник сделал пренебрежительно-обиженную гримасу, оттолкнул побледневшую старуху, после чего проронил несколько слов по-гречески. Рабыни закружились с флаконами, лентами и гребнями. Грек кончиками пальцев притронулся к голове Клодии, распуская ее волосы. Хлынул роскошный солнечный поток, вспениваясь упругими завитками и достигая

мраморного пола. На несколько мгновений цирюльник застыл с поднятыми руками в молитвенном восхищении и, вознеся хвалу богам, приступил к священнодействию.

Обычно госпожу причесывала Хиона, но сегодня Клодия была приглашена в дом богатого всадника Помпония Аттика и потому вызвала самого модного мастера во всем Риме.

Клодия решила, что сопровождающим она возьмет Марка Целия Руфа, которого она встретила два дня назад у храма Сераписа. Руф просил забыть ссору, вернуть ему счастье и наслаждение. Она вспомнила о некоторых его особенностях и снизошла к мольбам черноглазого красавца.

На днях она получила письмо, где сообщалось, что Катулл развлекается на загородной вилле своего дружка Аллия. Катулл действительно не появлялся два дня, и Клодия имела все основания поверить анониму. Пренебрежение к ней не пройдет даром веронцу, решила Клодия, холодно раздражаясь. Как раз тогда она и встретила Руфа.

Глядя в зеркало и лаская глазами свое отражение, Клодия думала о Катулле.

Веронец взволновал ее с первой встречи. Она почувствовала сердечное, давно не испытанное ею влечение. Другие мужчины не занимали так сильно воображение и не заставляли ее внутренне напрягаться. Они были осчастливлены ее красотой и опытностью. Но, когда явился Катулл, Клодия вдруг поняла, что попадает под странное обаяние этого человека, что нехотя начинает играть, представляться не такой, какой она была на самом деле. Своими необузданными ласками Катулл приводил ее в изнеможение — не столько физическое, сколько душевное. Его горячая детская нежность мешала раскрыться всей ее развращенности. То, что Клодия допускала с каким-нибудь хлыщом, она не могла позволить себе с Катуллом. При нем она начинала следить за своими словами и поступками, будто боясь потерять его поклонение, и от этого злилась еще сильнее.

Ей льстило возвышенное обожание поэта, недавно приобретшего всеобщую известность. Но, с другой стороны, ее раздражало, что под именем Лесбии она прославилась больше, чем под своим собственным. При виде некрасивого, но необъяснимо привлекательного поэта у многих самодовольных матрон по-собачьи учащалось дыхание. Когда Клодия появлялась с ним на переполненном зеваками Форуме, ее не покидало ощущение, что внимание падких на всякую новизну римлян привлекает не столько она, сколько этот рассеянный веронец, сочиняющий поразительные по изяществу и искренности стихи.

Умная и проницательная Клодия знала тайные надежды Катулла. При

всем бесстыдстве многих своих стихов, Катулл лелеял в душе идеальный образ жены, скромной и преданной, с тихим голосом и целомудренной улыбкой. Закрывая глаза на действительную сущность возлюбленной, он пытался рядить ее в старомодные одежды добропорядочности.

Многое мешало их счастью: и ее неисправимое распутство, и его требовательность, и зависть, и интриги, и то, что Катулл становился великим поэтом Рима.

Клодия твердо решила: больше ни один мужчина не получит власти над ней — хватит ссор, объяснений и клятв. Она останется такой, какой создали ее боги или природа, как говорил Эпикур, чье философское учение Клодия воспринимала сочувственно, но своеобразно.

Итак, цирюльник тщательно уложил последнюю прядь и поцеловал кончики пальцев.

Правнучка родовитейшего патриция Аппия Клавдия Пульхра, дочь консуляра^[151] и сенатора, сестра двух именитейших матрон республики, одна из которых была женой Луция Лициния Лукулла, а другая — женой консуляра и сенатора Квинта Марция Рекса, сестра сенаторов-оптиматов Аппия Клавдия и Гая Клавдия и сестра непримиримого популяра Публия Клодия, в силу семейных и личных связей находившаяся в центре политической борьбы и светских интриг, вдова покойного консуляра и сенатора Квинта Метелла Целера, Клодия готовилась отправиться на великолепный праздник в общество таких же легендарно знатных и поразительно богатых, как она сама, матрон и нобилей.

Рабыни, не дыша, внесли затканную золотом столу и пурпурный паллий с застежкой из эритрейских жемчужин. Подняв обнаженные выхоленные руки, сверкающие браслетами, Клодия прикладывала к волосам сапфировую диадему. И когда раб-кельтибер с двусмысленной усмешкой доложил, что ее хочет видеть молодой человек по имени Валерий Катулл, она сделала капризную гримасу и отказалась его принять.

IV

Катулл остался равнодушным. Он побрел обратно на Авентин, мрачно раздумывая — просто ли матрона в дурном настроении, или ее оскорбительный отказ следует расценивать как доказательство новой измены.

Его покачивало от слабости. Что-то с ним произошло ночью, когда он, связанный и вымазанный вонючим зельем, смотрел на похабное кривляние: голова гудит, и мысли витают в мутном тумане.

Катулл еле тащился по узким и шумным улицам, уже залитым ослепительным светом знойного дня. Дома он повалился на постель и заснул, не снимая тяжелых башмаков.

День клонился к вечеру, когда он открыл глаза. Подавленность и оцепенение исчезли после крепкого сна, сейчас все чувства его были обострены. Он с отвращением вспомнил о своей глупой доверчивости и с ужасом — об отказе Клодии.

Торопливо заперев дверь, Катулл отправился к Валерию Катону, не раз бывавшему, как он знал, в доме Помпония Аттика, богатого и образованного римлянина, друга изгнанного Цицерона. Катон ласково расспросил веронца и с отеческой улыбкой стал его успокаивать. Не дослушав очередной умной сентенции, Катулл выбежал на улицу.

Кто еще был близок с Цицероном, а следовательно, и с Аттиком? Руф? Негодяй и предатель! Ненависть Катулла к нему не погасла бы и в блаженном забвении Элизиума! Кто же еще? Милый Корнифиций, доброжелательный земляк! Он часто навещал Цицерона и, несмотря на порицание великим оратором поэзии «новых», считался его учеником.

Через полчаса Катулл стучался к Корнифицию... Но того не оказалось дома. Катулл бросился к Кальву. И его нет! О, проклятье! Где он? Под какой базиликой? Виновато покашливая, Квинтилия предложила Катуллу подождать мужа в табличне. Ждать? Ни единого мгновения! Кажется, Корнелий Непот поддерживает с Аттиком самые близкие отношения...

Обливаясь потом, взлохмаченный и усталый, Катулл прибежал к Непоту. Историк встретил его с обычной приветливостью, понял с полуслова и кивнул головой.

— Приготовь ванну, — сказал он рабу, — и принеси синюю хлену. Вот и нарядим тебя в нее, — продолжал Непот, обращаясь к Катуллу, — а я надену патриотическую тогу.

— Пожалуйста, скорее, мой Корнелий, ты видишь, мне не до шуток, — простонал Катулл.

И все-таки прошло больше часа, прежде чем они, выбритые и принаряженные, в сопровождении раба отправились на Квиринал, к дому Аттика.

Тит Помпоний Аттик нечасто устраивал в своем доме званые обеды. И совсем не потому, что воздерживался от расходов, а из чрезмерной осторожности, не желая лишний раз завистливых пересудов об огромном состоянии, которым он владел.

Как только Аттик замечал, что в городе опять возникли беспорядки и назревает мятеж, он скрывался в одно из своих процветающих имений — номентанское, арретинское или апулийское. В дни наиболее опасных смут он уезжал в Грецию, где у него была латифундия.

Устранившись от государственной деятельности, Аттик усиленно занимался финансами и сельским хозяйством. Знающие дельцы утверждали, что его состояние превышает сто миллионов сестерциев.

Тем не менее Аттик вел скромный и незаметный образ жизни. Он с готовностью оказывал денежную помощь любому сколько-нибудь значительному политику, независимо от того, был ли тот в зените могущества или в тени опалы и поражения. Он держался доброжелательно со всеми.

— Аттик предпочитает забыть обиду, нежели за нее мстить, — сказал Катуллу Непот. Он, как и многие, считал Аттика достойнейшим римлянином.

Хотя эта фраза звучит как похвала, подумал Катулл, я никогда не пойму восхищения опасливым благородством и возвышенной трусостью. Впрочем, во времена междоусобной вражды осторожность Аттика воспринимается как поведение разумного и добропорядочного гражданина.

Они подошли к старинному особняку, который осмотрительный миллионер не торопился перестраивать. Сдержанный шум застолья, доносившийся из триклиния, не походил на неистовый гогот оргии, как не походил мирный плеск озера на рев прорвавшего плотину потока. Забавы гостей в доме Аттика не преступали границ изящной благопристойности.

Узнав, что явился Непот с поэтом Катуллом, хозяин вышел им навстречу.

— Милый Корнелий, — воскликнул Аттик, обнимая Непота, — как я рад, что ты изменил свое решение и все-таки захотел побывать на моем скромном празднике.

— Ты знаешь, Помпоний, я не любитель продолжительных возлияний

и светской болтовни, — сказал Непот. — Мне гораздо приятнее усладить душу наедине с двумя-тремя друзьями, сидя в тишине табула. Вот познакомься с нашим знаменитым Катуллом. Ты ведь все время в разъездах, неутомимый хлопотун, и я никак не мог представить тебе Гая.

— Прошу тебя, любезный Катулл, чувствовать себя в моем бедном доме так же свободно, как в своем собственном... — произнес Аттик с фальшивым смирением.

Катулл ожидал, что он начнет осыпать похвалами его стихи и предложит почитать что-нибудь перед гостями, но Аттик только с интересом взглянул на веронца и снова повернулся к Непоту.

— Твои мимы уже закончили представление? — смеясь, спросил Непот. — Прекрасно, значит, я избавлен от необходимости лицезреть их голые зады.

— Что делать, милый Корнелий! — вздохнул Аттик. — Меня и так называют сквалыгой. Пришлось в угоду развратным вкусам устраивать эту мерзкую пантомиму.

Он подозвал одного из снующих по комнатам рабов и сказал, чтобы поставили в триклинии еще одно ложе.

— Боги, как я забывчив! — воскликнул Аттик. — Ведь некоторые гости уже покинули мой дом, и в триклинии освободились места.

— Пожалуйста, Горгоний, — снова обратился хозяин к мгновенно подбежавшему рабу, — постели новые покрывала и поставь чистые чаши.

Аттик принялся рассказывать Непоту о том, что в сенате партия оптиматов приобретает прежнее влияние.

— Я думаю, в Риме водворится наконец долгожданный мир. О Юпитер, разве не величайшим счастьем для государства было бы разумное согласие всех сословий римского народа!

Аттик прижал руки к груди с видом умиления и кроткой надежды. Он даже вытер правый глаз краешком вышитого платка.

Катулл невольно поглядел по сторонам: не слушает ли их кто-нибудь из сенаторов или магистратов? Речь Аттика, несомненно, снискала бы одобрение правителей государства.

— С твоим положением о единении римлян можно было бы поспорить, милый Помпоний... — сказал Непот. — Но ты прав в одном: народ не в состоянии мыслить самостоятельно. Ему необходимы готовые истины и привычные религиозные действия, одновременно и подбадривающие его, и подчиняющие его неустойчивую волю. Однако, пожалуй, прав и Варрон, в своем трактате разделивший богов на «*di certi*» и «*di incerti*» — на тех, о ком нам что-то известно, и на тех, о ком мы не знаем

ничего, кроме названия...

Катулл в нетерпении кусал губы. Пространные рассуждения Непота и Аттика бесили его. Он желал немедленно узнать только одно: здесь ли проклятая шлюха Клаудилла?

— О, простите меня, друзья! Я все еще держу вас вдали от застолья... — спохватился Аттик. — Эй, Горгоний, готово ли ложе для гостей? Мой Корнелий и ты, Катулл, будьте снисходительны к старому Аттику, забывшему о приличиях. Проходите в триклиний, прошу вас. Правда, некоторые славные римляне уже утомились моим гостеприимством, как вы знаете... Первым ушел, к сожалению, Целий Руф. И с ним прекрасная Клодия.

Катулл едва не сбил канделябр, стоявший на мраморной подставке. Аттик с удивлением смотрел на веронца, неожиданно попятившегося к выходу.

Историк догнал его на улице и взволнованно доказывал:

— Мне, наверное, не понять твоих терзаний, для этого я слишком холоден... Но будь мужественным, Катулл. Вспомни древнего Архилоха^[152]...

Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой.
Ободришь и встретишь их грудью, и ударим на врагов!

Из дома вышел Аттик и рабы с факелами. Оглядываясь на них, Непот продолжал удерживать Катулла:

— К чему вызывать унижительную жалость к себе? Вернемся, Гай... Укрепись и вытерпи хоть немного, потом я тебя провожу.

Катулл пытался отвечать Непоту, но не мог выдать ни слова. С видом обреченности и отчаянья он махнул рукой и скрылся.

В последующие дни Катулл несколько раз искал случая увидеть Клодию. Он посылал ей возмущенные и умоляющие письма. Он носил с собой кинжал и намеревался убить Руфа при первой же встрече.

Друзья уговаривали его обуздать свою ревность. Он спрашивает, за что боги наказали его? За слишком сильную, преданную, безумную страсть. Такое могучее чувство не должно обуревать смертного. Боги не прощают пренебрежения. Они позавидовали молитвам, которые поэт кощунственно возносил земной женщине. Зависть богов является его трагической виной и причиной всех бедствий.

Это ему с серьезным видом внушали эпикурейцы, вспоминая о богах только в традиционных клятвах да еще перерабатывая в поэмы эллинские мифы.

Грамматик, философ, отмеченный музами поэт обязан призвать к сопротивлению все силы души и достойно вынести какие бы то ни было мучения. Спокойствие перед лицом любых испытаний и даже смерти — вот свойство истинно достойного человека.

Катулл смотрел на рассудительного Непота, на Кальва и Корнифиция и виновато опускал голову. Он знал, что они не лицемерят, они и правда считают такие черты характера обязательными. Некоторые сомнения внушал Катуллу Тицид со своей египетской бородкой и вкрадчивыми речами, но и его Катулл выслушивал внимательно. Он был согласен с друзьями, хотя поступал все-таки иначе: безвольно и опрометчиво.

Дней через десять он опять явился в дом Клодии и на этот раз был приглашен к ней в конклав. Высокий раб, пропустив Катулла, злобно скривил губы. Рядом оказалась гречанка Хиона, трепещущая от любопытства. Поодаль сгорбился в кресле, будто темная носатая птица, Петеминис.

Голос Катулла доносился из конклава прерывисто, задыхающимися выкриками: «...хватило подлости... с этим мерзавцем... ни капли совести... гнусная язва». Голос Клодии звучал ровно, с насмешливыми интонациями. Упреки Катулла становились все более резкими, и силач-кельтибер подумал, что госпожа прикажет ему вышвырнуть вон непочтительного любовника. Хиона предостерегающе впилась в его руку острыми ногтями:

— С ума сошел, что ли? Да погоди, стой на месте, дурак!

Опьяневшая от веселого возбуждения гречанка восхищенно таращила глаза. Из конклава летели ругательства, которые услышишь разве что среди погонщиков мулов. Клодия потеряла терпение и тоже отвечала ревнивцу, не стесняясь в выражениях. Катулл топал ногами, плевался и поносил самыми оскорбительными словами Руфа, Клодию, ее брата и всех на свете...

Вдруг он умолк, потом еле слышно пробормотал что-то... кажется, молил о прощении. Трое, изогнувшись, застыли в позах «подслушивающих», как персонажи комической пьесы. Клодия презрительно крикнула в ответ и расхохоталась, захлебываясь и взвизгивая.

Кельтибер и Хиона отскочили в стороны. Дверной занавес отодвинулся, вышел Катулл. Лицо его почернело, глаза закатились, как у припадочного. Он стоял, никого не видя, и нелепо водил по лицу рукой. Шатаясь, сделал несколько шагов... побежал мимо статуй, курильниц, канделябров. Дрожа от нетерпения, Хиона юркнула в конклав, где госпожа никак не могла успокоиться — все смеялась. Лекарь Петеминис, по-прежнему скорчившись в кресле и наклонив лысую голову, глядел вслед Катуллу: казалось, глазницы его были пусты, и за их отверстиями тускло чернела бесконечная бездна ненависти.

Неподалеку от особняка Клодии бронзовая нимфа горевала над расколотым кувшином, из которого лилась неиссякаемая струя. Опершись на тросточки, у фонтана стояли два молодых человека. Перемигиваясь, они наблюдали, как захлопнулась дверь и веронец, волоча ноги, побрел прочь.

— Клаудилла пригласила меня нарочно к этому часу, вот выдумщица... — пожимая плечами, сказал Целий Руф.

— *Vae victis!*^[153] — насмешливо произнес Тицид. — Что ж, дорогой Руф, прелестнейшая матрона позаботилась развлечь нас.

— От жары можно взбеситься... Зайдем к Клодии, выпьем по чаше вина со льдом...

— Ну уж нет. Я не собираюсь тебе мешать.

Злорадно усмехаясь, Тицид отправился за Катуллом и долго следил за ним, пока не убедился, что веронец вошел в свое жилище на четвертом ярусе кирпичного «острова».

Дома Катулл не стал рыдать и метаться. Он развернул свиток со стихами Сафо, долго читал, хмурясь и вздыхая. Потом бродил по комнате, пил воду из кувшина, брал в руки стиль, вощеную табличку и что-то писал.

Стены накалились к вечеру, даже воздух около них мерцал и струился. В комнате было так душно, что голова звенела, дыхание затруднялось. Катулл снял тунику и лег. Он смотрел в потолок, по которому передвигался отсвет закатного солнца, проникавшего через узкое окошко под потолком.

Глаза его, не отрываясь от этого отсвета, то загорались энергичной мыслью, то застилались грустью.

Он лежал, разморенный духотой и печалью, пока не загустела тьма и первая звезда не заглянула в оконце. Тогда он поднялся, выбил огня и зажег бронзовый светильник — подарок Кальва. И так сидел голый перед светильником, ужасаясь своему бесконечному одиночеству.

Во времена его согласия с Клодией, даже в дни ссор и мимолетных измен он надеялся, что так или иначе их отношения возобновятся. Его печаль и отчаянье не были такими мертвенно-покорными, безнадежными, какими ощущались теперь. Все радостное в жизни кончено для него навсегда. Он с позором изгнан из дома Клодии и из ее сердца, конечно, тоже.

Никогда больше Катулл не дотронется до ее руки, разве что за порогом смерти. Да существует ли в действительности подземная юдоль — с Хароном, перевозящим через реку забвения толпы скорбных теней, с трехговым псом Цербером, с судьями Эаком и Радамантом, с чудовищами и химерами? Ни Сократ, ни Аристотель, ни Эпикур — величайшие мудрецы Греции — не верили в это. Может быть, в каких-то иных, неведомых еще людям сферах витают души умерших, и там только Катуллу предстоит коснуться родной души Спурия и приблизиться к гениальной Сафо.

Катулл, раздумывая, качал головой и делал угловато-резкие, произвольные жесты. Потом что-то припомнил, с отвращением отпрянул от чего-то неведомого и будто увидел себя со стороны: голый, взлохмаченный человек прыгает обезьяной по тесному, ограниченному кирпичной кладкой пространству, гримасничает и несвязно бормочет, воображая себя страдальцем и великим поэтом. Видеть это было настолько постыдно, что захотелось воткнуть этому самовлюбленному дураку кинжал под левый сосок.

Усилием воли Катулл отвлек себя от вполне оправданного искушения и тут заметил крошечное желтенькое насекомое, ползающее по стене. Катулл раздраженно сгонял этого прыткого жучка, клопа или мушку, — насекомое исчезало, но опять и опять появлялось, суетливо толклось, мелькало, лезло в глаза, доводя его наконец до бешенства. Огонь светильника дрожал и кружился, стены отодвигались вдаль, нагнетая бредовый ужас, а мушка все ползала и ползала перед ним.

Он понял, что надо взять себя в руки или завтра будет поздно. Порылся в сундучке, достал настой чемерицы — лекарства от ипохондрии и безумия. Чемерицу принес ему Корнифиций, который сам воспользовался

ею около года назад и испытал ее благотворное действие. Разбавив настой вином, Катулл выпил его и улегся лицом вниз. Сон не приходил, но ему уже не было страшно, только глубокая тихая печаль владела им. Он закрыл глаза и предался воспоминаниям.

Это произошло с ним в тот поздний вечер, когда он бежал из дома Аттика. Вернулась его старая неизлечимая болезнь — мучительное наваждение ревности. Он глухо рыдал и хрустел зубами, представляя Клодию в объятиях Руфа. Видения их ласк становились все бесстыднее, и Катулл завывал от горя, как больной пес.

Он шел, спотыкаясь, по опустевшим улицам, гонимый изощренной пыткой, придуманной для него судьбой. Он обходил редких прохожих, прижимаясь к стенам домов, ускользал от света факелов и вопросов ночной стражи, шарахался от шепота невидимых в темноте женщин и продолжал идти через опасный, призрачный Рим.

Сам не зная каким чудом, он отыскал в пригородном поселке за Тибром убогую хижину Агамеды.

Ни один злобный разбойник не настиг его в путанице римских улиц, не удушил, не зарезал, не отобрал кошелек и дорожную накидку. Ни один пьяный верзила не оскорбил его и не ударил. Он мог бы стать добычей изуверов из тайной восточной секты и истечь кровью в каком-нибудь подвале перед их смрадным алтарем или попасть в гнусный притон одетых в женские платья распутных скопцов — безбородых жрецов Кибелы... Наконец, его могли загрызть бродячие собаки, или он сломал бы ногу, упал с моста и утонул в Тибре...

Судьба хранила его на этот раз, и он добрался благополучно.

Катулл стукнул в ветхую дверцу. Она отворилась, будто его здесь ждали, и костлявая рука Агамеды поднесла светильник к его лицу.

— Входи, — сказала Агамеда, несколько не удивившись.

— Где женщина, которая напомнила мне... ту, которую я люблю?

— Ее можно будет найти завтра.

Катулл бросил на пол глухо звякнувший кошелек.

— Она нужна мне сейчас... — прохрипел он.

— Климена, отсчитай пять сестерциев, а остальное верни, — сказала Агамеда сестре. — Отведи его к Канидии. Скажи, что я приказала.

Катулл долго ждал в темноте. За перегородкой шептались. Потом Катулл увидел высокую тень удалявшегося мужчины. Климена зажгла плоску с маслом и захихикала:

— Вот наша Канидия... Желаю приятно провести время, мой дорогой... Да поддержит тебя Приап...

Катулл нетерпеливо топнул, старуха исчезла. Катулл сел на скамью и поднял глаза — перед ним в полутьме стояла... Клодия. Лицо почти не было различимо, но фигура в длинной белой тунике и золотистые волосы, небрежно заколотые на затылке и падавшие на плечи длинными прядями, несомненно, принадлежали прекрасной патрицианке. И все-таки перед ним стояла всего лишь проститутка Канидия.

— Ты дашь мне десять... нет, пятнадцать сестерциев? — спросила она.

Катулл привлек ее к себе и жадно гладил покатые плечи и стройную шею. Он боялся посмотреть ей в лицо.

— Погаси огонь... — сказал он.

Канидия дунула на светильник и привычным движением сбросила тунику. Потом она опустилась на колени и прижалась к нему. Пышные волосы, которые она распустила, тряхнув головой, накрыли его легким плащом, он ощутил упругость ее тела.

— Не томись.... — шептала Канидия. — Я полюблю тебя от души, я ведь добрая...

Катулл плакал от унижения, проклиная себя за то, что таким способом решил рассеять свою тоску. Ему претила продажная нежность Канидии, играющей для него роль возлюбленной; он чувствовал, как он жалок даже в глазах этой все повидавшей, немолодой проститутки. Он хотел встать, но Канидия его удержала.

— Останься, куда ты денешься ночью? — сказала она, целуя его в мокрую щеку. — Плюнь на все, дружок... Забудь свою злую гордычку... Я думаю, ты хороший человек, вот тебе и не повезло...

Когда заголубел рассвет в щелках каморки, она спросила его:

— Не спишь? — и похвалила: — Ты ретивый жеребчик. Чего еще нужно твоей милой, уж не знаю.

Катулл без отвращения глядел на ее плоское, рябое лицо. В ее хрипловатом голосе и мягких движениях было что-то неуловимо напоминающее Клодию, кроме явного сходства фигуры и роскошных волос.

— Ты любишь стихи? — неожиданно спросил Катулл.

Канидия лукаво посмотрела на него круглыми глазами: видимо, мужчины, которых она знала, никогда не задавали ей таких вопросов.

— Конечно, люблю. — Канидия засмеялась. — А ты думаешь, я только на одно и способна? Нет, дружок, я и в стихах малость разбираюсь. Но больше всего мне нравится, когда их поют. Мой отец этруск из Арреция. Этрусски — народ музыкальный, у нас часто поют и играют на разных инструментах.

Наклонившись к Катулле, Канидия вполголоса пропела песенку о моряке, уплывшем на крутобоком корабле в далекие страны, и о верной его подружке, которая ждет не дождется возвращения бравого парня. Катулл слушал с удовольствием... Отбросив последние сомнения, Канидия стала считать его славным и непритязательным малым.

— Еще мне запомнилась любовная песня о воробышке... Ты не знаешь ее?

Катулл насторожился и покачал головой.

— Клянусь Венерой Мурсийской, моей покровительницей, я никогда не слышала приятнее слов, чем в этой песенке, — продолжала Канидия. — Ее пел один юноша, который ходил ко мне в прошлом году. Милый юноша, я даже его запомнила. — Она произнесла последние слова с гордостью и посмотрела, какое впечатление они произвели на Катулла. Он поднял брови и поощрительно улыбнулся.

— Вот послушай, — сказала Канидия и запела известную песенку на слова Катулла:

Милый птенчик! Услада моей милой.
Как забавно она с тобой играет,
Подставляя под клювик свой мизинец,
Ожидая, чтоб яростно ты клюнул.
Когда девушке юной и расцветшей
Позабавиться так придет желанье,
Знаю — это затем, чтоб малой болью
Приглушить хоть на миг пыланье страсти.
О, когда бы и мне, с тобой играя,
Облегчить свою страждущую душу!

— Правда, хорошо? — спросила Канидия, кончив петь. — Что с тобой? Опять вспомнил про свою красотку или сердце кольнуло? У меня иногда бывает — сожмет так, что дышать не могу. Почему ты молчишь? То прибежал ночью заплаканный, потом оказался ненасытным и ласковым, а теперь уходишь, ни слова не говоря...

Катулл оделся, и Канидия увидела щеголя в дорогой тунике, башмаках с серебряными застежками и синей накидке. Так же молча Катулл высыпал перед ней горсть монет.

У соседнего домика плешивая сморщенная старуха кормила голубей. Навстречу Катулле мальчишки гнали стадо овец и коз. Бородатый мужчина

запрягал мула в двухколесную повозку.

— Ты в город? — обратился к нему Катулл. — Я заплачу. Довези меня до Авентина.

— Я еду на рынок, к Эмпорию, — проворчал бородач. — Садись, если тебе по пути.

Повозка скрипела и кренилась на дымящейся серой пылью дороге. Катулл, задумавшись, смотрел, как заря разгорается над холмами. Две собаки бежали за повозкой, высунув языки. Возница замахивался на них с руганью, они отскакивали, трусливо поджимали хвосты, но упорно бежали по обеим сторонам дороги. Они сопровождали Катулла до самого Сублицийского моста.

Кончалось лето в год консульского правления Спинтера и Пия Метелла^[154]. Цезарь продолжал завоевывать Галлию; Клодий мутит плебс и конфисковывал имения оптиматов, обвиняя их в государственных хищениях. Сенат ждал возвращения Цицерона, чтобы продемонстрировать свое единство, а пропретор Гай Меммий Гемелл готовился к наместничеству в Вифинии.

Римский аристократ Меммий был постоянным членом литературного кружка неотериков. Как политик он снисходил к рвению молодых муниципалов. Сейчас он стал наместником провинции, и нужно было устроить так, чтобы в его свиту попал кто-нибудь из друзей-транспаданцев. В Вифинии они смогли бы поправить свои денежные дела и приобщиться к государственной службе.

Друзья спорили, предлагая друг другу уехать. Катон не хотел покидать Рим. Он страдал, расставаясь со своими учеными занятиями. Фурий Бибакул, несмотря на бедность, предпочитал находиться рядом с Катоном. Он готовился отнести издателям переводы эпиллиев Эвфориона и тем самым произвести потрясение в поэзии. Непот усиленно занимался историей, а Вар — многообещающими в отношении оплаты тяжбами. Его адвокатура приносила верные деньги — к чему менять ее на ожидание сомнительных доходов в разоренной Вифинии? К тому же Альфен Вар предпочитал избегать особенной близости с врагами Цезаря: последнее время «кремонский башмачник», как шутя называли Вара друзья, с видимым одобрением прислушивался к вестям о победах галльского императора. Корнифиций надеялся, что с восстановлением прежнего положения Цицерон поможет и ему проявить находящиеся без применения ораторские способности.

Трое молчали: Цецилий — юный поэт, приехавший из города Новум Комум, беспечный Цинна и мрачный Катулл. Катон посмотрел на них вопросительно. Цецилий покачал головой и объявил, что он вскоре должен вернуться к нежно любимой жене.

— Я воздержусь от путешествия в Вифинию, хотя там находится почитаемое святилище матери богов Кибелы, — сказал юноша с улыбкой наивного самодовольства. — Лучше я напишу поэму о великой владычице, сидя дома...

— Гай, ты бы не хотел посетить могилу твоего бедного брата? —

спросил у Катулла Корнифиций.

Катулл вздохнул и ответил утвердительно.

Итак, кандидат в свиту Меммия нашелся. Вместе с Катуллом согласился ехать Цинна, заявив, что ему нужны впечатления для будущих поэтических замыслов. А Катулл думал о необходимости скопить денег: надо было уплатить долги и хотя бы на время обеспечить свою дальнейшую жизнь.

Хотя измена Клодии угнетала и томила душу, он старался забыть о ней, находя утешение в приготовлениях к предстоящему путешествию. Катулл написал отцу о своем намерении отправиться в Вифинию и почтительно спрашивал его мнения.

Ответ пришел через неделю. Отец желал ему удачи на новом поприще. Он предпочел бы видеть сына среди сподвижников Цезаря, но само решение беспутного поэта обратиться к государственной службе не могло не вызвать одобрения у старого муниципала. С письмом отец прислал пятьдесят тысяч сестерциев для начала успешного путешествия. Он просил найти место, где захоронен пепел Спурия, и совершить погребальное жертвоприношение.

Между тем Валерий Катон хлопотал о зачислении Катулла и Цинны в свиту Меммия. Немало приятных часов Меммий провел с «александрийцами» в застольях и развлечениях, в поэтических соревнованиях и беседах, я все же сразу обратиться к нему со столь щекотливой просьбой даже председателю кружка казалось неловким. Нельзя сказать, что Гай Меммий проявлял высокомерие, находясь в обществе поэтов-транспаданцев, но... серьезно подумав, Катон решил пойти к весельчаку Аллию, не уступавшему Меммию связями и знатностью рода.

Встреченный Аллием с любезностью и гостеприимством, Валерий Катон осторожно изложил просьбу о содействии Катуллу и Цинне. Катон говорил и с огорчением замечал, как меняется выражение лица у добродушного толстяка, как холодеют его глаза. Казалось бы, чего проще — включить двух образованных юношей в пеструю свиту наместника. Но Катон понял, что это будет нелегким делом. Весьма основательные возражения Катон услышал не от кутилы и стихотворца Аллия, а от патриция Луция Манлия Торквата, следующего сословному правилу нобилей оберегать даже самые незначительные должности от выскочек-муниципалов. Только через час Катон сумел добиться его обещания замолвить Меммию несколько слов.

Объединившись с Корнелием Непотом, Катон отправился к Гортензию

и другу Цицерона Помпонию Аттику. Он нашел у них такой же любезный прием и уклончивость в обещаниях.

Через два дня Гай Меммий знал о просьбе Катона. Среди срочных дел, предваряющих выезд в провинцию, Меммий выбрал время, чтобы лично побеседовать с ним. Меммий был другом известного свободомыслием Лукреция Кара, он был светским человеком и не стал изображать напыщенного вельможу.

Меммий пришел к Катону и, расположившись в кресле, спросил:

— В каком качестве, дорогой Катон, ты мечтал бы увидеть Катулла и Цинну в моей когорте? Сенат не позволит взять их на должность легатов, военных трибунов или доверить им казначейские ключи квесторов... (Меммий с усмешкой пожал плечами.) Мне кажется, им не подходят и места счетоводов, кладовщиков, надсмотрщиков или курьеров. Наконец, они не медики и не солдаты. Согласись, если я приглашу их с собой просто как любопытствующих путешественников, то это вызовет со стороны сената сомнение в моих способностях подобрать людей для управления провинцией (Меммий хитрил: с ним ехало достаточно бездельников из знатных семей, предполагавших пограбить жителей завоеванной страны).

— Ты напрасно думаешь, будто они будут тебе в тягость, — возразил Валерий Катон. — Здравомыслящий человек поймет, что в окружении римского наместника должны находиться философы, художники и поэты. Запечатлеть нравы, смягчающиеся под влиянием справедливости и просвещения, увековечить славные дела и сам облик благородного правителя — вот их назначение... (Катон пустился в не свойственные ему, лукавые рассуждения.) Катулл и Цинна образованные, толковые люди, они могут принести пользу в составлении планов, реестров, донесений и прочих документов. Вспомни: с Александром Великим во всех походах находились философ Каллисфен и скульптор Лисипп. Говорят, в свите Цезаря преобладают заурядности...

Этот затянувшийся разговор не походил на искреннюю беседу единомышленников и товарищей по литературному кружку: под любезными фразами, прикрытыми внешним доброжелательством, таилось противоборство. Но Меммий не желал дурной молвы о себе среди влиятельных муниципалов. Он согласился принять в свиту Катулла и Цинну на неопределенном положении «друзей».

Меммий еще не вполне утвердился в своем решении, когда в таблин вошел Кальв. Несколько минут он молча прислушивался к разговору, потом сказал:

— Я не знаю, что будет делать Катулл в Вифинии, исполняя

обязанности писца или счетовода, но в поэзии он достиг поразительных высот.

— Только сейчас я говорил о том же любезному Меммию... — снова оживился Катон.

— Ты не знаешь последних стихов Катулла, — прервал его Кальв. — Я их принес, слушайте...

Катулл измученный, оставь свои бредни:
Ведь то, что сгнуло, пора считать мертвым.
Сияло некогда и над тобой солнце,
Когда ждала тебя к себе дева,
Тобой любимая, как ни одна в мире...
Но вот, увы, претят уж ей твои ласки...
Так отступись, остынь! Не рвись за ней следом,
Будь мужествен и строг, перенося муки...

Кальв на мгновение умолк, в его черных глазах стояли слезы. Все слушали не дыша. Кальв продолжал читать:

Прощай же, милая! Катулл сама гордость.
Не будет он, стеная, за тобой гнаться.
Но ты, жестокая, не раз о нем вспомнишь.
Любимая, ответь, что ждет тебя в жизни?
Кому покажешься прекрасней всех женщин?
Кто так тебя поймет? Кто назовет милой?
Кого ласкать начнешь? Кому кусать губы?
А ты, Катулл, терпи! Пребудь, Катулл, твердым!

— Наверное, это лучшее из того, что Катулл посвятил Лесбии, — сказал Непот, вставая и взволнованно расхаживая по таблину. — Но сколько тоски и отчаянья! Сколько борьбы с этой мучительной страстью!

— Только ты в силах спасти Катулла! — воскликнул Катон, обращаясь к Меммию. — Длительная разлука с неверной возлюбленной окажется для него благотворной.

Меммий очнулся от катулловского колдовства и принужденно засмеялся:

— Я готов распять Катулла и пытаться его каленым железом, чтобы он и

дальше писал такие стихи, — сказал он. — Ты прав, мой Катон, ему следует на пару лет покинуть Рим. Я беру с собой веронца и распутного мальчишку Цинну. В конце концов, я прежде всего поэт, а потом уж политик.

Сборы перед началом путешествия подходили к концу. Меммий несколько раз устраивал шумные пиры и, приглашая Катулла, просил его читать новые элегии. Катулл выглядел довольным своей поэтической славой, хотя его остроумие граничило с дерзостью, а веселость — с надрывом. Он отказывался читать элегии, предпочитая забавляться грубой эротикой.

На одном из пиров Катулл увидел красивого бледнолицего человека, который предлагал захмелевшим гостям свои тщательно отделанные стихи. В них он подробно излагал материалистическую теорию Эпикура. Это был близкий друг Меммия, философ Лукреций Кар. Послушав, Катулл пренебрежительно пожал плечами: ему не нравились философские трактаты, медицинские справочники и кулинарные рецепты, уложенные в стихотворный размер.

Пока Катулл веселился, Валерий Катон успел издать новый сборник, куда включил две его элегии. Рим заговорил о разрыве поэта с красавицей Клодией, воспетой веронцем под именем Лесбии, и о скором его отъезде в далекую Вифинию. Многие римляне воспринимали это известие, как желание поэта бежать прочь от жестокой патрицианки, от друга-предателя, от своей иссушающей страсти. Женщины вздыхали, читая строки безысходной тоски, молодежь превозносила гений веронца, а старики брюзжали: «Раньше римские граждане всю силу души и тела отдавали служению республике, ее процветанию и свободе; теперь они проводят время в бездействии и разврате, слезливо сетуя на немилость какой-нибудь вертихвостки, и тем привлекают сочувственное внимание общества. Какая удручающая безнравственность! И таких праздных, опустившихся шалопаев еще берут в свою когорту назначенные сенатом преторы...»

Друзья желали Катуллу новых впечатлений и успешного обогащения. Только Кальв, посмеиваясь и похлопывая веронца маленькой ручкой, напоминал ему назидательные стихи Фалека:

Дела морского беги. Если жизни конца долголетней
Хочешь достигнуть, быков лучше в плуги запрягай.
Жизнь долговечна ведь только на суше, и редко удастся
Встретить среди моряков мужа с седой головой.

К чему тебе рисковать среди «валов багрово-мрачных вод»^[155] и скитаться в горах Азии? — продолжал Кальв. — Недалеко и до беды — разбойники, дикие звери, лихорадка могут тебя погубить, как твоего бедного брата. Оставайся-ка лучше в Риме, страдай и пиши душераздирающие элегии. Благосклонные Музы-Пиериды привыкли к твоим воплям по Клодии и продолжают тебя опекать. Но в плаванье они вспыхнут ревностью к морской нимфе Галатее или к какой-нибудь портовой девке и лишат тебя вдохновения. Клянусь Фебом, остановись, пока не поздно! Как, ты не слушаешь моих мудрых советов? Ну, раз ты непреклонен, то, надеюсь, все же возвратишься живым и невредимым и будешь радовать меня своими безделками... — И Кальв поцеловал Катулла в подбородок, поднявшись на цыпочки.

Гельвий Цинна собирался взять в Вифинию свою поэму, которую он писал в редкие часы, свободные ют походов и кутежей. Катулл положил в сумку только стопку воцеленных табличек и два стилия — костяной, обгрызенный с тупого конца, и золотой, подаренный ему однажды молодыми актерами. Книги и остальное имущество он вместе с сопроводительным письмом отослал в Верону. Предусмотрительный Непот посоветовал Катулла не забыть теплую одежду, потому что в Вифинии дуют зимой северные ветры с бурного Понта, приносящие снегопады и дожди.

Уплатив за квартиру в домовой конторе, Катулл почувствовал себя свободным от житейских хлопот и с некоторой растерянностью дожидался отплытия. Наутро он пошел к Аллию проститься и поблагодарить за содействие. Жара стояла ужасная, они выпили только по одной чаше масикского, расцеловались, и Катулл отправился домой. Спускаясь по крутой улице Палатинского холма, он услышал смех и громкие восклицания. Среди этого веселого хора звучал голос, который он не мог спутать ни с каким другим женским голосом.

Рослые рабы вынесли из-за поворота лектику с отдернутыми в стороны занавесками. В лектике сидела Клодия, она смеялась, запрокинув белокурую голову и держа в руках «охлаждающий» хрустальный шар^[156]. Рядом с ней приплясывал пьяный шут, изображавший непристойную пантомиму. Вокруг хохотало несколько вспотевших щеголей. Среди них и смуглый красавчик Руф корчился от смеха, размахивая своей тросточкой. Эта компания вела себя неслыханно, бросая вызов благопристойной тишине аристократического квартала.

Катулл будто получил удар в грудь. С остановившимся сердцем он

прижался лицом к колонне, накрыл голову краем тоги и замер, стиснув зубы и боясь услышать обращенный к нему волшебный голосок Клодии. Но его не заметили. Клодия со своими поклонниками удалилась, а помертвевший Катулл еще долго стоял, прислушиваясь к ее смеху.

Наконец он побрел дальше, унылый и опустошенный, с ноющим сердцем. Он шел, убыстряя шаги и направляясь туда, где бывал дважды, — за Тибр, к бельмастой колдунье Агамеде.

В заречном поселке Катулл долго плутал по узеньким закоулкам, пока не сообразил, что домика Агам еды не существует. Вместо него лежала груда искрошенных в щепки досок и битый кирпич. На рынке не оказалось и старой Климены с ночными посудинами. Удивленный, он поспешил в грязную харчевню «Обед Геркулеса». Около харчевни, в тени кривых вязов, все так же валялись пьяницы, дрались из-за объедков собаки, а на вывеске урод грыз свою кость.

Катулл вызвал хозяина. Одноглазый грек отвел его в сторону и сказал:

— Агамеда уже неделю гниет во рву, а ее неуспокоенная тень является по ночам и просит монетку для перевозчика Харона... Помяни бедную старуху. Принеси в жертву черного петуха перед статуей трехликой Гекаты, — все же Агамеда точно была колдунья и знала свое дело, хотя кровь ни у кого не пила и мертвецов не вызывала... А уж как заговаривала головную боль! Но если нужна хорошая гадалка, я могу найти для тебя другую.

Катулл ушел, расстроенный печальным известием. Со смертью Агамеды будущее навсегда останется скрытым от него, теперь он вынужден покорно ждать милостей капризной Фортуны и того неизбежного мгновения, когда внезапно Парки^[157] перережут нить его жизни. Возвращаясь, Катулл невольно подумал о жалком конце колдуньи... Он ей наивно верил вначале, да и теперь, по здравом размышлении, находил в ее колдовстве, кроме балаганных кривляний, необъяснимую силу ясновидения.

Дома он просмотрел дорожные сумы и сел на стул, не зная, как убить время. К вечеру постучался раб Валерия Катона и передал Катуллу табличку, в которой добрый Катон сообщал, что он должен явиться на рассвете к тибрской пристани: там собираются отплывающие с пропретором Меммием.

Значит, он покидает наконец пышный, надменный, преступный Рим — город его страданий и поэтической славы. Прощай, жестокая изменница Клаудилла! Прощайте, умные, веселые друзья и брызжущие злобой враги! Что теперь Катуллу до интриг и зависти бездарных соперников! Впереди неверные хляби синих морей, древние города Греции и Азии, впереди

жизнь, непохожая на все прежнее, уже познанное им. Может быть, среди диких лесов и заснеженных гор, среди священных полей Трояды он обретет свободу и ясность души, обретет не испытанное еще вдохновение и счастье. Туда, к грозным скалам и заповедным чащам Великой Матери богов — Диндимены!

При свете факелов от Эмпория отплыла вереница груженных барок. Оказалось, Меммий прибыл в морской порт Остию накануне и ночевал на пиршественном ложе в триклинии одного из своих друзей. То, что Катулл и Цинна приехали позже, вместе с грузом провианта и мелкими служащими, имело некое символическое значение, если, конечно, не было просто забывчивостью Меммия.

Когда Катулл и Цинна явились на причал Остии, там уже совершались жертвоприношения перед статуей Нептуна — в море лилась кровь жертвенных животных, вино и оливковое масло. Меммий наблюдал эту процедуру, слегка покачиваясь и опираясь на плечи рабов. Его свита зевала, искала и почесывалась. Подойдя к пропретору, поэты почтительно поднесли руки к губам. Меммий сделал приветственный жест и сказал им без всякого смущения:

— Вам повезло, вы спали ночью, а здесь была грандиозная попойка...

Богослужение закончилось. Начальник остийского порта и посланец сената произнесли напутственные речи, после чего наместник со свитой, служащие, легионеры, моряки и рабы поднялись на палубы, и корабли отвалили от италийского берега. Впереди, всплескивая пятью рядами весел, плыла огромная, раззолоченная пентарема наместника, за ней — две военные триремы с катапультами и баллистами и несколько легких галер.

— До какого времени дотянули... Скоро начнет дуть Фавон^[158], забурлит море, и польются дожди... — ворчал стоявший недалеко от Катулла моряк в шерстяном колпаке.

— Неужели опасно? — спросил кто-то.

— Осень на носу, навигация закрывается...^[159]

Катулл не ощущал страха перед возможными бурями. Он был опьянен радостью новизны и свободы. С его глаз словно упала повязка: мир виделся ярким, свежим, широко раскрывшимся перед ним в неумолчном шуме и движении волн.

Проходя в свои покои, Меммий сказал Катуллу:

— Можешь придумать вступление к новой «Одиссее»... Случай вполне подходящий... — Меммий шутил благожелательно, как приличествует просвещенному начальнику, однако его сильно побалтывало

и кренило, — Меммий был еще пьян.

Катулл неопределенно улыбнулся, ему не хотелось изощряться в остротах; модное пустословие казалось ему недостойным величавой картины моря, неумолчным ропотом и ласковым сиянием окружившим его.

— Лучше бы сам попробовал сочинить что-нибудь толковое, — прошипел Цинна, его злила пренебрежительная, как он считал, забывчивость Меммия, не пригласившего их на пир.

Слышались мерные удары бубна, поощрявшего гребцов к одновременному опусканию весел. Раздавался повелительный голос начальника пентаремы и возгласы матросов, крепивших снасти. Катулл жадно вдыхал чистый и синий воздух. Светлые брызги долетали до его лица, оставляя соль на губах.

Зарево разливалось над берегом, окрашивало пологие скаты волн и бросало в глаза ослепительно искрящиеся, веселые блики. Катулл все оставил в прошлом и безоглядно, с юной надеждой устремился в загадочную даль своей, катулловской «одиссеи».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Каменистая коса лежит на поверхности озера, грея спину среди плеска ленивых волн и звона цикад. Она будто собралась оторваться от берега и уплыть на север, туда где озеро темнеет, сдавленное крутыми отрогами. Это и есть полуостров Сирмион на Бенакском озере. Дед Катулла выстроил здесь виллу по римскому образцу. Вилла сложена из светлого камня. В перистиле цветут розы, стены пристроек темно-зеленым ковром покрывает плющ.

Ранним утром Катулл выходит из боковой дверцы, озирается, потягивается, блаженно щуря глаза и улыбаясь. На живописной мусорной куче копошатся пыльные куры, собака, опустив уши, дремлет в тени, по черепичной крыше, воркуя, ходят мохнатыми лапками белые голуби.

Катулл глядит на пленительную картину озерной глади, на приглушенные расстоянием краски противоположного берега. Он не устает удивляться поразительной чистоте воды: виден каждый камешек, каждая раковина и бойкая рыбешка.

Благословенный Venacus не знает сильных волнений, горы закрывают его от резких ветров. Даже зимой, когда в Вероне свирепствует ненастье, на озере тепло и безветренно. Но если с альпийских ледников дохнет зябкая свежесть, то и летом поверхность его мерцает рябью, берега окаймляются пеной и слышится любимый Катуллом шум «морского» прибоя. С какой драгоценностью сравнить цвет этих спокойных заливов? С бериллом и сапфиром? Или с тем персидским камнем, что приносит людям желанное долголетие?

Вид Сирмиона, пронизанной солнцем воды и холмистого берега разгоняет печаль. Впрочем, Катулл и не грустит. Он погружается в занятия поэзией, как в очищающий источник, еще более целительный, чем красота природы. Кропотливая работа над самыми легкомысленными стихами и раньше была ему свойственна, а теперь — он пишет поэму. На Сирмионе нет места унынию, здесь он ощутил ясную уверенность в своих силах.

Катулл спускается по извилистой дорожке, сбрасывает сандалии, тунику и, похрустывая камешками, идет к воде. Ласковая, прохладная, она льнет к его ногам и зовет вкрадчивым плеском. Катулл кидается годовой в сумрачную глубину, долго скользит под водой, с замершим сердцем вырывается на поверхность, жадно вдыхает и плывет вперед, к чернеющим среди голубого сияния рыбацким лодочкам. «Э-э-эй!..» — доносится

оттуда. Катулл машет рукой, поворачивает и, убыстря взмахи, плывет обратно.

Он выскакивает из воды, весело вздрагивает и смеется. Несколько минут он стоит обнаженный, пока солнце сушит его плечи и грудь, потом надевает тунику, берет в руки сандалии и бодро поднимается вверх. Остановившись на ребристом уступе, он ищет глазами рыбаков, снова машет рукой, звонко кричит и с удовольствием слушает ответный протяжный крик.

В доме прохладно. Катулл пишет не менее двух часов. Несколько раз он бросает стиль, сердится сам на себя, по привычке покусывает нижнюю губу и опять склоняется над табличкой. Когда белокурый мальчик, робко заглянув, напоминает о завтраке, Катулл растерянно смотрит на него, убирает свои таблички и отправляется на кухню. Он никогда не завтракает в триклинии и не ждет, чтобы ему принесли еду в таблин.

На кухне рабыня-стряпуха подает ему свежий творог, простоквашу, миску с мазой — полбяной кашей, приправленной медом и тертым сыром. Стряпуха знает Катулла с младенчества, она ворчит на него за то, что он опоздал, и, пока он ест, со снисходительной усмешкой посматривает на его взлохмаченную голову.

После еды Катулл возвращается к себе и лежит на скамье, опершись на локоть и размышляя. За стеной слышатся женские голоса, кудахтанье кур и горластый петушиный клич.

Отец и мать остались в Вероне, с ними находятся почти все рабы, принадлежащие семье Катуллов. В приозерной вилле живет только шестидесятилетний виллик Процилл, его жена-ключница, ворчливая стряпуха и хромой садовник, сажающий возле виллы мирты и упорно прививающий к сливе черенки персика. Еще двое парней по очереди пасут коров и сторожат ночью калитку, хотя во всей окрестности нет ни одного вора; остальное время они ловят рыбу и пристают к коровнице — грубоватой, краснощекой венетке^[160].

Когда Гай собрался на Сирмион, отец дал ему в услужение проворного мальчика Авкта и предложил взять с собой молоденькую рабыню. Глаза его при этом были лукаво сощурены. Старик заметил, что Геба приглянулась сыну в прошлый приезд. Гай пожал плечами, но не стал возражать, и певунья с обольстительной шейкой поселилась с ним под одной крышей.

Катулл кладет в сумку трехлистовку, накидывает выцветшую лацерну и выходит из дома. Солнце накалило камни, тени стали густыми и резкими рядом с ослепительным морем света. Ближайшая деревня расположена в том месте, где коса соединяется с материком. Здесь живет третье поколение

колонистов из Лация и потомки некогда покоренных галлов. Теперь у них одни боги и одни заботы. Они говорят, изредка вставляя кельтские слова, а в латинских проглатывают окончания: произнося вместо «Сирмион» — «Сирмий», и называют озеро «Бенако». Они сеют пшеницу, сажают овощи и виноградные лозы. Даже те, чьи предки жили здесь сотни лет назад, не знают вкуса варварского пива и признают только солнечный сок Либеры — Вакха.

При встрече легко различить рослых, голубоглазых галлов и более приземистых, смуглолицых переселенцев. Впрочем, многие из них смешанной крови. Вот белокурая женщина с черными, живыми глазами сабинки, а дог юноша с круто вьющимися, как баранья шерсть, волосами, с римским профилем и взором, будто отразившим поверхность озера. Молодые девушки вплетают в косы и носят на шее украшения из раковин, пожилые мужчины отпускают бороды. Все одеты в домотканые рубахи из местного льна, а зимой — в войлочные накидки и грубые сапоги свиной кожи.

Отец Катулла считает, что земли выгоднее сдавать в аренду, чем кормить три десятка нерадивых рабов. Старый муниципал мечтает купить где-нибудь в плодородной провинции обширное поместье — настоящую латифундию, откуда можно получать доходы, не уступающие доходам спесивых римских нобилей.

Катулл идет мимо огородов, обнесенных невысокой стеной из бурого камня, мимо домиков, крытых дерном. Возле них сушатся на шестах сети, а под навесами вялятся гирлянды серебристых рыб. Увидев его, крестьяне наклоняют головы и прикладывают руку к губам; он отвечает на их приветствия, а с некоторыми останавливается поговорить.

— Слушай-ка, Палфурий, образумь своего сына, — обращается Катулл к тощему старику с козлиной бородкой, — он привез колья и подвязочного ивняка для нашего виноградника и хочет, чтобы ему зачли асс за полсотни кольев и охалку ивняка... Он не рехнулся? Виллик может послать рабов в лес и получить колья даром. Пока не поздно, пусть твой сын пойдет к виллику Проциллу и согласится на его условия. Если отец узнает, он отберет у вас за долги весь урожай и на следующий год не возобновит договор об аренде.

— Прости моего лоботряса, господин, — дрожащим голосом говорит старик, его бородка трясется, — он еще глуп и упрям, как строптивый мул. Сейчас же я пошлю его к виллику. Только не рассказывай ничего моему почтенному отцу, заклинаю тебя богами.

Катулл молча кивает и идет дальше.

— Ты все хорошеешь, Теренцилла, — подмигивает он грудастой крестьянке, — наверное, тебе от парней прохода нет, и твой бедный муженек вынужден охранять тебя с дубиной. А и то верно, куда ему одному столько добра! Жаль, лишнее пропадает!

— Ты такой шутник... — притворно смущается Теренцилла, опускает красивые ресницы и плутовато усмехается. Катулл понимающе подмигивает ей еще раз. Она убегает, и Катулл пристально смотрит, как под рубахой двигаются ее широкие бедра.

— Да пошлет тебе Юпитер всех благ, Гай Валерий, — слышит он и, обернувшись, обрадованно обнимает своего римского домоуправителя Тита.

— Как твое здоровье, твоя семья и твои быки? — восклицает Катулл. Тит несколько не изменился, он такой же степенный и крепкий.

— Здоровье еще есть, погребальница Либитина вроде бы скоро меня не ждет, — обстоятельно отвечает он. — Семья тоже здорова, работают все усердно, и у меня родилась внучка. Что же до быков, то один издох в прошлом году, пришлось на последние деньги покупать другого. Зато коровы хорошо отелились, я продал кривому Мамерку двух бычков и выкармливаю телку.

— У меня есть подарок для твоей новорожденной внучки, я пришлю с мальчиком... Говорят, ты поймал недавно огромного угря, правда ли?

— За подарок благодарю, ты очень добр ко мне. А угорь действительно мне попался, но, скажу-ка я правду, не так уж он был длинен. Прежде мне приходилось ловить и крупнее, угорь ведь может оказаться в пять-шесть локтей. Коли ты не прочь половить, я зайду к тебе завтра.

— А жив ли болтун Каприлий, знавший столько разных историй и забавных песенок?

— Да что с ним случится! Этот бездельник не надорвется от работы, в поле его не увидишь. Разве в огородишке своем покопается немного, лентяй из лентяев. Все сидит на пороге, свистит и вырезает игрушки для детей. И зачем он тебе, не пойму! Может, я говорю лишнее, но ведь ты образованный господин, сочиняешь ученые стихи — к чему тебе бредни деревенского дурака?

— Так, от скуки... — засмеялся Катулл. — А ты все так же беспощаден к людским порокам, ну просто Луцилий ты, Тит! Прощай, не забудь зайти за мной завтра вечером.

— Как можно забыть! Прощай, Гай Валерий.

Катулл оставил деревню позади и поднялся на пологий холм, целиком

вспаханный и засеянный. Он шел по тропинке между колосющимися нивами, между рядами виноградных лоз, подпертых кольями или свободно вьющихся по стволам вязов, мимо маслинников, посадок льна и кормовой свеклы, мимо межевых камней, украшенных венками из полевых цветов и посвященных богу межей Термину. За первой грядой холмов вздымалась вторая, более высокая и крутая, постепенно переходящая в предгорье Альп. Эти холмы были не тронуты плугом и заступом, их покрывали густая трава, кустарники, небольшие рощи буков и мелколистных дубов. Отсюда как на ладони виделось озеро, деревни по берегам и протянутый к северу Сирмион с белым кубиком виллы.

Катулл постелил лацерну под тенистым платаном, сел, опершись на толстый ствол с растрескавшейся корой, и еще раз мысленно спросил себя, счастлив ли он вдали от Рима, вдали от политики и литературных споров? Да, без сомнения, как может быть счастлив усталый путник, избегнувший гибели в морской пучине и возвратившийся на родину, как счастлив отвергнутый любовник, забывший наконец о своей изнурительной страсти, как счастлив всякий поэт, оставшийся наедине со своим вдохновением...

Он огляделся: порхали многоцветные бабочки, птицы пели над его головой, звенели цикады, но безмятежная тишина не нарушалась, как не нарушалось мирное равновесие его души. Эти звуки были неотъемлемой частью жизни, и без них, а также без слабого шелеста листвы тишина казалась бы не гармоничным состоянием природы, погруженной в ясный покой, а смертельным оцепенением. Он не мог отвести глаз от величавой и безграничной синевы, простертой над миром, и от пригоршни лазурной влаги, сверкающей в сомкнутых ладонях земли. Он хотел бы просидеть так до вечера, когда солнечный диск опустится за мохнатую спину лесистой горы, когда черный плащ ночи охладит разгоряченную землю, и среди мириадов ярких огней вселенной он будет разыскивать лишь одно скромное созвездие, россыпь небесной пыли, названное Косой Береники.

Едва прошел месяц после прибытия в Вифинию, как спутникам Меммия стало ясно, что надежда скопить здесь сколько-нибудь значительную сумму — наивное заблуждение. Страна была разорена еще в те годы, когда правил последний вифинский царь Никомед. Вынужденный в период сулланской диктатуры уехать в добровольное изгнание, Цезарь оказался гостем Никомеда, и молва приписывала распутному царю и юному римскому аристократу позорную близость. Впоследствии враги Цезаря, произнося речи в сенате, называли его недвусмысленно «соперником царицы». Но и двадцать лет назад Никомед и Цезарь пиروвали, видимо, на последние вифинские деньги. Когда посланцы сената предложили царю, как союзнику, собрать вспомогательное войско, тот заявил: «Две трети моих подданных проданы в рабство», — и римлянам нечего было возразить: Малую Азию бессовестно ограбили алчные откупщики.

Благоприятных изменений здесь явно не ожидалось. В некогда благоустроенной, пышной Никее многие дома обветшали и опустели, нищие не могли бы выпросить и куска хлеба у таких же голодных горожан. Да они почти и не показывались на улицах, — легионеры хватали всякого, заподозренного в бродяжничестве, и гнали на невольничий рынок.

Катулл говорил Цинне, посмеиваясь:

— Там, где погребли руки Сулла, Лукулл, Помпей и толпа откупщиков, которым Цезарь предоставил особые льготы для грабежа, там целое столетие будет пустыня. Меммию досталась неудачная провинция.

— И нам тоже... — прибавил с досадой Цинна.

Но, кроме всеобщего разорения, не оставлявшего надежды даже на самый скромный доход, угадывались и другие причины. При видимом расположении к друзьям-поэтам Меммий твердо выполнял негласные установления сената в отношении муниципалов. Если предполагалось выгодное предприятие, дающее возможность проявить рвение на государственной службе, то среди назначенных наместником для Катулла и Цинны места не находилось.

Меммий и сам задыхался от недостатка средств. Может быть, именно поэтому он пустился в неистовый разгул. Оргиям не было конца. Женщины менялись ежедневно: рабыни и знатные жительницы Никей, опытные гетеры и невинные девушки, даже римлянки, жены чиновников и

публиканов, оказывались мимолетной потехой претора и его свиты.

Видавшие виды и помнившие царя Никомеда вифинцы только изумленно посвистывали, глядя на это разнузданное буйство. Цинна втихомолку проклинал Меммия и жаловался на судьбу.

Меммий промотал все, выжатое из несчастных вифинцев. Он влез в долги к откупщикам и, потеряв всякую совесть, выполнял любое их требование. Он начал занимать даже у своих приближенных, и отказать ему никто не решался. Он все-таки был здесь полновластным хозяином. Катуллу тоже пришлось облегчиться на двадцать тысяч из тех денег, что прислал ему перед отъездом отец.

С течением времени Катулл все больше отдалялся от окружения наместника. Сумрачный и разочарованный, сидел он в домике, отведенном ему для жилья, бродил по рынкам в поисках старинных рукописей или отправлялся в небезопасное путешествие по окрестностям Никеи.

Он видел, как за неуплату налогов вифинцев продавали в рабство, разлучая мужа с женой, родителей с детьми, братьев и сестер. Он слышал стоны отчаянья, детский плач и рыдания матерей. Он видел слезы стыдливых девушек, которых на невольничьем рынке заставляли раздеться донага, и слезы голодных стариков, потерявших кров. Он видел, как распинали и засекали бичами юношей, осмелившихся оказать сопротивление. Здесь, в разоренной провинции, в этом опустошенном «поместье римского народа», было особенно отчетливо видно, на чем зиждется праздность римской черни и умопомрачительная роскошь нобилей.

Дождавшись весны, Катулл обратился к Меммию с просьбой разрешить ему найти могилу брата в Троаде и, не возвращаясь, отплыть на родину. Меммий для приличия попенял Катуллу за такое поспешное бегство и обещал улучшить финансовые дела своей когорты. Впрочем, обещал он довольно неуверенно. Катулл настаивал и просил отпустить также Цинну. Но сам Цинна, поколебавшись, заявил, что он пока остается и думает возвратиться в Рим через год.

Катулл купил кораблик-игрушку, чтобы, по обычаю, пожертвовать его в храм Кастора и Поллукса, благодаря божественных братьев за сохранность жизни на морских хлябях. Затем он распрощался с Цинной.

Эй, Катулл! Покидай поля фригийцев!
Кинь Никеи полуденные пашни!
Мы к азийским летим столицам славным!
О, как сердце пьянит желанье странствий!

Как торопятся в путь веселый ноги!

Стихи писались легко, как в юности, и легко было на душе. Небольшая купеческая галера понесла его вдоль мраморных обрывов по пенным волнам Пропонтиды. Вифиния скрылась вдаль, и галера, пройдя мимо Ретейского мыса через бурный Геллеспонт, оказалась среди лилового тумана Эгейского моря.

Прибыв в Илион, Катулл остановился в гостинице и пошел искать кого-нибудь из римской администрации, чтобы узнать о месте погребения брата. Считалось, что Новый Илион расположен на месте легендарной Трои.

Когда-то в Илионе побывал персидский завоеватель Ксеркс и совершил в храме Афины Троянской жертвоприношение в тысячу быков — об этом писал Геродот. Александр Великий нашел здесь «щит Ахиллеса» и возил его с собой во всех походах, как святыню. Посетил этот город и Цезарь: ведь его род начинался троянцем Энеем, будто бы бежавшим от ахейских мечей к устью Тибра. Но местные жители считали, что руины древней Трои лежат южнее нынешнего города, возле небольшого селения. Там и находилось кладбище, которое искал Катулл.

Проводник вел его вдоль берега моря. Берег снижался, волны накатывали длинными валами на сглаженную песчаную отмель. Катулл оглянулся: перед ним развернулась обширная равнина, поросшая травой и кустарником, за ней едва виднелись снежные вершины Иды. В середине равнины вздымался огромный холм, кругом валялись обломки тесаных камней и почерневшие черепки.

— Вот тут был Старый Илион, а вон и река Скамандр... — произнес проводник, указывая на жалкий ручей, впадавший в море среди зарослей тростника. Проводник привык водить сюда любопытствующих путешественников из Греции и Рима. Не задумываясь, как раз навсегда выученный урок, он рассказывал, в каком месте стоял деревянный данайский конь, где сражался Ахилл с Гектором и где Посейдоновы змеи задушили Лаокоона.

Катулл с усмешкой выслушал столь «достоверные» сведения. Вместе с тем он испытывал глубокое и благоговейное чувство: ведь почти тысячу лет просвещенный мир находится под обаянием поэм меонийского старца, и пусть то, что в старину считалось непреложной истиной, теперь может вызвать улыбку, — все равно, от гениальных гекзаметров, воссоздавших события, некогда происходившие на этой равнине, пошла вся эллинская

поэзия.

В последний раз показав на бледные очертания идейских гор, «откуда громовержец Зевс наблюдал битвы греков с троянцами», проводник повел Катулла к селению, окруженному садами и плантациями олив.

Местность была сырая, нездоровая, воздух душен, в селении не хватало питьевой воды. Над теплыми ручейками, струящимися среди ржавой тины, гудели тучи комаров и слепней. Опасная гнилая лихорадка угрожала здесь каждому.

Катулл долго бродил среди могил, пока не нашел надгробие с надписью «Спурий Валерий Катулл, римский гражданин. Да будет к нему милость богов-манов^[161]».

Опустившись на землю, он погладил надгробие дрожащими руками. Боль утраты и щемящая жалость к умершему брату стиснули его сердце. Снова вернулась тоска тех дней, когда он узнал о смерти Спурия, снова в воображении грустно улыбался голубоглазый сподвижник детских игр, юношеских восторгов и первых шагов в поэзии. Катулл представил, как Спурий метался в горячке под равнодушными взглядами носильщиков и солдат, как перед последним вздохом он, быть может, пришел в сознание и позвал на помощь, прошептал запекшимися губами: «Отец, матушка... Где ты, Гай?»

Катулл зарыдал, упав на шершавый камень, под которым лежал родной пепел. Ему хотелось оказаться рядом с братом, в этой болотистой, замусоренной земле.

Проводник, отвернувшись, позевывал. Пусть римлянин соблюдает обряд погребального плача, чтобы воздать должное памяти родственника... если же он и правда расстроился, тогда с него удастся, наверное, взять двойную плату — размягшее сердце не склонно к скупости.

Катулл долго стоял на коленях перед могилой. Комары со звоном впивались в его кожу, он не двигался. Отмахиваясь от зудящих кровопийц, проводник переминался с ноги на ногу. Наконец Катулл открыл принесенную с собой сумку и совершил жертвоприношение подземным богам. Прошептав последнюю молитву, он поцеловал надгробный камень, поднялся и пошел прочь, вытирая лицо ладонью. Проводник поспешил за ним с озабоченным видом. У городских ворот он попросил денег.

Катулл поднял на него глаза. Морщинистая рожа с унылым носом и безгубым ртом выражала нетерпеливую жадность. Неужели у этого человека нет ни капли сострадания? Неужели он способен думать только о своей ничтожной наживе и глух ко всему в мире, полном печалей и утрат? Катулл решил не прибавлять ни одного медяка.

Еще раз с презрением кинув взгляд на мерзкого попрошайку, Катулл неожиданно понял, как он несправедлив. Он увидел ясно — будто стал ярче солнечный свет, — что перед ним несчастный, изможденный старик, потерявший достоинство свободнорожденного от унижений и голода.

Знал ли он, путешествующий римлянин, глубину горя этого старика? Может быть, проводник мечтает накормить больную жену или маленьких внуков? Катулл был потрясен этим простым предположением. Здесь, в завоеванной Азии, страдания мира открылись ему с особенной силой. Сердце Катулла горело как открытая рана. Он готов был зарыдать от жалости, но не к умершему Спурию, а к другому брату своему среди человечества, к этому униженному старику.

Едва сдержав слова искренней нежности, которые все равно не понял бы отупевший троянец, Катулл улыбнулся ему и высыпал в дрожащие ладони горсть серебра. Растроганный провидением человеческой судьбы, он умиленно думал: проводник поспешит сейчас к своей костлявой старухе и отнесет ей деньги — немалую для них сумму, она погладит его щеку высохшей слабой рукой и всплакнет от радости, мигая темными веками, а муж вспомнит, как много лет назад он впервые поцеловал ее, черноглазую, юную, стыдливо вспыхнувшую, словно прекрасная заря — Эос.

Проводник хихикал за спиной Катулла. Его надежды оправдались: римлянин подарил ему денег во много раз больше обычной подачки. Теперь два дня можно пьянствовать и добраться наконец до полногрудой лидийки, на которую он давно облизывался. Проводник благословлял богов, сжимая в руке серебряные кружочки, и проклинал про себя, хоть и непривычно щедрого, но все равно ненавистного ему римского пса.

Катулл провел ночь без сна, а наутро продолжил плаванье вдоль малоазийского побережья. Он увидел прославленные столицы эллинистических царств, разграбленные легионами Суллы и Помпея, но еще сохранившие былое величие.

В Пергаме он побывал в библиотеке, не менее знаменитой, чем александрийская, и осматривал беломраморный алтарь Зевса, поражаясь красоте фризов и статуй, — впрочем, большинство из них давно украшали Форум и палатинские дворцы. В шумном Эфесе, возле Артемисиона (изумительного по изяществу храма Артемиды Эфесской) Катулл подумал, что тщеславный маньяк Герострат, который четыреста лет назад поджег этот храм, чтобы прославиться, добился своего и остался в истории, как пример гнусного варварства. Но сохранит ли история имена римских откупщиков, дочиста ограбивших древнее святилище и не сумевших увезти только стены? Сколько преступных изуверов, уничтожающих гениальные

творения человеческих рук, вдохновения и ума, видела и еще увидит Земля?..

Катулл вздохнул, уходя от пленительной красоты Артемисиона. Поддавшись всеобщей страсти путешественников зевак, он купил в подарок отцу бронзовый макет храма, а матери — стеклянную вазу с тем же изображением.

В Галикарнасе он не миновал обязательного осмотра гробницы Мавзола, которому жена взгромодила такое циклопическое надгробие, что, упомянутое во многих письмах, справочниках и географических трудах, имя ничтожного царька зацепилось в капризной памяти человечества. Мавзолей когда-то украшали статуи прославленных скульпторов Скопаса и Леохара. Теперь их, разумеется, нет, да и сама гробница, видимо, простоит недолго: постепенно ее растащат по частям, а остальное — развалится.

Катулл разыскал на городском кладбище могилу поэта Гераклида, друга Каллимаха Александрийского. Могила заброшена, но ведь имя Гераклида помнят любители поэзии, а какую прелестную трогательную элегию посвятил ему Каллимах... Оканчивается она строками светлой грусти и надежды на поэтическое бессмертие:

...Прахом ты стал уж давно, галикарнасский мой друг!
Но еще живы твои соловьиные песни. Жестокий,
Всеуносящий Аид рук не наложит на них.

Что ж, если будет забыт Гераклид, то его имя останется в стихах великого Каллимаха. Если же канут в вечность творения Каллимаха, то...

Катулл задумался над пыльной плитой с полустершейся эпитафией.

А сколько проживут его, Катулла, элегии и эпиграммы? Может быть, они умрут раньше, чем окончится для него самого надоевшая суэта жизни? Вспомнят ли о нем в грядущих поколениях? Станет ли молчаливый путник искать его заброшенную могилу?

Он покинул Азию и увидел Родос, знаменитый именами философов и поэтов. Корабль вошел в гавань, минуя гигантскую статую бога Гелиоса, прекрасного мраморного юноши с золотым венцом на голове. Это было «чудо света», наряду с фаросским маяком, египетскими пирамидами и чудовищным Сфинксом, упомянутое во всех географических описаниях. Путешествующие римляне восторженно ахали и запрокидывали головы, когда корабли, будто ничтожные скорлупки, проплывали меж расставленных ног родосского колосса. Одни говорили, что неплохо бы

перевезти статую в Рим и поставить на тибрской пристани, другие удивлялись, что золотой венец еще не переплавлен в звонкие ауреи (впрочем, достоверность золота в венце была сомнительна), третьи мечтали залезть на голову Гелиоса и нацарапать там свое имя. Нашелся мрачный центурион, заявивший, что, по его мнению, статую надо разбить, как оскорбляющую величие Римской республики, ибо такой должна быть только фигура непобедимого Марса.

Катулл подумал о том, сколько вдохновения и труда понадобилось эллинским мастерам, чтобы создать столь грандиозное, возвышающее человеческую душу творение, и сколько упорства, сколько самоотверженности и силы требует воистину великое творчество.

Изогнутый нос галеры мерно поднимал и опускал Катулла над гребнями волн. Катулл размышлял и грезил среди блестящего неоглядного простора. Золотой венец Гелиоса утонул в синей пучине, впереди белели берега Греции.

Катулл глубоко вдыхал подсоленный ветерок и следил за веселой игрой дельфинов. Ему казалось, что он свободен, как летящие над ним с криками морские птицы, свободен от забот, мелочной суеты и мучительных воспоминаний.

Хотел бы он, смятенный поэт, пуститься в неведомые дали и обогнуть Ойкумену?

Приходила Ирония — знакомая гостя — и оживляла его раздумья. Два с половиной столетия назад Аристарх Самосский доказал, что Земля — шар и вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Мудрые греки Платон и Аристотель утверждали, будто в южной части земного шара есть другие материки и, возможно, там живут антихтоны или антиподы, то есть люди, живущие напротив и во всем противоположные. Катулл усмехался: может быть, там и живет другой Катулл с его мыслями и стихами, вывернутыми наизнанку, и он так же проклято и безнадежно влюблен в анти-Клодию, которая вовсе не красавица, а безобразная замарашка, и она тоже влюблена в анти-Катулла и изменяет с ним анти-Руфу. Меммий там целомудрен, как нежная отроковица, Цезарь уступчив и человеколюбив, Цицерон скромн, а Кальв... огромного роста.

Катулл хохотал про себя, продолжая эту игру. А как же боги? Где их место на той стороне Земли? Скорее всего богов там вообще нет, но... если их нет и здесь?

Впрочем, алтарь анти-Эроса или Антэроса, божества трагической, неразделенной любви, находился неподалеку от Афин, в глубине кипарисовой рощи. Черные камни алтаря были давно холодны, редко

пришелец возжигал здесь огонь и совершал жертвоприношение, — трудно найти человека, молящего об отвращении от своего сердца драгоценного дара Афродиты. А этот хмурый римлянин зачем-то забрел сюда и, положив перед высохшей жрицей два серебряных денария, неподвижно смотрел, как она смешивает кровь голубя и змеи и капает ею на шипящие угли...

Катулл возвратился в город. На узких улицах кишели торговцы и покупатели, свободные и рабы, греки и римляне. Как писал некогда Менандр: «Толпа, рынок, акробаты, увеселения, воры», — в Афинах почти ничего не изменилось с тех пор, если не считать шатающихся везде наглых легионеров и любопытствующих римских толстосумов с их дебелыми женами и прилизанными сынками. Римляне спешили трусцой за хитрыми проводниками и разглядывали разрушенные Суллой знаменитые храмы. Они одинаково восторгались творениями старых мастеров и нынешними ремесленными поделками, изготовленными на потребу иностранцам. Каждый римлянин, каждый муниципал и житель провинции, если у него было достаточно денег, считал обязательным для себя побывать в Афинах, чтобы, прихлебывая вино, с удовольствием рассказывать дома о своих впечатлениях. Гостиницы были переполнены, в тавернах с утра до вечера чавкали и рыгали сотни людей. Войти в Эрехтейон или Парфенон и посмотреть на Фидиеву Палладу оказалось не так-то просто. Пришлось ждать на жаре не меньше часа. Афины утомили Катулла. Греки придумали пословицу: «Ты чурбан, если не видел Афин, осел — если видел и не восторгался, и верблюд — если по своей воле покинул их». Садясь на корабль, отплывавший в Италию, Катулл счел себя ослом и верблюдом одновременно.

III

За неделю до отъезда Катулла из Никеи Цинна привел к нему бородатого вифинца.

— Этот человек может отвезти нас на гору Диндим как раз к весеннему празднику Кибелы, — сказал Цинна.

Культ главной богини Малой Азии давно перекочевал в Грецию, а оттуда в Рим. Жрецы Кибелы — скопцы в женских платьях таскались повсюду со своими гимнами и тимпанами и уговаривали юношей стать «служанкой Диндимены».

Великая Мать Кибела, постепенно смешиваясь с чертами египетской Изиды, финикийской Астарты и греческой Деметры, становилась всеобъемлющим символом плодородия и жизненной силы, наиболее фанатично почитаемой богиней Средиземноморья. Самое знаменитое святилище Кибелы находилось недалеко от Никеи, в горах Иды. Рассказывали, что кровавые и разнузданные обряды, смягченные в Греции и Италии, совершались здесь так же истово, как во времена необозримо далекой древности.

Катулл решил ехать вместе с Цинной и бородатым проводником. Вифинец попросил друзей снять римскую одежду и нарядиться в поношенные хитоны. Предупредил он и о том, что путешествие может оказаться опасным, и предложил взять с собою мечи. Друзья согласились без колебаний.

На рассвете следующего дня они сели в скрипучую двухколесную повозку, запряженную мулом. Вифинец гортанно вскрикнул, и повозка покатила по направлению к снежным вершинам идоиского хребта. Оставив прибрежную равнину с ее пашнями и садами, они стали подниматься по каменистой дороге в горы. Путь пролегал по крутым откосам, усыпанным щебнем и замшелыми грудями валунов.

В горах буйствовала весна, цвел миндаль, дикая слива и повилика. Над сверкающими седидами Иды парили орлы, легкие тени оленей мелькали среди деревьев, иной раз слышался рев медведя или рычание барса. По горной дороге двигались такие же повозки, влекомые мулами и ослами, и, опираясь на посох, шагали усталые пешеходы. Все путники казались сосредоточенными и угрюмыми, будто стремились к чему-то запретному, неумолимому, страшному, но не могли этого избежать.

На второй день пути Катулл и Цинна остановились в горном селении.

Вифинец хлопотал о ночлеге. Они напились козьего молока и расположились под навесом ветхой лачуги. С рассветом им предстояло отправиться в заповедный лес, к храму Кибелы.

Сюда сошлось множество людей из Вифинии и других мест Малой Азии. Немало поклонников Великой Матери приехали с эгейских островов, из Фракии, Беотии и Лакедемона. Горели костры, богомольцы лежали вповалку или сидели, прислонившись к стенам жалких домишек. Не было слышно ни смеха, ни громких разговоров. Только жрецы Кибелы расхаживали по узеньким улочкам и распевали гимны мальчишескими осипшими голосами. Их раскрашенные лица, волосы, заплетенные в косы, расшитые лентами одежды и бесстыдные телодвижения вызывали отвращение у Катулла и Цинны. Женщины сидели среди мужчин, закутав головы покрывалом, к ним никто не смел прикоснуться. В лесу всю ночь стучали тимпаны, сопровождая пляски обезумевших жриц-менад.

Когда звезды погасли, пестрое сборище зашевелилось и повалило на тропу. Через горбатую гору поползла, медленно извиваясь, огромная змея, голову которой составляли играющие на свирелях, колотящие по натянутой коже бубнов, пляшущие и завывающие скопцы. В возбужденную, торжественно выступающую процессию вливались богомольцы из окрестных селений, давших им приют ночью. Запрокинутые, смуглые лица, широко раскрытые рты, выкаченные в фанатическом рвении глаза, кудлатые бороды, яркие колпаки, полосатые накидки, засаленная рвань и блеск золотых украшений, мужчины, женщины, пьяные непотребные мальчишки, старики в сивых космах, несущие на шестах символы Кибелы — изображения жеребых кобыл, — все теснилось и мелькало перед Катуллом, постепенно увлекая его в вихрь бессмысленного ликования.

Огромные сосны и дубы с подлеском из перевитого плющом колючего терна вставали по обеим сторонам дороги непроходимой стеной. Словно мифические сторукие Гекатонхейры, они протянули к побледневшим лицам людей разлапистые когтистые ветви. Изогнувшись чудовищными неохватными стволами, разломав корнями скалы, они казались настолько переполненными животворной мощью земли, что морщины их коры, как узловатые мышцы окаменевших титанов, выражали страдание.

Из мрака древнего леса тропа вела к широкой вытоптанной поляне, над которой высился храм Кибелы. Квадратные башни храма, сложенные из плохо обтесанных, циклопических глыб, стоя над лесом, почти не отличались от бурых скал. Людской поток вытекал на поляну и занимал ее края, оставляя свободным подход к храму. Все глядели на железную дверь, скрывавшую глубину святилища.

Послышалось отдаленное пение; оно приближалось, с визгом и скрипом распахнулась дверь, и суетящаяся толпа жрецов выкатила на деревянной повозке ярко раскрашенную статую Кибелы. Статуя изображала массивную фигуру с безобразно отвисшими грудями, вспученным, беременным животом, непомерно широкими бедрами и особенно грубо выделенным женским детородным местом. Руки статуи были прижаты к бокам, голова казалась случайно оставленным выступом с едва намеченными чертами лица, но с огромными глазами, сделанными из агатов и белой эмали, придававшими этому плоскому каменному лицу веселое и одновременно злое выражение. По понятиям древних фригийцев, статуя Великой Матери вполне воплощала зрелую плодоносную женственность, символ могучего возрождения всего живущего на земле. Ее натерли маслом — капли, поблескивая, стекали по крутому животу и кобыльим бедрам. Казалось, Кибела вспотела от весеннего вождения.

Пронзительно заняли рога, в сбивчивом головокружительном ритме загудели тимпаны. Разряженные лентами «служанки Диндимены» закружились в медленной пляске.

Катулл и Цинна толкались среди богомольцев, чувствуя их нарастающее возбуждение. Тела сотрясала дрожь, губы растягивались в бессмысленной и покорной улыбке. И образованные, вооруженные эпикурейским скепсисом граждане всевластного Рима плясали вместе с вонючими, гортанно квакающими, фанатичными дикарями. Сотни людей, заполнивших поляну, копошились вокруг статуи, подпрыгивая, бормоча, причитая и сладострастно кряхтя.

— О Мать Кибела, Кивева, Рея! Дай силы, счастья, жизни! О-у! Дай!!

Протяжный звон колокола полетел с одной из башен. На балконе, над запрокинутыми лицами, появилась старшая жрица, на редкость рослая и толстая женщина с грозно-красивым, неподвижным лицом. Она плавно подняла руки к небу и запела. На ее голове сверкала золотая тиара в виде квадратной башни. Вся ее одежда, усыпанная драгоценными камнями, тоже искрилась и переливалась на солнце, как ослепительная радужная чешуя.

Жрица пела, постепенно вознося напряженный голос по причудливому рисунку мелодии; в наивысшей точке экстатического гимна голос ее невероятно усилился, зазвенел колдовски и страшно, пробудил отзвук в скалах, ударился о далекие ледники Иды и стоголосым водопадом рухнул в бездонные пропасти. Люди окаменели с выкаченными глазами и оскаленным ртом. И жрица воскликнула над ними так, что дрогнули горы:

— О, Кибела, породившая богов! О, Кивева, мать всего сущего!

Толпа повалилась на колени, протягивая руки к статуе. Среди богомольцев, особенно опекаемые жрецами, тряслись с помертвевшими лицами несколько юношей, согласившихся оскопить себя во славу Хозяйки Диндима. Они были одеты в короткие льняные рубахи, их кудрявые головы украсили венками из полевых цветов.

— Как ягнята перед закланием, — шепнул Катулл Цинне, стараясь неловкой иронией оградиться от надвигающегося тяжелого чувства.

Тем временем старшая жрица взяла из рук помощницы голубя, оторвала ему голову и окропила кровью коренастую богиню. Вслед за этим служители храма оттеснили толпу и подтащили к статуе упирающихся и жалобно блеющих баранов. Взмах ножа... и кровь обильно хлынула к ногам Кибелы, а там уже волокли на толстых веревках ревущих быков, а за ними сильного жеребца, в предсмертном отчаянии вставшего на дыбы и бешено дробящего копытами камни. Пошли в ход топоры, окровавленные туши с хрипом валились одна на другую. Каменная Кибела искупалась в крови целиком, ее мрачные слуги вымокли с головы до пят, и вся поляна перед храмом была залита дымящейся, маслянистой кровью.

Священное опьянение достигло наивысшей степени. Казалось, все вокруг впали в буйное помешательство. Многие, сбросив одежду, безжалостно полосовали себя заранее приготовленными бичами. Кожа лопалась на их спинах, кровь, смешиваясь с потом, текла по мускулистым телам... Бичующиеся приходили все в большее остервенение... Вот кому-то выбили зубы, другой с воплем схватился за глаз, у третьего от головы отлетел лоскут кожи с волосами... Истошное завывание несло над толпой... Скрежетали зубами, раздирали себе пальцами рты, крутились волчками...

— Аттис! Аттис! — надрывно закричала старшая жрица.

— Аттис! — подхватили скопцы и женщины. Жрецы повели юношей в белых рубашках к окровавленной статуе. Один из них выдернул руку и отбежал в сторону, у него началась рвота.

— Аттис! Возлюбленный великой Кибелы! — призывала сверху жрица, сверкая драгоценностями и трясая золотой тиарой. — Приди, услади распаленное чрево богини!

Тимпаны стучали, переполняя сердце отчаяньем. Юноши опустились вокруг статуи на колени. Люди лезли друг на друга, чтобы лучше видеть.

— Ну, что же? Решились? О помощи, Кибела! Первый решился, вскрикнул... Вот его уносят в храм... И второй? Боги, боги...

Катулл боялся потерять сознание от ужаса и непонятного восторга. Цинна схватил его за плечо. Люди выкатывали глазищи, сопели и стонали.

— Третий-то совсем мальчик, плачет, глупый... А миленький какой, прямо красавчик! Из Фив, говорят? Боги, боги...

Скопцы уговаривали третьего юношу, шептали на ухо. Низенький старик присел рядом на корточки, вложил ему в руку нож и подталкивал под локоть: «Давай, не бойся... Куда теперь деваться? Ну-ка!» Юноша тоненько, по-детски плакал. Его гладили по голове.

— Я не могу больше! — сказал Цинне Катулл.

Он хотел вырваться из вязкой массы людей, но уйти было невозможно; толпа — словно бескрайнее море. Катулл страдал, задыхался. Солнце пекло, кровь разлагалась, толпа воняла.

Четвертый избранник подошел смело, глаза безумные, опустил на колени, взял нож... Потом хотел сам подняться, улыбнулся белыми губами... Унесли и его... Еще пятый?

Жрица опять запела, она завораживала, пела нежно и сладостно, словно обещала блаженство Элизиума... Рванувшись, воззвала к Великой Матери, зарычала раненой тигрицей, непостижимо и невесомо поднялась в воздух, парила над храмом, как золотая птица... и вдруг стала невидимой, только голос ее звучал над лесом, над горами, над безмолвной толпой.

Колокол гулко ударил, и наваждение отпустило людей. Они встряхивались, оглядывались, растерянно ухмылялись. Будто из-под земли вынырнули торговцы, предлагая снедь и вино. Не зевали и служители храма — бойко торговали изображениями жеребой кобылы из камня, бронзы и серебра. Всклокоченные, исцарапанные, в запекшейся крови и разорванных хитонах, богомольцы весело скалили крепкие зубы, с жадностью грызли черствый хлеб, чеснок и жилистую баранину, задыхаясь, глотали из кувшинов вино. Наглотавшись, многие подмигивали возбужденно хихикающим женщинам или кривляющимся скопцам.

Поляна перед храмом походила теперь на буйный лагерь бродячего племени. Закрываясь от солнца, быстро соорудили навесы из драных накидок и растянулись прямо в пыли. Кто-то пел, спорил, ел, чавкая и облизывая грязные пальцы, кто-то спал или тискал бессовестно разомлевшую девку.

Катулл и Цинна пробирались к лесу. Полдневная жара усилила смрад, лишь несмелый ветерок прилетал со снежных вершин Иды. Катулл чувствовал себя больным, его подташнивало. У Цинны нервы были крепче, но и он выглядел утомленным.

— Для избранных великая жрица открывает запретные глубины храма, где совершаются еще более древние и таинственные обряды... — сказал бородатый проводник, вопросительно взглядывая на друзей. Но с них было

достаточно и того, что они видели. Тогда вифинец посоветовал им покинуть окрестности храма до наступления сумерек. В темноте случаются убийства, их совершают неуловимые фанатики во славу грозной Кибелы. Потеряв всякий стыд, богомольцы рыщут алчными шайками, и насилие может постигнуть каждого беззащитного путника, будь он женщиной или мужчиной.

Все же им не удалось спокойно уйти. Поверх гула толпы разнесся пронзительный вой и беспорядочный стук тимпанов. Толпа притихла.

— Менады! — взволнованно воскликнул вифинец. — Старайтесь не попадаться им на глаза...

Молва утверждала, что жрицы, обуреваемые священным безумием, безошибочно находят того, кто недостаточно самозабвенно участвует в радении, и, придя в ярость, могут растерзать святотатца. Но Катулл и Цинна не хотели пропустить возможности увидеть «настоящих» менад. В Риме они наблюдали только нанятых для праздника проституток, кокетливо принаряженных и весьма потертых.

Богомольцы поспешно расступились, поднимая пьяных и подхватывая свои пожитки. На освободившееся место выбежало из леса десятка три женщин, размахивающих бубнами и погремушками, что-то распеваящих кошачьими голосами и скачущих, будто стадо взбесившихся обезьян. От них несло прогорклым потом и резким запахом распаленных самок, заставившим раздуться волосатые ноздри ражих фригийцев.

Скопцы подхватили подола платьев и с жалким писком бросились к двери храма, куда их немедленно впустили. Прогнав «соперниц», менады с торжествующими криками начали пляску перед статуей Кибелы. Бурные лохмотья и гирлянды весенних цветов едва прикрывали их по-мужски мускулистые тела. В бешеной скачке болтались груди, пот струился по искаженным лицам, жилистым шеям и грязным животам. То одна, то другая жрица вытаскивала из толпы обомлевшего парня или девушку, присоединяясь к исступленному хороводу.

Такая безобразная, взлохмаченная мегера с медным кольцом в носу неожиданно оказалась перед Цинной. Скользнув по лицу юноши сумасшедшим взглядом, она сипло прокаркала что-то на непонятном наречии. Растерявшийся Цинна невольно попятился. Катулл почувствовал, как волосы зашевелились на его голове и под сердце впился омерзительный червь беспомощности и страха.

Менада приплясывала в пыли босыми ногами и повелительно протягивала цепкую руку. Она злобно ощерила зубы и снова обратилась к Цинне, видимо, повторяя вопрос.

— Она спрашивает — мужчина ты или скопец? — перевел сопровождавший друзей вифинец. — Она говорит, что у мужчин не бывает таких гладких щек... Она требует, чтобы ты отдался во власть менад, — добавил он с дрожью в голосе.

Цинна помчался прочь, расталкивая стоявших на его пути. Катулл бросился за ним. Он выхватил спрятанный под накидкой меч и нелепо размахивал им на бегу.

Жуткий, протяжный вой несся им вслед. Неминуемая смерть грозила дерзким нарушителям священного торжества. Лес принял беглецов. Продираясь через колючие заросли, оставляя клочья одежд, исцарапав лица и руки, друзья посматривали друг на друга и кусали губы. Они еще не совсем поверили в спасение, но их уже разбирал смех — бесстрашный, надменный, саркастический римский смех.

IV

Член муниципального совета Вероны, почтенный Катулл давно мечтал сделать выгодные инвестиции. С терпеливой надеждой он думал о серебряных рудниках или, на крайний случай, о сплаве корабельного леса. И все же старому муниципалу изменила обычная прозорливость, когда он посылал в Вифинию младшего сына. Он предполагал, что прилежный Спурий сумеет заслужить одобрение римской администрации и проложит путь для будущих притязаний отца.

Но римляне, занимавшие начальственные посты, не торопились предоставить простор для деятельности «новых граждан». Спурий получал самые ничтожные и хлопотные поручения, которые не приносили никакой выгоды и кончились тем, что в одной из таких губительных экспедиций он скоропостижно умер вдали от родных ларов.

Старый Катулл тяжело переживал смерть Спурия. Кроме вполне объяснимого родительского горя, исчезла долгожданная надежда наладить связи с малоазийскими публиканами. Рушились подступы к заветной цели всей его жизни. На старшего сына он давно махнул рукой: строптивый и беспечный характер Гая не обещал ничего хорошего.

Когда же Гай обнаружил наконец желание заняться полезным делом и отправился в ту же постылую Вифинию, старик возликовал. Нет, он не думал, что Гай вернется разбогатевшим и приобретшим добрую славу. Да и о каком благе можно помыслить, находясь под началом Меммия, сенатского ставленника и распутного кутилы!

Зато почтенный Катулл видел иное: ветреник Гай перебесился и не прочь зажить другой жизнью с помощью отцовских советов и знакомств. А знакомства хитрого старика многого стоили...

Пусть провалятся в Эреб закосневшие римские сенаторы! И пусть убирается ставший их апологетом болтливый арпинец Цицерон! Есть в республике великий человек, для которого муниципальное или провинциальное происхождение гражданина не имеет значения. Важны личные качества: одаренность, предприимчивость, смелость и бесценна — преданность. Среди его соратников муниципалы из разных городов Италии, греки, испанцы, даже галлы. Находится место и для политических врагов. Он не боится их, он лишь с иронией предлагает: вы способны быть более гениальными полководцами? вы принесете римскому народу больше благосостояния и славы, чем принес я? — что ж, попробуйте! И надменные

отпрыски нобилей, воспитанные в ненависти ко всякому святотатственно новому, всему свежему, как весенний ветер, влюбляются в его божественную удачу, в его остроумие и доброжелательность, в его великолепные пороки.

Этому неправдоподобно счастливому человеку старый Катулл регулярно пишет из Вероны письма, наполненные выражениями почтительной и преданной дружбы.

К весне нынешнего года Цезарь завершил победоносную войну с самым сильным из галльских племен — белгами; огромная страна была объявлена римской провинцией. Невиданный поток золота, рабов, хлеба, скота и прочей добычи продолжал низвергаться с альпийских перевалов, пока не затопил всю Италию, весь подвластный республике средиземноморский мир. И за этой фантастической лавиной богатства, военной славы и политического успеха стоял лысоватый, сорокалетний эпилептик с хрупким телосложением и насмешливой, чуть печальной улыбкой.

По его зову в транспаданский городок Луку^[162] приехали его сподвижники Красс и Помпей. За ними явились магистраты, промагистраты и двести сенаторов — из шестисот, числившихся в цензорских списках. Подавляя злобу и заискивающе повиная хвостами, знать спешила изъявить Цезарю свое восхищение. Ликторы, клиенты, многочисленный штат рабской прислуги притащились за господами и заполнили миниатюрную Луку, окрестные виллы и селения. Слухи о грандиозных празднествах, сопровождавших совещания всемогущих магнатов, докатились и до Вероны. Муниципалы сбегались к лагерю триумвиров, чтобы на месте узнать последние новости и прокричать Цезарю «ave».

И все-таки старик Катулл был очень осторожен. К чему околачиваться в Луке и мозолить глаза злопамятным нобилям, которые приехали, приклеив к губам любезную улыбку и пряча кинжал под тогой? Если судьбе угодно, настанет срок, и Цезарь сведет с ними счеты. А пока можно следить за событиями, не оставляя забот об окончании сева, деловито беседуя с управляющим Проциллом, посмеиваясь над вечно встревоженной женой. Старик довольно потирал руки. В Верону прилетали волнующие новости, и он соотносил их с собственными затаенными планами.

Во-первых, главой триумвирата, само собой разумеется, будет теперь не Красс, чьи богатства уже не казались невероятными, не Помпей, чья слава скрылась в тумане прошедших лет, а блистательный герой галльской войны. Впрочем, Цезарь был, как всегда, доброжелателен и любезен, хотя

уверенный тон его выступлений не оставлял никаких сомнений в том, что он вполне сознает свое ведущее положение в добровольном союзе триумвиров. С сенаторами он церемонился меньше: тем, кто позволял себе говорить двусмысленности, он быстро указал на место; тех, кто ему рукоплескал, осыпал царскими дарами.

При восторженных кликах легионов и клиентелы Цезарь объявил, что продлевает свои императорские полномочия в Галлии на пять лет. Помпей и Красс намечались консулами на следующий год с тем, чтобы по окончании консульства получить наместничества: Красс — в Сирии, а Помпей — в Испании. Другьям Цезарь обещал поддержку в получении магистратских должностей. Затем опять посыпались щедрые подарки и загремели пиры. Совецание в Луке обернулось неофициальным триумфом Цезаря.

Старый Катулл писал в Луку письма, начинавшиеся словами: «Привет тебе, наилучший император и любезнейший друг, желаю здоровья и радости как в частной жизни, так и в государственных делах...» Только к Цезарю — самой яркой и высоко взошедшей звезде римского небосклона — мечтал теперь он пристроить своего Гая. Пропади пропадом Греция, Азия, Африка и Испания со своими золотоносными реками; на просторах Галлии, под рукой великого полководца молодой человек приобретет настоящий вкус к жизни и смело войдет на злокозненный Форум, держась за пурпурную мантию триумфатора.

Вот тогда-то захиревший род веронских Катуллов станет владеть виллами и латифундиями, вот тогда-то дальновидный муниципал сделает выгоднейшие инвестиции и, может быть, окажется главой процветающей публиканской конторы. В то время как сын его получит, при содействии Цезаря, магистратскую должность, а следом — кресло сенатора. Таковы были сокровенные мечты... нет, не мечты, а всесторонне продуманные планы почтенного Катулла.

То, что Гай вел в Риме рассеянный и праздный образ жизни, не пристав определенно ни к одной политической группировке, оказалось большой удачей. Цезаря, кроме грубых рубак и финансистов, окружают такие же, как Гай, образованные молодые люди, с которыми он любит проводить досуг. Правда, Гай позволял себе дерзкие замечания и эпиграммы в сторону Цезаря и его друзей. Но теперь, после галльских побед, в смягченных успехом глазах цезарианцев это выглядит шалостью, изысканным остроумием светского повесы.

Поэтическая слава Гая должна сыграть не последнюю роль в соискании благоволения императора. Говорят, юношей Цезарь тоже писал

похабные стишки. В свой прошлый приезд в Верону он не раз поздравлял старого Катулла с выдающимся дарованием сына. Если бы уговорить строптивного недотепу сочинить поэму о великих подвигах Цезаря — это было бы блестящим началом.

Почтенный Катулл, раздумывая, не раз покусывал нижнюю губу, как это делал и Гай в минуты сомнений. Впрочем, у отца такое покусывание губы выглядело скорее как признак уверенности в окончательно принятом решении. Известие, что Гай возвращается из Вифинии раньше срока, даже обрадовало старика. Он радушно встретил сына, с признательностью принял подарки, купленные в азийских столицах, и тотчас отправил его отдыхать в загородную виллу.

Перед отъездом на Сирмион Гай прочитал отцу элегию о посещении им могилы брата. Элегия была прекрасная, старый Катулл вполне оценил ее печальную прелесть. Он заплакал, вспоминая младшего сына, и с искренним волнением обнял Гая. Боги, о чем можно еще мечтать, как не о единстве чувств отца и сына! Сейчас их соединяла боль сердца, общая скорбь по умершему Спурию.

Гай действительно искусный стихотворец, если уж от его стихов растрогался даже он, утомленный жизнью и огрубевший от неудач старик.

Пока отец предвкушал его будущее преуспеяние, Гай бродил по берегу озера и, вместо того чтобы сочинять поэму о Цезаре, переводил эпиллий Каллимаха о преданной и страстной любви юной Береники. Он начал переводить эту изящную, чуть ироничную вещь еще в первый год своей жизни в Риме, и теперь ему хотелось ее закончить. Он писал вольный латинский перевод, чувствуя, как окрепло его мастерство, насколько точнее и мелодичней звучат слова.

Его никто не тревожил, работа спорилась. Он закончил перевод, тщательно переписал стихи на папирус и отправился ловить рыбу с Титом. Забрасывая сеть, он помышлял о другой поэме, тема которой, безнадежная и страшная, запала в сердце после весеннего празднества Кибелы.

Радение на горе Диндим осталось в его сознании бредовым видением. От этого ужаса хотелось избавиться с помощью стремительного ямба, схожего с диким ритмом фригийских гимнов. Новые замыслы были еще в тени, но беспокойство мнимо шепчущих слов уже искало выхода.

Узнав о возвращении Катулла, прислал письмо Корнифиций. Его послание едва уместилось на четырех табличках. Корнифиций поздравлял Катулла с благополучным прибытием в родную Верону и рассказывал о политических новостях.

Особенно подробно он описал торжественный въезд в Рим изгнанного

Цицерона. Все ступени храмов у Капенских ворот занимали нарядные граждане. Когда приблизились носилки Цицерона и его дочери Туллии, народ с воплями восторга сбегался к Аппиевой дороге. Цицерон вышел из носилок и приветствовал рядовых граждан и представителей правительственного сената.

«О, это был незабываемый день!» (чувствовалось, что Квинт Корнифиций ликовал, когда писал эти строки).

«Впрочем, — огорченно признавался он в конце письма, — рукоплескания стихли, славословия закончились, приветственные речи произнесены, но наш знаменитый и великодушный Цицерон не стал снова главной фигурой римской политики. Все взоры обратились к завоеванной Галлии, а затем к паршивому городишке, где рычало и лаяло трехголовое чудовище — Помпей, Красс и обожравшийся грабежами Цезарь».

Читая о событиях, во время которых он скитался азийскими дорогами и плыл по бурным морям, Катулл чувствовал, как он теряет покой, обретенный с таким трудом у голубых вод Бенакского озера.

Атгис — возлюбленный грозной Кибелы... Он должен стать героем поэмы Гая Катулла, извлеченный из путаных фабул греческих и фригийских сказаний.

Но замысел изменился. Нет, не затем будут написаны стихи, исподволь зреющие в душе, чтобы поразить ученостью, знанием мифологических тонкостей, до блеска выглаженным изяществом стихосложения. В поэме отразится его собственная жизнь и жизнь подобных ему, пылких и доверчивых людей, которых постигла смертная тоска разочарования. Сгинули восторги, остыла самозабвенная страсть, все оказалось гнусным обманом. Истекло кровью растерзанное сердце, и он бежал в таинственные дебри Фригии.

О, как отвратителен был ему Рим, когда он мечтал избавиться от его горластых политиков и разнузданной черни, от покровителей-нобилей и матрон, рассуждающих о поэзии и предающихся грязным утехам!

Умчаться туда, где белые пики гор растворяются в бездонном сиянии... Броситься в глубокий лог, веющий медовым запахом цветов, и, плача от счастья, целовать благоухающую роскошь природы... Убежать в сумрачные, непроходимые леса, навсегда стать изгнанником, вольным бродягой, пастухом кочующих в неизвестности стад...

Катулл помнил юношу, смело схватившего нож, чтобы навсегда уйти из-под власти Венеры... Катулл вспоминал писклявых скопцов в женских платьях, их непристойные движения и робкие взгляды, скрывающие печальную правду об истинной доле «служанок Диндимены».

Причины его побега в Вифинию казались простыми лишь на первый взгляд. Не только смерть брата и измена Клодии... Не только окружавшее его, душное кольцо бедности и интриг... Самой главной, внутренне убеждавшей его причиной оказалась несколько неожиданная, но ясная истина. Он вполне, всем сердцем вдруг осознал ее.

Для него республика существовала лишь там, где собирались его ближайшие друзья; в их душах еще жила справедливость, они были действительно великодушные римляне, и он среди них был не праздный болтун, а *vir bonus* — добропорядочный гражданин.

Но созданный воображением, искусственный мир находился под постоянной угрозой жестокого вмешательства жизни. Под ее ударами этот мир рушился. Все труднее было отстаивать последнюю крепость святого

братства — она грозила засыпать его обломками. Бежать? Но ведь и Вифинию он оставил с не меньшей поспешностью, чем прежде Рим...

Катулл ночью вышел из дома. Звезды сияли в черном провале Вселенной, как мелкие масляные площадки, мигая, разгораясь, угасая, иногда срываясь и стремительными желтыми искрами падая в озеро. Он безошибочно находил в россыпях небесных огней Косу Берёники между созвездиями Льва и Девы. Он уже отослал переведенный эпиллий в Рим с посвящением Гортензию Горталу, давнему его почитателю.

Ночные цикады звенели напряженным, томительным, несказанно древним звоном. Они начали свою нескончаемую песнь, лишь только из вихрей Хаоса возникла Земля. Едва рассеялся черный дым катастроф, как из расщелин остывающих скал полились еще робкие, будто греза, звуки жизни. Теперь они царствовали в ночи и торжествуяще наполняли мир. Катулл слушал, замороженный переливчатым пением.

Озеро вздрагивало от легкого ветерка, тихо поплескивало на камни. Потом ветерок иссяк, и плеск замер — остались цикады, и возникло два звездных пространства — действительное и отраженное. Катулл стоял между ними, и ему казалось вполне возможным и вовсе не удивительным, что только от его желания зависит — оставаться ли ему человеком, или взмахнуть руками, превращенными в крылья, и птицей взлететь над озером. Он крикнет громко и странно и помчится во мраке к спящим горам, сольется с волшебной ночью, навсегда исчезнет... Но ему предназначено другое, его мучит «Аттис».

Вздохнув, Катулл возвратился в дом. Выбил огня, зажег светильник с тремя фитилями, прилег и придвинул к себе табличку.

— Я не знаю, как писать об этом, — со страхом думал он. — Я сам вижу теперь, что ничего не получится. Я устал и хочу спать. Обычно и глупо хочу спать. Гений покинул меня, я бездарен. Что же будет с моим «Аттисом»? Что будет со мной?

Катулл оцепенел. Память восстанавливала картины священного фригийского празднества. Он снова увидел обрывистые пустынные берега и заросшие суровыми лесами дикие хребты Иды. Оцепенение прошло. Он сосредоточился и крепко сжал пальцами стиль. От этой готовности к изнурительному труду, к страстной борьбе возникла уверенность. Поэма складывалась в его воспламененном воображении.

Super alta vectus Attys celeri rate maria,
Phrigium memus citato cupide pede tetigit...

Стиль царапает по вощенной дощечке, переворачивается, заглаживает нацарапанное и снова чертит четкие ряды букв. Поймут ли то, что он задумал рассказать в поэме? Почувствуют ли его душу в мятущейся душе Аттиса?

По морям промчался Аттис на летучем, легком челне,
Поспешил проворным бегом в мрак и глушь фригийских лесов,
В мрак и дебри чащ дремучих, ко святым богиням местам.

Будет ли ясен друзьям-поэтам рыдающий мотив «Аттиса»? Что ж, следует предоставить им спорить и объявлять свое мнение об истинном смысле буйной ярости безумного юноши, не пощадившего себя во имя Кибелы.

Катулл вернулся на тихое озеро, в дом своего детства. Разве он не счастлив сейчас, не избавлен от неизлечимых, как он думал, страданий? Он нашел ту долгожданную радость, которой навсегда лишился герой его поэмы. Несчастный Аттис! Вот прошло исступление, и потрясенным сердцем он чувствует безысходность совершенного:

Мать моя, страна родная, о моя родная страна!
Я, бедняк, тебя покинул, словно раб и жалкий беглец.
На погибельную Иду, ослепленный, я бежал.
Здесь хребты сияют снегом. Здесь гнезятся звери во льдах.
В их чудовищные норы я забрел потайной тропой.
Где же ты, страна родная? Как найду далекий мой край?..

Катулл писал до утра. Спал он всего часа три. Потом привезли почту из Вероны: отец пересылал ему письма друзей. Следом за письмом Корнифиция пришли послания от Катона и Вара.

Катон, как и Корнифиций, сообщал о наиважнейшем событии — возвращении Цицерона. Словом, о том, что Катулл давно уже знал, сидя в своем захолустье.

Поразительным казалось одно: в письме Катона речь шла только о политике и ни слова — о поэзии. Полно, разве это пишет Валерий Катон — книжник, грамматик, поэт, глава и наставник «александрийцев»? Его письмо истекает желчью уязвленного сподвижника оптиматов, с упорством проповедующего невозвратимые идеалы «старой» республики. Или он

подражает своему однофамильцу, вождю сената Марку Порцию Катону, о котором даже Цицерон с иронией сказал: «Он забывает, что живет не в идеальном государстве Платона, а среди подонков Ромула»?

Катулл, нахмурясь, читал письмо председателя «новых» поэтов, призывавшего его покинуть затхлую тишину провинции и, явившись в столицу, защищать права и честь гражданина. Письмо было написано раздражающе назидательно. Катулл с досадой отложил его в сторону, чувствуя протест против этого высоконравственного насилия. Послание Вара заключало в себе, прежде всего, вопросы о том, выгодной ли оказалась вифинская поездка, много ли денег и рабов он приобрел. Затем Вар самодовольно перечислял свои успехи на поприще адвокатуры, любовных волокитств и пирушек. Между прочим, он похваливал заколдованно-удачливого Цезаря и саркастически описывал всполошившихся сенаторов, окончательно теряющих из-под ног политическую почву. И тоже — ни слова о стихах.

Катулла злило упорное невнимание к тому, что связывало их больше всего остального. Он не находил этому убедительного объяснения. Но в конце концов понял одно: то, что по-прежнему было для них изящным развлечением, приятным и щекочущим самолюбие досугом, для него превратилось в главное дело, радость и муку всей его жизни.

Кроме пустяков и политических новостей, в письме Вара упоминался скандальный судебный процесс, слушать который сбегался весь Рим. Причина скандала заключалась в следующем: Марк Целий Руф обвинялся в попытке отравить вдову сенатора Метелла Целера, патрицианку Клодию Пульхр. Вдобавок разгневанная Клодия требовала, чтобы Руф вернул ей крупную сумму денег, взятую у нее в долг и своевременно не возвращенную. Словом, красавец Руф продолжал являть сокровища своей благородной души. Никто уже не сомневался в истинной их цене. Подробностей Вар не сообщал.

Катулл шагал по комнате с письмом Вара в руке, то злорадно улыбаясь, то задумываясь и невнятно разговаривая с самим собой. Осевшая муть ревности поднялась со дна души и заставила его бессмысленно страдать. Он тотчас написал в Рим своему высокородному другу Аллию, умоляя рассказать о раздоре между Клодией и Руфом.

Отец встретил Гая бодрым приветствием и похлопал по спине, как борца перед схваткой или норовистую лошадь на ипподроме. Гай насторожился: видимо, старик решил наконец привлечь его к участию в своих делах.

— Приведи себя в порядок, — сказал отец, потирая руки и

таинственно подмигивая.

Гай послушно умылся, причесался и накинул лиловую афинскую хлену. Отец подвел его к тучному, широколицему человеку, глядевшему со снисходительной важностью.

— Вот мой сын, многоуважаемый Аквиллий, — сказал старший Катулл. — Он счастлив быть для тебя полезным. Гай, перед тобою принципс муниципального совета Вероны, почтенный Луций Аквиллий. Он хочет удостоить тебя лестным и выгодным предложением.

Гай понял, что это очень нужный отцу сановник, и поклонился с принужденно-любезным видом.

— Я давно наслышан о твоих успехах в поэзии, — с натужной торжественностью и одышкой обжоры заговорил Аквиллий. — Отцы города, в том числе я и твой отец, решили сделать тебе заказ как известному римскому поэту и вместе с тем земляку, выходцу из нашего муниципия. Мы выделили средства для праздника в честь Латонии, Юноны, Люцины, Тривии, Артемис, олицетворяющей Луну, покровительницы деторождения, дающей месячный счет годам, опекающей женские регулы и охоту на диких зверей. Да, именно, в честь богини Дианы. У нас не так много денег, как у городского эдила в Риме, хе... хе... Мы не можем праздновать все праздники с шествиями, музыкой, плясками и мимом. Но в этот раз мы не постоим перед расходами. Ты спросишь, почему мы обратились к Диане, а не к грозному Юпитеру или изобильному Опсу? Скажу откровенно — потому, что в празднике Дианы-Латонии могут принять участие все женщины и даже молодые девушки. Это любимая покровительница наших жен, не считая, конечно, Бона Деа — Доброй Богини Фауны...

Катулл поначалу хмурился, однако, заметив похолодевший взгляд отца, встрепенулся и заставил себя почтительно улыбнуться.

— Ты сочинишь гимн, посвященный Диане, его будут петь хором юноши и девушки из самых почтенных семей Вероны. То, что слова гимна напишет известный поэт, будет приятно всем. А тебе не повредят, я думаю, две сотни денариев.

Катулл согласился: он не заставит ждать мудрейших отцов города. Правда, ему еще не приходилось сочинять стихи по заказу, но он попробует справиться со столь ответственным поручением.

— Так ведь тебе заказаны не стихи, а священный гимн... — удивился Аквиллий. — За стихи муниципальный совет не стал бы платить деньги.

Катулл понял, что продолжать беседу бессмысленно. Ему нужно покинуть шумный город, сказал он, и уединиться. Вежливо поклонившись гостю, он сделал знак отцу и уехал на Сирмион.

Юный поэт Цецилий из рода Плиниев жил в городке Новум Комум, на берегу Ларийского озера. В часы досуга он сочинял поэму о Диндимене-Кибеле, богине фригийских гор. Сочиняя, Цецилий помнил, что знаменитый Катулл, чьим преданным поклонником и учеником он себя считал, вернулся недавно из Вифинии, где видел, конечно, древнее святилище Кибелы и вдохновился могучей властью богини над сердцами людей. Если Катулл напишет о владычице Диндима, то Цецилий, используя ту же тему, невольно станет его соперником в поэзии. Но каково соревноваться с Катуллом!

Год назад Цецилий отказался поехать в Вифинию и сейчас в глубине души сожалел об этом. Тогда он самодовольно обещал написать поэму, не покидая родного дома и не разлучаясь с любимой супругой.

Жена Цецилия была не меньше его сведуща в стихотворчестве. Подражая великой Сафо, она сочиняла жалобные песни неразделенной любви. Но даже ее искреннее восхищение «Диндименой» не удовлетворяло его. Он поцелуем благодарил милую подругу, растроганно гладил ее кудрявую головку и уходил бродить по берегу озера. Вздыхая, он с грустью размышлял о своей поэме. Может быть, он напрасно теряет дни невозвратимой молодости? Зачем отнимать время у веселья и любви? Если Аполлон не пустит его на Парнас, то напрасны все труды и жертвы.

Воображение Цецилия питали ветхие греческие свитки. Он прилежно перечитывал их, и его латинские строфы заполнялись давно устоявшимися выражениями, такими, как «влажномерцающий взгляд прекрасновенчанной богини», «гибельно-яростный гнев» и «громкошумящая слава».

Мучимый сомнениями, еще не закончив «Диндимену», Цецилий вдруг решил и послал ее Катуллу. Ответ пришел через неделю. За эту неделю юноша потерял сон.

Ответ Катулла восхитил его. В великолепных стихах Катулл хвалил поэму Цецилия и изящно воспевал нежную преданность его возлюбленной. Влажными от счастья глазами Цецилий читал:

Задушевному другу и поэту
Пусть Цецилию скажут эти строки,
Чтоб в Верону летел он, Новум Комум
И Ларийское озеро покинув.

На другой день юноша помчался к Катуллу. Они расцеловались и принялись говорить, перебивая один другого. Этот бессвязный разговор продолжался, пока Катулл, рассмеявшись, не прикрыл ладонями рот Цецилию и себе. Друзья уединились в таблине. Цецилий узнал, что Катулл со дня приезда живет в загородной вилле, отдыхает и следит за хозяйством, а сейчас он привез в Верону гимн к празднику Дианы-Латонии, написанный по заказу городских властей. Гимн был написан по образцу старинных обрядовых песнопений, и, казалось, Катуллу не очень-то хотелось его сочинять. Отодвинув тщательно отглаженный пемзой папирус, Катулл взял стопку табличек и показал Цецилию.

Юноша жадно пробежал глазами еще неизвестные ему творения друга, вспыльчивого и мудрого, язвительного и благородного, великого поэта. Катулл тем временем сидел рядом, положив ногу на ногу, и исправлял что-то в одной из табличек.

У Цецилия перехватывало дыхание от волнующей прелести и совершенства стихов. Две элегии на смерть брата были поразительны, ничего подобного по искренности и глубине печального чувства Цецилий не знал ни в греческой, ни в римской поэзии. И тут же он от души смеялся над забавным отрывком, в котором говорилось о бедных жителях маленького городка, не собравшихся починить прогнивший мостик через болото, и о незадачливом «землячке», глуповатом и сонливом, прозевавшем свою юную «женку». Стихи, написанные в дальней Вифинии, во время путешествия и на Сирмионе, все были по своему пленительны и тщательно, мастерски отделаны. Цецилий не находил слов, чтобы выразить свое преклонение перед головокружительным блеском этих черновики.

Катулл видел восторг юноши, и ему стало неловко, будто он пригласил его нарочно, зная заранее его неизменное доброжелательство. Смиренно, с легкой усмешкой он ждал, когда Цецилий прекратит лепетать похвалы его стихам. Потом он задал ему коварный вопрос:

— Ну а как идут дела на твоём мутном, обмелевшем озере?

Он начал игру, которой они не раз развлекались в Риме, смущая недоумевающих приятелей, пока те не разгадывали истинную цену их спора.

— Почему ты говоришь с таким пренебрежением о Ларийском озере? Разве оно хуже Бенакского? — вступил в игру Цецилий тем более охотно, что вошел отец Катулла и сел рядом в кресло. — По-моему, наоборот...

— У тебя достаёт совести сравнивать кристально прозрачный Бенако с

мерзкой лужей, называемой Ларийским озером? — Катулл поднял брови и сделал обиженный вид.

— При всем моем уважении к тебе, дорогой Гай, лужу напоминает скорее Бенако... — ни на шаг не отступил юноша, презрительно скривив губы. — Не говоря о вони этой сточной ямы, в ней и рыбы-то никакой нет...

— Что? В Бенако нет рыбы? Да мой знакомец Тит недавно поймал вот такого угря... нет, во-от такого... ты видишь? Клянусь Геркулесом, я еще не встречал столь невыносимого спорщика, утверждающего с ослиным упрямством, что Ларийская клоака чище божественного Бенакского моря...

— Я позволю себе привлечь беспристрастное внимание мудрого отца, — обратился Цецилий к старшему Катуллу, — чтобы он смог по достоинству оценить неприличную похвальбу своего сына. Всем известно, что хвастунам всегда не хватает размаха рук, чтобы показать, какую невиданно огромную рыбу они поймали... Нет, даже не они сами, а их сосед, или некто «знакомец», или, наконец, раб этого «знакомца» и так далее. Гай, может быть, принести веревку подлиннее? Тогда ты покажешь нам величину фантастического угря, выловленного в смрадной жиже Бенако... Но, положи руку на сердце, признайся: ведь настоящая рыба водится именно в чистой воде Ларийского...

— Нет, — прервал его Катулл, — только в несравнимо более прозрачном Бенакском!

— Но чище-то Ларийское!

— Нет, Бенако, дерзкий лгун!

— Сам ты лгун и распутник! Чище Ларийское!

— Клянусь Юпитером-громовержцем, я вынужден буду двинуть тебе по уху, молокосос, если ты не уймешься! — Катулл вскочил на ноги.

— Попробуй только дотронься до меня, я отделаю тебя как бараний биток! Все равно прозрачнее Ларийское озеро! — Цецилий тоже встал с воинственным видом.

— Где мой кинжал? — завопил Катулл, бросаясь на Цецилия. — Я убью этого наглеца сейчас же, не сходя с места!

— Плевать я хотел на твои угрозы! Я и без кинжала с тобой расправлюсь! — Цецилий оттолкнул Гая и взмахнул кулаками.

Тут вмешался оторопевший от изумления отец Катуллы.

— Гай, ты пьян, что ли? — закричал он, стараясь их разнять. — Цецилий, мальчик, ты перегрелся на солнце? О чем вы спорите, идиоты? Горе мне, они сошли с ума!

Мнимые скандалисты дружно расхохотались, и почтенный муниципал

понял свою оплошность.

— Негодяи! — воскликнул он. — Нашли способ дурачить пожилого человека! Вот велю высечь вас как напроказивших школяров... Сейчас же убирайтесь из моего благонравного дома! И не появляйтесь в Вероне раньше, чем через три дня! И непременно привезите мне свежую рыбу из Бенакского озера... Да, да, паршивец Цецилий! Убирайтесь, или, клянусь всеми богами, я исполню свою угрозу! — Старик показал, что и он не лишен остроумия.

Друзья собрали свои таблички и поехали на Сирмион. Там они обедали и отправились гулять, слушать плеск воды и дышать вечерней прохладой.

Лето кончилось, но осень еще не решалась тронуть природу желтизной увядания — лишь сгустила цвет тяжелой листвы. Наступило время роскошной зрелости. Виноградники издавали терпкий запах налившихся гроздей, черных и искристо-золотых, фруктовые сады разукрасились румяными плодами. Молоденькие девушки смущенно поглядывали через изгородь на грубо вытесанные деревянные фаллы, поставленные в садах, как символы плодородия. Хлеба были убраны, и пологие скаты полей топорщились белесой стерней.

Катулл и Цецилий поднялись на холм и остановились у межевого камня, посвященного Термину. Юноша окинул взглядом озеро, полоску Сирмиона, зеленовато-дымчатые валы альпийских предгорий и, покосившись на Катулла, сказал по-гречески:

— Прекрасный уголок, клянусь Герой! Этот платан такой развесистый и высокий, а разросшаяся тенистая верба так великолепна, — все кругом благоухает. И что за славный родник пробивается под платаном: вода в нем совсем холодная, можно попробовать ногой... Ветерок прохладный и очень приятный: он звонко вторит хору цикад. А самое удачное — это то, что здесь на пологом склоне столько травы — можно прилечь, и голове будет очень удобно... [\[163\]](#)

Цецилий хитрил, он вздумал проверить память Катулла, но веронца провести не удалось.

— Уж эта мне греческая образованность, — усмехнулся Катулл. — Советую тебе, мой Цецилий, описывать лишь то, что ты видишь своими собственными глазами. Где же тут платан, когда перед нами старые корявые вязы? А вместо поэтических зарослей вербы — пустые поля и заботливо подвязанные виноградники... И вообще, мудрый Платон обзревал блаженным взором красноватые склоны Гиметтского хребта и любовался дальней синевой моря, а у нас под носом тихое озеро и отроги

неприветливых галльских гор...

Катулл замолчал, потом достал из сумки табличку и сказал:

— Вот это я видел сам... хотя многое, конечно, вообразил и домыслил. Я чувствовал сердцем то, о чем попытался правдиво рассказать. Но хватит предисловий... Прочти и скажи свое мнение. Ты первый узнаешь моего «Аттиса».

Цецилий осторожно взял табличку и вполголоса начал читать. Катулл посмотрел на его медленно шевелящиеся губы, отвернулся и отошел в сторону. Цецилий читал, а Катулл расхаживал по тропинке туда и обратно, покашливая и покусывая нижнюю губу.

Прерывистый, невиданный ямб умчал Цецилия в фригийские дебри и поразил его безумными воплями и покаянными рыданиями несчастного Аттиса. Цецилий замер, кровь хлынула ему в лицо и застучала в голове...

Написав гениальный эпиллий, Катулл серьезно обсуждал «Диндимену» Цецилия и расхваливал ее достоинства! О боги, может быть, он смеялся про себя над глупой самонадеянностью бездарного мальчишки? Нет, это непохоже на Катулла... Наоборот, он искренне, как показалось Цецилию, радовался поэме и даже завидовал наиболее удачным строкам. Но теперь Цецилий сам понимает, насколько прекрасны стихи Катулла, и как еще слабы и подражательны его собственные стихи.

Цецилий кончил читать и побежал навстречу Катуллу. Они остановились одновременно, оба тяжело дышали от волнения.

— Прости меня, Гай... — сказал Цецилий, с благоговением возвращая табличку. Катулл покачал головой, но Цецилий не дал ему возразить.

— Ты понимаешь за что... — продолжал он. — Не удивляйся и не оправдывай меня. К чему лицемерить? Да мы оба и не умеем это делать. «Аттис»... О такой буре в человеческой душе еще никогда не было написано... и такими новыми, странными, стремительными стихами... Я чувствую, в «Аттисе» сказано гораздо больше того, что означают сами слова... Я догадываюсь о многом, но не могу сейчас объяснить... Рим будет у твоих ног, Катулл.

Они обнялись и долго стояли обнявшись, как влюбленные. Цецилий был намного выше и прижимался щекой к густым каштановым волосам веронца.

— Спасибо, мой дорогой, ты успокоил меня, — проговорил Катулл. — Теперь я действительно уверен в успехе «Аттиса».

— Позволь мне уехать завтра же, — сказал юноша. — Я увезу свою поэму и буду работать над нею до тех пор, пока она не станет достойной «Аттиса»... Хотя бы его сотой доли...

— Но «Диндимена» — создание незаурядного дарования, — возразил юноше Катулл, он говорил просто и задушевно. — «Диндимена» очень нравится мне, поэма прелестна.

— А твоя ужасна, полна нестерпимым страданием и тоской. Аполлон послал тебе могучего и скорбного гения. Пойдем-ка выпьем за твоего «Аттиса»...

— И за твою «Диндимену».

Наутро Цецилий уехал. Проводив его, Катулл зашел к Титу, и они отправились ловить рыбу. Потом Катулл угощал Тита и сельского сказочника Каприлия вином и читал им нескромные стихи, от которых они помирали со смеху.

Через несколько дней начался сбор винограда. Крестьяне нарядились, надели венки и распевали древние гимны. Виллик Процилл созвал сборщиков из деревни и присоединил к ним всех рабов, находившихся на вилле. Катулл помогал налаживать пресс в давильне, выбирал амфоры, годные для хранения молодого вина.

Подвозили на повозках корзины с виноградом, выгружали, раскладывали под навесами, тащили к прессу, заливали сок в амфоры. Парни поглядывали на чаны с бродившими в них виноградными выжимками, которые хозяева обычно отдавали батракам и рабам, и похлопывали себя по животу. Женщины с покрасневшимися щеками сновали по двору, усиленно двигая бедрами, и суетились еще больше, чем мужчины. Всюду слышались игривые шлепки, смех и громкие возгласы. Воздух над Сир-мионом пронизан был радостным возбуждением грядущего праздника, благословением Либеры-Вакха. Суровый вид сохраняли только старуха ключница да стряпуха, готовившие для всех ужин: рыбную похлебку и кашу из чечевицы.

Катулл чувствовал себя неприятным земледельцем, захваченным общим трудом и угаром вакхического веселья. Он с торжественной деловитостью советовался с опытным Проциллом, беззлобно покрикивал на работников, шутил, пробовал сок и выжимки и, заметив вечером, что хорошенькая Геба убежала в свою каморку сменить вымокшую рубашку, крадучись, вошел следом за ней.

Когда старший Катулл приехал из Вероны, Гай встретил его с показным усердием работника, рьяно пекущегося о хозяйском добре. Гай явно играл прижимистого, рачительного селянина, его обычный облик изменился до неузнаваемости. Медно-загорелый, нечесаный и небритый, в измятой тунике, покрытой неопрятными пятнами и пахнущей забродившей кислятиной, он смешно размахивал руками, забегал вперед, отталкивая

Процилла, и всячески старался показать свое знание сельского уклада.

Отец морщил нос от удивления и тревоги: как бы Гай не слишком увлекся этой новой затеей! Впрочем, старый муниципал надеялся, что это скоро пройдет. Он мигнул Процилле: как здесь? Виллик зашептал за его плечом. Старик Катулл кивал головой. Ловит рыбу? С Титом? Пусть себе... Ночует у милашки Гебы? Это его дело... Подарил рабыне браслет? Пустяки...

Отец взял Гая под руку и повел в дом. Они сели рядом, и отец сказал насмешливо:

— Твое усердие при заготовке вина и освоении прочих работ на вилле весьма похвально.

Оба стали серьезными и взглянули друг другу в глаза. Старику казалось, что он понимает тайные мысли Гая и, несмотря на его неподатливый характер, сумеет довести сына до вершин жизненного успеха.

— Вчера была почта из Рима, — сказал отец. — Вот возьми письмо от Луция Манлия Торквата.

Гай дрогнувшей рукой взял письмо Аллия, и опять старик подумал, что он вполне его понимает. Практичность веронских Катуллов все же не могла побороть их врожденную гордость. На самом деле Гай оставался непонятым; в определенную минуту между отцом и сыном вставала глухая стена, и тогда Гай отчужденно и терпеливо молчал. Старший Катулл довольствовался его почтительным вниманием.

— Нелегко бедному муниципалу быть другом патриция. Невольно попадаешь в положение зависимого клиента, не так ли? — Старик погладил Гая по плечу. — Но времена меняются. Может случиться, что надутые нобили еще будут просителями стучаться в твою дверь...

Гай вздохнул, вскинул и опустил взгляд. Отец продолжал с пафосом:

— Глава муниципального совета мудрый Аквиллий ждет в своем доме высоких гостей. Лучшие семьи Вероны устраивают прием в честь непобедимого императора Юлия Цезаря и его славных легатов. Я буду рад познакомить тебя со своим великим другом. Я дерзаю так его называть, потому что, посетив два года назад мой скромный дом, он первый обратился ко мне столь лестно и снисходительно. Возвращаясь, Цезарь осчастливит веронцев своим вниманием. Ты понимаешь, надеюсь, насколько важна для нас эта встреча. Я думаю, Цезарь простит легкомыслие молодости, — я имею в виду твои грубые эпиграммы... Словом, оставь увлечение сельским хозяйством и превратись в прежнего элегантного римского празднолюбца.

VII

Закончились приветственные речи и торжественный завтрак, данный по случаю приезда в Верону Гая Юлия Цезаря. Гости покинули триклиний и, весело переговариваясь, вышли в атрий, где почтенные муниципалы представили императору своих жен и родственников. Тучный Аквиллий преисполненный горделивой важности, старался занять эго рассказом о строительстве базилики перед храмом Юноны, производимом на средства городского совета.

Цезарь тотчас сказал что добавляет к этим средствам сто тысяч сестерциев от себя. Муниципалы радостно завопили и захлопали. Цезарь скромно покачал головой, как бы отклоняя проявления благодарности. Он был крайне любезен, блистал остроумием и изящными манерами. Лабием, Гирций, Мамурра и другие приближенные ему подражали.

Проницательными глазами полководца и политика Цезарь заметил в нарядной толпе, посылающей ему славословия, двух людей. Они сразу привлекли его внимание.

Один из них, с сухим, узким лицом, кудрявой бородкой и спокойным взором мудреца, несомненно, был греческий врач Сосфен, слышущий чудодеем и потомком гениального Гиппократы. Сосфена направил к Цезарю литератор Асиний Поллион, предварительно известивший императора кратким письмом. Цезарь не мог не оценить деликатной заботливости Поллиона. Из всего алчного и льстивого окружения императора никому и в голову не приходило, что он нуждается в помощи опытного врача. А между тем его ужасная болезнь нередко напоминала о себе. При длительном утомлении припадки учащались, и он скрывал тайное отчаяние огромным усилием воли. Цезарь кивком подозвал секретаря и вполголоса приказал ему пригласить грека в свою резиденцию для доверительной беседы наедине.

Потом Цезарь обратил внимание на стройного, загорелого человека среднего роста в щегольской светло-серой тоге. Он с серьезным видом стоял у стены, позади громко восклицавших мужчин, млеющих девушек и распаленных любопытством матрон.

Цезарь повернулся к сопровождавшим его пожилым муниципалам и спросил одного из них:

- Я не ошибаюсь, дорогой Катулл? Этот приятный юноша твой сын?
- Да, благороднейший друг, это Гай. Ты ведь знаешь его стихи.

Некоторые ему действительно удались, хотя... не смею навязывать тебе свое мнение, о потомок Ромула.

— Кто же не знает прекрасных элегий Катулла! — воскликнул Лабиев. — Надо быть тупицей, чтобы ими не восхищаться.

— Попроси его подойти к нам, — сказал Цезарь. «Хорошо бы взять Сосфена с собой в Галлию, — думал он, улыбаясь приблизившемуся Катулла. — Если вместо бездарных лекарей и заклинателей около меня будет находиться такой выдающийся знаток медицины, я почувствую себя гораздо спокойнее. У меня уже сейчас появилась душевная бодрость и надежда на исцеление. А чтобы быть уверенным в преданности грека, надо искусно расположить его к себе... Кстати, и этого норовистого, злоязычного поэта тоже».

Пока Катулл, склонив голову, проговаривал изысканные приветствия, Цезарь благожелательно смотрел на него своими черными, продолговатого разреза, красивыми и печальными глазами. На его худом лице было мягкое, женственно кроткое выражение. Только четко обрисованный, будто припухший рот напоминал о его сильнейших страстях: о необузданной чувственности и стремлении безгранично властвовать. В облике Цезаря соединились хрупкость и болезненная слабость с побеждающей их суровой сдержанностью воина.

Цезарь сказал Катулла:

— Рад познакомиться с любимцем Муз, с прославленным певцом Лесбии... Если бы не война, я бы давно искал этой встречи.

Катулл благодарил с тщательной вежливостью. Произнеся несколько любезных фраз, Цезарь выжидающе замолчал. Он, повелитель железных легионов, в самые опасные минуты сражения никогда не терявший самообладания, почувствовал вдруг странную неловкость, стоя напротив молодого веронца. Он предполагал встретить здесь со стороны каждого, к кому он благожелательно обращался, глубокое и восхищенное внимание. Но в светлых глазах Катулла Цезарь видел лишь недоверие и отчужденность.

Царившее в атрии приятное оживление стало несколько остывать. Многие успели заметить замешательство и разочарование Цезаря. Стоявший рядом с ним Лабиев с недоумением пожал плечами, а у старика Катулла беспокойно округлились глаза.

Неожиданное молчание находчиво прервал Мамурра, чем-то неуловимо похожий на своего покровителя. Он был моложе и красивее императора, хотя и не обладал таким разнообразием приёмов в общении с людьми. Его поведение отличалось модной среди светской молодежи,

веселой бесцеремонностью.

Нарочито небрежно Мамурра сказал Катуллу:

— Вот что, мой дорогой, мы тут почитывали твои стихи и, должен сказать без всякого лицемерия, не всегда их одобряли. Бесспорно, поэт ты прекрасный, но к чему эти постоянные жалобы на измену жестокой возлюбленной? Они утомляют. Разве нельзя писать о любви с уверенностью настоящего мужчины? Все слышали про твои успехи в искусстве Венеры, а не только в поэзии. Так что же в стихах ты хнычешь, как наказанный бессилием?

Катулл побледнел от унижения. Наглый цезарьский прихвостень, используя сплетни, распространяемые невеждами, смел выговаривать ему по поводу содержания его стихов.

— Я бы не стал плакать перед всякой там... э... Лесбией, — продолжал Мамурра, — пусть она и очень хороша собой. Клянусь богиней удачи, я бы не стал писать так уныло...

— Ведь наш Мамурра тоже жаждет милостей Аполлона, — не без сарказма заметил Цезарь.

— Только в его стишках все время путается размер, — добавил Лабием со смехом и хлопнул товарища по плечу, но Мамурра нисколько не обиделся.

— Если я осилю когда-нибудь премудрость гекзаметров, пентаметров, дактилей и ямбов, — сказал он, — тебе, Катулл, придется потесниться на Парнасе.

Все взгляды обратились к Катуллу. Он понял, что Мамурра вызывает его на поединок острословия, в котором ему предлагается сыграть роль шута.

Сдержав бешенство, Катулл серьезно сказал:

— Я могу ответить тебе одной старой греческой притчей...

Гости, любопытствуя, толпились вокруг. Цезарь поощрительно улыбался, отец Катулла таял от счастья.

Катулл собирался сразить Мамурру безжалостно, с уничтожающей язвительностью, но, посмотрев на отца, вздохнул и рассказал мирным тоном:

— Когда Филипп Македонский^[164] подошел к Спарте, ее жители закрыли перед ним ворота. Филипп послал спартанцам предложение сдать город добровольно. «Я покорил всю Грецию, у меня самое многочисленное, закаленное и смелое войско на свете, — писал он. — Сдавайтесь заранее, потому что... если я сломаю ворота и пробью стены... если я захвачу Спарту силой, то беспощадно уничтожу все население». Филипп ждал

ответа. Когда его принесли, завоеватель увидел только одно слово: «Если...»

— Очень тонко сопоставлено с тем «если», которое привел в свое оправдание Мамурра, — сказал Лабиен, заметив одобрение в улыбке Цезаря.

— Выходит, Катулл сравнивает Мамурру с Филиппом Македонским, который так и не смог одолеть спартанцев, подхватил Гирций, очень довольный тем, что Мамурра оказался проигравшим.

— Но Спарту взял сын Филиппа Александр, — не смущаясь, заявил Мамурра. — Значит, моему сыну суждено стать более знаменитым поэтом, чем сам Катулл.

— Скорее всего, унаследовав отцовский характер, он будет мотом и любителем красивых женщин, — понизив голос, ласково сказал Цезарь.

— Ну, в отношении красивых женщин поэты тоже не очень-то теряются... — Мамурра недвусмысленно кивнул на Катулла.

— Друзья, ступайте к милым веронкам, пока они не стали проклинать вас за пренебрежение их достоинствами, — обратился к своим легатам Цезарь. — А мне надо побеседовать с Гаем Валерием.

Все почтительно расступились. Катулл нерешительно последовал за Цезарем. Они прошли несколько шагов и остановились; от остального общества их отделял алтарь с дымящимися курильницами и статуями богов.

— Извини, что я отвлекаю тебя от веселья и прелестных матрон. Хотя мы не встречались с тобой прежде, но круг знакомых у нас один. Ты ведь хорошо знаешь Поллиона, например, или... Клодию Пульхр...

Катулл быстро взглянул на Цезаря. Он вспомнил сплетни о связи Цезаря с Клодией, будто бы известной многим. Ревность мучительно рванула сердце. Ему большого труда стоило сдерживать безрассудный гнев. Цезарь продолжал разговаривать с ним самым доброжелательным тоном. Ничего похожего на оскорбительный намек нельзя было заметить в выражении его худого, спокойного лица.

— Я хотел узнать твое мнение по поводу следующего: стоит ли мне написать книгу о походах в Испанию и Галлию? Разумеется, к стихам это отношения не имеет. Стихи я сочинял в юности, и, надо сказать, весьма посредственные. Сейчас я мог бы только правдиво изложить сведения об иберийских и галльских народах, накопившиеся в моей памяти за четыре года, и так же достоверно рассказать про все сражения и осады крепостей, которыми мне пришлось руководить. Мои друзья не дают мне покоя, умоляя взять в руки стиль. Что бы тебе пришло на ум по поводу такого

намерения военного, тем не менее с ранней юности влюбленного в литературу? Каким, ты считаешь, должен быть сам язык подобного произведения? Может быть, взять за образец Аристотеля или Геродота?

И Катулл все-таки сказал дерзость.

— За образец можно взять хотя бы воспоминания Луция Суллы.

Вскинув голову, он ждал, как прославленный римский полководец воспримет вызов ничтожного муниципала.

Однако для Цезаря не так-то просто было изобразить недовольство колкостью поэта: он находится в «своей» провинции и должен сохранить позу покровителя и миротворца. Цезарь слегка поморщился, но ответил, не теряя мягкости в голосе:

— Зачем ты назвал имя этого жестокого тирана? Разве я могу заставить себя обратиться для примера к запискам человека, который был некогда моим злейшим врагом?

— Сулла совершил героические походы, доставил республике сокровища царей и приобрел для нее обширные владения, — возразил Катулл, он говорил как бы отвлеченно, но Цезарь прекрасно понял значение этой фразы.

— Римлянин, получивший от государства всю полноту власти, никогда не должен забывать о справедливости и человеколюбии, об уважении к законам и о благе сограждан, — терпеливо и так же отвлеченно произнес Цезарь.

— Всякое единовластие переходит в деспотизм, а деспотизм, даже самый справедливый, все равно только всеобщая тюрьма. В этой тюрьме люди теряют благородство устремлений и находятся в плену низких страстей. Прежде всего, их одолевают вождения богатства и удовольствий, которые обольщают все большее число душ и делают свободнорожденных ничтожными рабами. Что же касается твоего намерения описать победы в Галлии и Испании, то твои сподвижники вернее меня посоветуют тебе, каким образом следует составить такое сложное описание, о наилучший император.

Наступила минута, когда Цезарь снял маску и заговорил откровенно.

— Катулл, ты не стремишься быть моим другом?

Веронец молчал, в этом молчании был его ответ. Цезарь посмотрел на него с любопытством.

— У меня есть сведения, что ты и твои друзья-сообщники хотели противодействовать мне во время и после моего консульства, — продолжал Цезарь, — и считали, что не следует останавливаться перед любым насилием... вплоть до убийства. Так ли это?

В сознании Катутла вихрем промелькнули Валерий Катон, Корнифиций, Кальв... и удрученный горем старый отец.

— Нет, Цезарь! — воскликнул он. — Это ложь!

— Я так и думал, — спокойно сказал Цезарь, — хотя о заговоре мне написал один из вас... не могу сейчас вспомнить его имени. Но я не придавал никакого значения доносу. Счел попытку молодых поэтов организовать заговор против правительства... имею в виду себя, Помпея и еще некоторых лиц высокого общественного положения... да, я счел такую попытку заблуждением, а не преступным умыслом, требующим расследования. То же относится и к твоим остроумным, но, поверь мне, несправедливым эпиграммам. Можешь по приезду в Рим рассказать о моих сожалениях всем знакомым.

Цезарь говорил с отеческой лаской в голосе. Катутл вспомнил одну из порочащих его характеристик, распространяемых оптиматами: «Жадный до денег, он еще более жаден до славы».

— Во имя твоего прекрасного дарования и моей дружбы с твоим отцом я хочу проявить снисходительность к тебе и твоим приятелям. Надеюсь, ваши взгляды изменятся в более зрелом возрасте. Впрочем, один молодой муниципал, по имени Саллюстий Крисп^[165], пишет мне письма, в которых клянется в бескорыстной преданности, находя, что моя деятельность ведет к восстановлению идеалов истинной демократии. Если бы ты знал, насколько мне радостно читать эти письма, потому что все предпринимаемое мной делается только ради возвышения государства и блага народа.

— О, я желал бы в этом не сомневаться! — с натянутой патетикой воскликнул Катутл.

— Для себя я не ищу ничего, кроме самого скромного признания моих заслуг согражданами, — продолжал император. — Если ты убежден теперь в моей правоте, то будем считать, что всякие недоразумения между нами улажены, и не осталось никаких недомолвок.

Они вышли на всеобщее обозрение и пожали друг другу руки: Катутл — почтительнейшим образом, Цезарь — с добродушной улыбкой. Катутл попятился к выходу, а Цезарь направился в круг поклонников и матрон.

Выйдя из дома Аквилія, Катутл застонал сквозь зубы. Самым тяжелым и унижительным впечатлением был не произошедший только что опасный разговор с императором, не наглая шутка Мамурры, не подобострастие веронской знати и даже не благоговение перед Цезарем умного отца. Самым омерзительным было то, что он успел заметить, выходя из шумного атрия.

Подрагивая мускулистой ляжкой, напомаженный ретивый жеребец Мамурра любезничал с молоденькой женщиной, отвечавшей на его ухаживания кокетливыми ужимками и встречавшей его раздевающий взгляд таким же бесстыдным взглядом. Это была Валерия Минор, дочь и жена добропорядочных веронцев, это была родная сестра Катулла.

Когда Цезарь подошел к своим соратникам, легат Публий, сын Марка Красса, спросил:

— Каково твое мнение о Катулле? Надеюсь, ты нашел в нем своего пылкого почитателя? — Публий Красс спрашивал не без иронии.

— В его стихах гораздо больше прелести, чем в его разговоре, — сказал Цезарь. — Как ни печально, но таковы многие поэты. Видимо, они всецело поглощены своими поэтическими замыслами и потому часто ненаходчивы и скучны. Катулл тоже довольно угрюм. Во всяком случае, его почтенный отец неизмеримо приятней и интересней в общении.

Тем же вечером Мамурра встречался у одного веронского всадника с вострушкой Валерией. Ее муж и отец знали об этом, но не решились им помешать. Старик Катулл счел излишне смелое поведение дочери пустяком и старался убедить в том зятя. «Ведь теперь все молодые вертихвостки стали вести себя подобным образом!» — говорил он, пожимая плечами. Впрочем, нельзя все-таки думать, что его не раздосадовало бесстыдство Валерии. Он волновался, не зная, как поступит бешеный Гай, узнав об оскорблении фамильной чести. Но, слава богам всемогущим, и он проявил выдержку. Жена рассказала, как, придя домой, Гай, злой и бледный, тотчас сбросил нарядную тогу и умчался на Сирмион.

— Ну, ничего, — бормотал старик, — поразмыслит в тишине и оценит события сегодняшнего дня. А насчет потаскухи Валерии — уж постарайся как-нибудь замять! Пусть растяпа муженек запрет ее покрепче!

Старик был очень доволен милостивым отношением Цезаря к Гаю. Но жена недоверчиво качала головой: она не верила в преобразование празднотлюбивого и развратного сына. Впрочем, на ее суеверия и предчувствия не следовало обращать внимания.

Несколько дней Гай Катулл нестерпимо страдал, упрекая себя в трусости и рабском смирении. Чем он может ответить на бесчестие? Убить Мамурру, любимца всемогущего императора? Но поединок между ними ни за что не допустят, да и скорее всего Мамурра убьет его. Обратиться с жалобой к самому Цезарю? Он такой же распутник, как и все его прихвостни. Интрижка Мамурры для них только повод поупражняться в своем солдатском остроумии.

Нет, все-таки у него есть средство отомстить врагам, каким бы

недосягаемо высоким не было их положение в республике. Берегитесь, славные завоеватели! Вы еще вспомните Катуллу, когда почувствуете разящие удары его беспощадных стрел-инвектив^[166]!

От бессильной ярости и тоски его исцеляли горы. Он уходил с рассветом, карабкался по обрывистым склонам, бродил среди темных сосен и желтеющих дубов и возвращался, когда солнце опускалось за лесистые вершины. Он ел в одиночестве, безразлично глядел мимо грустной Гебы, потом закрывался в своей комнате и раскладывал перед собой письма.

Странно, но Кальв и Непот молчали, а он сам из-за своей глупой щепетильности не решался написать им первый, боясь показаться навязчивым, старающимся привлечь к себе внимание стихоплетом.

Зато роскошные послания Гортензия Гортала по-прежнему касались поэзии и неизменно восхваляемых, надоевших павлинов. Гортензий благодарил Катуллу за посвященную ему «Беренику» и предрекал ей большой успех.

«Каллимах переведен восхитительно, — рассуждал Гортензий в письме, — это не просто удачное переложение на латинский александрийских одиннадцатистопников, это совершенно новая, чудесно звучащая песнь».

А вот перед Катуллом письмо Аллия. По содержанию оно делится на две части: первая — ответ на его просьбу рассказать о склоке между Клодией и Руфом, вторая — удивительное для весельчака повествование о его несчастной любви.

Подробности скандального процесса заключали в себе следующее: крайне наглое поведение на суде Руфа, обвиненного в нарушении клятв, воровстве, подлоге и попытке отравить знатную матрону, и великолепная речь, произнесенная в его защиту Марком Туллием Цицероном. Речь Цицерона, как всегда пышная и тенденциозная, изображала Руфа наивным мальчиком, опутанным колдовскими сетями «Медеи палатинских садов», известной всему Риму, «чудовищем разврата», — так великий оратор называл женщину, в которую был когда-то влюблен.

Под шум судебного разбирательства Руф еще раз сменил политическую маску и, покинув цезарианцев, снова перебежал в лагерь оптиматов.

«Сам Валерий Катон принял его в дружеские объятия, — продолжал Аллий. — Корнифиций готов простить его „ошибку“, я тоже, только Кальв глядит недоверчиво. Надо сказать, Кальв сейчас слишком расстроен: бедная Квинтилия вряд ли доживет до зимы. Может быть, и ты, Катулл, готов примириться с Руфом?»

Ирония Аллия исчезла, когда он перешел ко второй части письма, к своим бедам. Дело было в том, что роскошный циник и кутила Аллий влюбился в юную девушку, дочь сенатора Аврункулея. По происхождению и богатству Луций Манлий Торкват вполне подходил в зятя надменному патрицию, но брак не сложился. Аллий не распространялся о причинах, мешавших его счастью, но Катулл догадывался. Суровый Аврункулей не хотел отдавать свою семнадцатилетнюю Винию потертому хлыщу, прославившемуся оргиями и распутством. Сенатор придерживался нравов праведной старины и находился в близких отношениях с вождем оптиматов Марком Порцием Катонем. Аллий намекнул еще кое о чем: его отец и сенатор Аврункулей не вполне договорились о финансовой стороне брачного соглашения.

Аллий жаловался на жестокую судьбу, истомившую его бессонницей и безнадежной тоской. Печальные сетования всегда веселого, легкомысленного толстяка вызывали улыбку.

Аллий упрекал Катулла за безразличие к бедам друга и покровителя.

Разве Катулл забыл о его гостеприимстве? И вообще, долго ли он намерен сидеть в цезарьской провинции? Может быть, он присоединился к славословиям новоявленному Ромулу^[167]? Аллий негодовал. Знатный патриций Луций Манлий Торкват требовал утешения от поэта-муниципала.

Прочитав такое письмо год назад, Катулл подумал бы, что Аллий шутит, что он пародирует нытье млеющего от похоти, изнеженного слюнтяя. Но Аллий не шутил, и Катулл ответил серьезным, старательно отшлифованным, стихотворным посланием. Он оправдывался перед Аллием за невнимание к его печалям, снова вспоминал о смерти брата и о своем первом свидании с Клодией, происшедшем в доме Аллия. Он уснастил стихи всеми обязательными красотами изящного александрийского стиля и множеством обращений в эллинскую мифологию.

Но, закончив писать, Катулл усмехнулся. Его стихи, пожалуй, похожи на лесть клиента-паразита, зарабатывающего благоволение патрона. В прежние годы Катулл действительно был очень привязан к веселому и щедрому Аллию. Потом их дружба дала трещинку, причем, без всяких видимых причин. Просто, испытывая воздействие политической ситуации в республике, Аллий из легкомысленного повесы все больше превращался в Манлия Торквата, римского нобиля, испытывающего тревогу за судьбу своего избранного сословия.

Катулл задумался, вспоминая первое свидание с Клодией.

В перистиле, шипя и роняя капли смолы, горел факел. Его неровное

пламя выкрасило шафраном мраморные колонны. По лицам статуй скользили тени и блики, и, казалось, изваянные богини лукаво усмеваются не-тернению влюбленного. Горьковатый дымок перебивал запах жасмина, но Катулл нюхом встревоженного зверя почуял приближение той, по которой он так отчаянно изнывал.

И сейчас он ощутил в воображении помрачающее разум волнение, почти лишившее его в тот вечер дара речи. Услышав вопрошающий тихий голос Клодии, он промычал что-то, выставил перед собой руки и двинулся к ней растерянно, как слепой. Прикосновение ее влажной ручки и первый, невыносимо томительный поцелуй потряс и опалил его сердце. Потом были бесчисленные жадные поцелуи, потом в ожесточенном и страстном исступлении он услышал ее восторженные рыдания и бессвязные слова, обещающие нерасторжимую и преданную любовь... Это безумие осталось в нем навсегда, он сохранил его, несмотря на испытание временем и страданием.

Тяжко вздыхая, погруженный в воспоминания Катулл долго сидел над посланием Манлию Торквату. В конце он приписал еще две строки:

Всех предпочтенней — она, кто меня самого мне дороже;
Свет мой, пока ты жива, — сладостна жизнь для меня.

VIII

Сырой Фавон пригонял с запада брюхатые тучи. Его сменял ветер с Альп — расчищал хмурое небо, и тогда над озером веяло холодом ледников. Ветры трепали взлохмаченные лиловые гривы виноградников и губили беззащитную прелесть запоздалых цветов. Шумно срывалась и сыпалась поредевшая, ржавая листва вязов. Над озером стаями и вереницами летели птицы. Солнце светило с чахоточным бессилием.

Новембрий подступал, а Катулл все сидел на каменной косе и писал друзьям длинные, порой шуточные, порой печальные письма. Он сочинил эпиграммой для Аллия, чье неудачное сватовство в конце концов завершилось успехом: счастливый Аллий готовился к браку с юной Винией. Эпиграммой в виде двух сменяющихся хоров юношей и девушек одновременно напоминал итальянские свадебные песни и гимны греческих классиков, в нем сочетались торжественные обращения к богам, фесценнинские насмешки и серьезные назидания. Эпиграммой предназначался для непосредственного исполнения во время брачных обрядов.

Катулл нередко возвращался к «Аттису». Он придирчиво искал допущенные им прежде несовершенные обороты, изменял их и вычеркивал лишнее. Судьями, которым предстояло увидеть и услышать его «Аттиса», будут не только благожелательные друзья, но и завистливые поэты-соперники, бездарности и клеветники, а кроме них, и хитроумные делеги-издатели, и капризная знать, и весь многолюдный Рим, в сумятице беспорядков и распрей забывающий о поэзии.

Пришло письмо от Непота. Историк дружески упрекал Катулла за его добровольное затворничество. Не без задней мысли он сообщал о большом успехе сделанных Фурием Бибакулом переводов из Эвфориона, за что Фурия лестно прозвали «эвфорионов певец», о последних элегиях Кальва и Тицида и об огромном впечатлении и разноречивых толках, вызванных появлением на полках книгопродавцев нескольких частей из философской поэмы Лукреция Кара. С обычной скромностью Непот упоминал и о том, что он приступил к третьему тому своей «Всемирной истории».

Особенно внимательно Катулл отнесся к тем строчкам, где говорилось о поэме Лукреция. Еще до отъезда в Вифинию Катуллу приходилось слышать отрывки из философского эпоса, прославляющего учение Эпикура и объясняющего разнообразные явления природы бесконечным движением

мельчайших частиц — единственной сущности бытия. Тогда Катулл посмеялся над нелепой, как он считал, идеей заключить ученый трактат в поэтическую форму. Сейчас он понял, что был не прав.

Гекзаметры Лукреция звучны и вдохновенны, им может позавидовать самый прославленный поэт. Покусывая губы, Катулл стал рыться в сундучке с записями и черновиками. Он нашел табличку с переписанным началом поэмы «О природе вещей» и положил ее перед собой.

— По бездорожным полям Пиэрид я иду, по которым
Раньше ничья не ступала нога. Мне отрадно устами
К свежим припасть родникам и отрадно чело мне украсить
Чудным венком из цветов, доселе неведомых, коим,
Прежде меня, никому не венчали голову Музы...

Он замер, пристально глядя на дивно поющие строки эпикурейской поэмы.

Среди образованных римлян давно возникло скептическое отношение к антропоморфным богам. Вера в единый мировой дух, в мистические восточные культы, наконец, философия стоиков, перипатетиков, орфиков и эпикурейский материализм находили все большее число сторонников. Лукреций, по рождению принадлежавший к патрицианской знати, тем не менее не желал участвовать в общественной жизни и в своих великолепных стихах разоблачал невежество и зло всякой религии. Это казалось неслыханным кощунством. Жреческие коллеги и сенат вознегодовали. Благонамеренные граждане требовали суровой расправы над безбожником.

Но времена настали смутные и противоречивые, рушились порядки, опиравшиеся на непреложность государственной религии. Ни для кого не было скандальной тайной, что толкованиями божественных предзнаменований пользуются для прикрытия политических интриг, что понтифики занимаются спекуляциями, а весталки безнаказанно нарушают обет девственности, не говоря уж о том, что жрецы в своих проповедях пытаются оправдать притязания стремящихся к власти магнатов.

Лукреций продолжал спокойно разгуливать по улицам Рима и читать в собраниях отрывки из своей возмутительной поэмы. Происходил очевидный парадокс: потомственный нобиль, стоявший за традиционное правление сената и за порядки идеальной республики, ниспровергал религиозные установления, которыми она держалась. Ближайшим другом Лукреция был Рай Меммий Гемелл, претор, участник «александрийского»

поэтического кружка и начальник Катулла в Вифинии. Так же как и Лукреций, Меммий увлекался философией Эпикура, упрощая ее для оправдания того образа жизни, какой он предпочитал вести. Непот писал Катулле, что даже вожди сената Цицерон и Лукулл, постоянно соотносящие римскую доблесть с безупречной верой в богов, непоследовательно восхищаются святотатственной поэмой Лукреция.

В Риме и Катулл не избежал влияния греческого вольномыслия. Многие из его друзей объявили себя стоиками или эпикурейцами. Материалистическому пониманию мира частично следовали Катон, Кальв и особенно Корнелий Непот. Читая философские книги, беседуя со скептически настроенными, высокообразованными людьми, Катулл укреплялся в своих сомнениях относительно религии, и постепенно они все больше овладевали его восприимчивой натурой.

Но полностью согласиться с упрощенной жизнерадостностью эпикурейства, освобождавшего от страха перед богами и после смерти обещающего лишь небытие, Катулл все-таки не мог. Он продолжал ужасаться сверхъестественному и непознаваемому, жаждать чудес и откровений. К тому же таинственная значительность религиозных обрядов приближала его к естественному, слаженному и стойкому существованию предков.

В маленькой побеленной комнате, придвинув жаровню и положив на колени вощеную табличку, сидел поэт Катулл, томился неугасающей любовью к развратной римской красавице и царапал костяной палочкой столбцы строк. Пустые поля, лесистые холмы, размытые дороги и серые завесы дождей отделяли его от мира. В глухой тишине его тревожили только прилетающие из Рима упреки друзей. Может быть, ему не следует ждать этих писем? Читая их, Катулл начинал представляться самому себе заброшенным, несчастным паралитиком: вот у него уже разлагаются неподвижные конечности, черви копошатся в пролежнях, и умом овладевает тупое безразличие близкой смерти.

А там, в грохочущей междоусобицами и празднествами столице, бьется лихорадочный пульс литературной борьбы. Там обсуждают поэму Лукреция, расхваливают мальчишку Фурия, смакуют элегии Тицида и Кальва, интересуются историческими трудами Непота и, наверное, совсем забыли о нем. Разве есть блаженство в восхищенных кликах глупцов? Разумеется, нет, но одобрение друзей ему дорого и необходимо.

Однажды серым дождливым утром Катулл почувствовал, что ему надоел тихий Сирмион, скучная возня деревенской жизни и однообразие окрестностей. Как он мог в восторженном оцепенении часами любоваться

синевой гор и озера! Пожалуй, еще немного — и он станет изображать стихами годовой цикл сельских работ. Не хватает ему превратиться в подражателя древнего Гесиода^[168]... Никогда! Ему не терпится обнять Кальва, побеседовать с Непотом, уязвить Фурия, расчихвостить бездарных цесиев и суффенов^[169] и встретиться со счастливым Аллием.

И все-таки Катулл не решался ехать в Рим.

Отец, навещая его, рассказывал о важных новостях: о том, что Цезарь удачно усмирил взбунтовавшихся варваров; что в этом году, по всем приметам, ожидается холодная зима и следует заготовить побольше топлива для печей и жаровен; что в Риме, говорят, не хватает хлеба и обвиняют в нерадивой организации хлебных поставок Помпея; что ближайший сподвижник Цезаря красавец Мамурра купил неподалеку поместье стоимостью в четыре миллиона сестерциев и, наконец, что ему, уважаемому муниципалу Валерию Катуллу, деловитому и оборотистому старику, удалось совершить выгодную сделку — дешево перекупить сто пятьдесят тысяч модиев пшеницы и спешно отправить в Рим, пока там держатся высокие цены на хлеб.

Отец смотрел на Гая умными глазами и все еще не предлагал ему собираться в дорогу. Ждал, когда он сам доспеет. Выжидающе помолчав, они расставались. Гай провожал отца, возвращался в свою комнату, ложился со свитком греческих стихов и слушал, как волны бьют о каменистые бока Сирмиона.

Этой ночью Катулл долго читал Сафо, шепотом произнося слова не нашедшей ответа, горькой любви. Чувствуя, как сердце его созвучно стенаниям Сафо, он печально задумался. Когда он в одиночестве читает стихи великой лесбиянки, огненнострастного Асклепиада Самосского или тоскующего Мелеагра, то нередко плачет от сладкой грусти и поэтического восторга.

Дождь лил не прекращаясь, ветки олив скрипели и царапали стену дома. Катулл положил книгу на столик, опустил голову и заснул.

Проснулся он от едва слышного шороха. Он открыл глаза, но не заметил ничего особенного, кроме одного: куда-то исчезла книга. Засыпая, он забыл погасить светильник — мигающий желтый огонек тускло освещал комнату. Может быть, свиток случайно скатился со стола? На полу его тоже не оказалось. Что за чудеса?! А если он сам убрал книгу в шкаф и забыл об этом?..

Он поднялся и подошел к шкафу... стихов Сафо не было на месте. Где же книга? Да оградят его от козней злых духов святые Пенаты^[170]!

Взволнованный и расстроенный, Катулл хотел позвать рабов, но передумал и опять лег в постель. И тут он увидел изящную, миниатюрную вазу с букетом только что срезанных роз. Она стояла на столике, на месте исчезнувшего свитка. Ваза была старинная, греческая, с характерным черно-красным рисунком. Откуда она взялась? И где в начале зимы цветут такие чудесные розы? Не сходит ли он с ума? Вдруг его осенило: он спит. Да, да, конечно, спит! Ему только показалось, что он проснулся, на самом деле все это происходит с ним во сне...

Катулл успокоился, однако что-то необъяснимо притягательное чудилось ему в потрескавшейся от времени вазе. Он присмотрелся: кроме фигурок танцующих и играющих на кифарах девушек, ее опоясывала надпись: «Лесбос, Митилены, в мастерской Софрона».

Катулл старался уяснить связь между исчезновением книги и появлением старинной вазы. Очевидность такой, хотя и умозрительной, но логической связи никак не приходила ему в голову. И все-таки его скованное сном сознание победило. Катулл понял: исчез свиток со стихами уроженки города Митилены, а вместо стихов он видит вещь из того же города.

«Есть ли здесь особое предуказание или это просто причуды Морфея^[171]? — подумал Катулл. — Пожалуй, я сейчас проснусь и увижу, что никакой вазы нет, а на столике лежит книга...»

Катулл открыл глаза и приподнялся на локте. Его поразила тишина. Дождь перестал лить, ветер стих, прекратился и мерный плеск волн. Светильник погас, в комнату из узенького оконца проникал свет полной луны. Катулл сразу увидел с облегчением — вазы нет на столе... но в то же мгновение он вздрогнул, чувствуя растерянность и тревогу, — на столе не оказалось и книги.

Катулл помедлил, потом нерешительно сел, разыскивая на ощупь кресало, чтобы выбить огня. Он так и не мог решить: проснулся он или продолжает спать?

— Обернись, взгляни на меня... — донесся до его слуха едва различимый шелест, словно не голос, а прохладное дуновение шепнуло эти слова по-гречески с архаичным иолийским произношением. Катулл слышал такое наречие на Эгейских островах. Он повернулся и увидел в углу женскую фигуру в белых одеждах. Одной рукой она держала вазу, другой, кажется, исчезнувший свиток...

Он не испытал страха. Ведь он по-прежнему спит и представляет прекрасную Клодию, чей образ не раз являлся ему во сне и в роскошных нарядах, и в невыносимом обольщении наготы. Почему она шепчет так

невнятно? Он застонал от тоски и желания, вглядываясь в белую неподвижную фигуру.

Постепенно в сердце его зашевелилось сомнение. Стоявшая перед ним женщина была ниже Клодии ростом, из-под полупрозрачного покрывала виднелись черные, как смоль, косы. Лунный свет, прерываемый тенью пробегающих туч, изменчиво дрожал на ее мертвенно бледном лице. Значит, он не спит, духи преисподней нарушили его сон, и перед ним призрак.

— Ты так часто взывал ко мне, — продолжала еле слышно шептать неизвестная, — что я упростила ужасных стражей Аида выпустить меня на землю и прилетела к тебе...

— Кто же ты? — прохрипел Катулл и, тотчас догадавшись, вскрикнул:

— Я узнал тебя! Ты — Сафо!

— Да, я Сафо из Митилен, — говорил призрак великой поэтессы, — погибшая из-за любви к жениху своей дочери Клеиды. Как неразумно я поступила! Только став бестелесной тенью и пять веков протомившись в долине вечности, окаймленной траурными кипарисами, я получила известие о том, что мой истинный возлюбленный, предназначенный мне в высших сферах судьбы, совсем другой юноша, а не прекрасный, но бездушный Фаон. И вот ты родился на земле Италии, у подножья северных гор, далеко от моего острова...

— Бедная Сафо, — сказал Катулл, опускаясь перед ней на колени, — Меня постигло несчастье, близкое твоему. Я, как и ты, безумно полюбил, надеясь найти в оболочке божественной красоты твою возвышенную и верную душу, но жестоко ошибся. Дряхлые Парки спутали время наших жизней, и нас разделили пять невозвратимых столетий. Я поэт и воспевал женщину, которую люблю, прославившими меня стихами. Но я не мог забыть о тебе, жрица Аполлона и Афродиты, в твою честь я назвал римлянку именем Лесбии.

— Благодарю тебя... Как жаль, что в груди Фаона билось не твое горячее сердце. А теперь, когда я увидела тебя, мне бы не нужна была и его внешность. О, какая тоска! — воскликнула бестелесная Сафо и, заломив руки, откинулась к стене. Катулл глядел сквозь нее на щербины в каменной кладке. Чтобы немного утешить великую поэтессу, он прочитал латинский перевод ее знаменитого стихотворения: «Кажется мне богоравным или — сказать не грех, — всех богов счастливей...»

— Я не знаю твоего языка, хотя он отдаленно напоминает греческий, — сказала Сафо. — Я не понимаю значения слов, но чувствую певучесть стихов и правильность размера. Мне отраднa мысль о том, что если будет

утерян список подлинника, то, возможно, останется достойный его перевод.

Катулл смотрел на призрак Сафо, чувствуя, как тщетны его нежность и жалость. И все-таки он, поднявшись, простер к ней руки.

Сафо пугливо отстранилась:

— Разве возможны объятия между живым человеком и печальной тенью? Вот свиток, я взяла его, чтобы посмотреть свои стихи. Я осталась довольна этой книгой, хотя в некоторых местах допущены ошибки: переписчики всегда были невнимательны, — Сафо осторожно положила книгу на столик.

— Когда-нибудь... когда настанет твой срок покинуть землю, я прилечу к тебе не такая, как сейчас, а веселая, дышащая страстью, «сладостносменяющаяся», как называли меня друзья... Розы я принесла тебе, и ты получишь их, но вазу я заберу с собой, чтобы не оставлять следов моего присутствия. Зачем тревожить течение жизни живых? Прощай, ночь подходит к концу, я должна возвратиться в долину вечности... Прощай, о прощай! — с раздирающим душу рыданием простонал призрак, потерял очертания, струйкой тумана поднялся к потолку и рассеялся. Катулл рванулся к Сафо, но на стене белело только пятно лунного света.

Катулл проснулся поздно; над озером, в позолоте остывшего солнца сиял зимний день. Он сдавил руками голову, охнул и выругался про себя. Боль пронзала виски и отдавалась в затылке. Что-то странное снилось ему сегодня, что-то прекрасное и печальное, подумал он. Кажется, ему опять привиделась Клодия. Нет, не Клодия... кто же?

После обеда приехал отец.

— Сын мой, послушай-ка, — с озабоченным видом сказал отец, усаживаясь напротив, и приказал пододвинуть горячую жаровню. — Близится время избрания новых консулов, Красса и Помпея. Цезарь — в Галлии, во главе своих непобедимых легионов, Красс и Помпей — в консульских креслах. Считай, управление государством в руках трех великих мужей. (Гай хмурился, голова у нег еще болела.) Что могут им противопоставить оптиматы, кроме бесплодного собачьего лая? Большинство магистратур также перейдут к приверженцам триумвиров. Сам Цезарь говорил мне, что через своих представителей он поможет верным людям обрести прочное положение. Зря он этого не сказал бы. Пора тебе собираться в дорогу. Ведь, что ни толкуй, все-таки *extra Romam non est vita*, вне Рима нет жизни. Еще лучше поехать в Галлию... ну, да ладно. Во всяком случае, здесь, в Вероне, ты не добьешься ни славы, ни расположения знатных. Я дам тебе денег, ты снимешь хорошую квартиру. Я

пошлю письмо в банкирскую контору Фульвия, и любое приобретение недвижимого имущества будет оплачено, — купи, например, пригородный дом, где бы ты мог отдохнуть от шума столицы. Я дам тебе рекомендации к Ватинию, видному другу Цезаря. (Гай вздрогнул, кровь бросилась ему в лицо.) На этот раз ты должен проявить себя с наилучшей стороны. Весь род веронских Катуллов ждет твоего успеха. У тебя будут дорогие тоги и модные хлены, у тебя будет ароматический киннамон и орронтская мирра для волос... Словом, все, что требуется приличному человеку, ты будешь иметь. Если хочешь, возьми с собой для услуг рабыню или раба. Только покажи свое благоразумие и настойчивость. Собирайся, сынок... Нет, я не требую, чтобы ты ехал завтра же, однако поторопиться следует, чтобы не упустить благоприятного времени.

Отец заметил волнение Гая, но понял его по-своему: ничего, пусть примирится с мыслью о политической деятельности, хватит ему прозябать и шататься по лупанарам с праздными, разнузданными юнцами.

Гай молчал, сокрушаясь в душе, что не сможет последовать мудрым наставлениям отца. Впрочем, он не собирался цинично его обманывать. Но... сказать старику правду и огорчить его до смерти? Будь что будет: может быть, удастся найти какой-нибудь выход и отговориться роковым стечением обстоятельств. Конечно, обращаться к презренному Ватинию и вообще — преуспевать под эгидой триумvirата Гай Катулл и не помышлял.

— У меня сейчас много дел по хозяйству и в муниципальном совете, — говорил отец. — Нужно позаботиться о запасах хлеба для граждан и о поставках в армию Цезаря. Кроме того, скоро праздник Сатурналий — опять изыскивай средства для общественного пира, подарков, процессий и театрального представления. Так что мне пора. Да, совсем забыл отдать тебе букет роз, я оставил его в повозке. Крикни Проциллу или Авкту, чтобы принесли, пока они не померзли. Откуда я их взял? При выезде из города ко мне подошел незнакомый раб и передал эти розы для тебя. «Моя госпожа просит выразить твоему сыну глубокое восхищение и дружбу», — сказал раб, судя по всему — образованный грекос. А я и не сразу понял, о чем идет речь! Потом только сообразил, что ты известный поэт, и знатная матрона, видимо, твоя поклонница...

— Какая матрона? — спросил Катулл, напряженно думая о чем-то.

— Кажется, она в Вероне проездом. Что ж, восхищение женщин приятно. Тебе везет, плут, — сказал отец и, засмеявшись, хлопнул его по плечу.

Мальчик Авкт принес букет и подал Катуллу. Прекрасные розы издавали сладкий запах с явственным горьковатым привкусом увядания.

Катулл коснулся их лицом, и сердце его неожиданно сильно забилось. Он вспомнил свой сегодняшний сон.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Валерий Катон нередко записывал события прошедшей недели, если они были достаточно значительны с точки зрения политики и литературы. Покашливая и кутая шею шерстяным шарфом, Катон наносил на табличку ровные ряды букв. Он не забывал проставить и число — указать, сколько дней оставалось до календ, ид или нон текущего месяца.

«Вчера состоялись выборы магистратов, — писал Катон, стараясь казаться самому себе беспристрастным. — Все граждане собрались на Форуме, а я не мог находиться там из-за болезни, докучающей мне вторую неделю. Выборы проходили в ожесточенных спорах и враждебных действиях противоборствующих партий: *civis cum civibus gladiatorio more concurrentum*, граждане с гражданами сталкивались по обычаю гладиаторов. Как это прискорбно! Большинство сенаторов и значительная часть народа не хотели отдавать голоса за Помпея и Красса, кандидатов в консулы. Попирая римские законоположения, сын Красса привел на Форум легионеров и тем решил исход выборов. Удивительно, что к их победе сочувственно отнесся Марк Туллий Цицерон. Поистине трудно понять намерения этого выдающегося деятеля республики. Следует заметить, что „тройственный“ союз продолжает творить произвол и по-прежнему удерживает в своих руках государственную власть. Преступление торжествует!»

Перечитав написанное, Катон нашел его верным, но к концу похожим на весьма опасные декларации. Катон мысленно попенял себе, однако не стал ничего исправлять и утвердительно кивнул головой заключительным строкам.

А через несколько дней, уже не пытаясь сохранить спокойствие, Катон оживленно вспоминал:

«В Рим наконец вернулся Катулл. Он досрочно уехал из Вифинии, не дождавшись покровительства пропретора Гая Меммия. Потом он жил у отца, в Вероне. Позавчера Катулл вошел в мой таблин, и собравшиеся друзья бросились его обнимать. Перед выездом из Вероны он прислал мне письмо. Повидать Катулла не захотел только Руф, ранее поссорившийся с ним и ославленный Катуллом в злых эпиграммах.

Катулл выглядит окрепшим, загорелым и на удивление сдержанным. Его поведение стало очень благопристойным — это так не походит на былые сумасбродные выходки. Друзья ласкали его, задавая ему тысячи

беспорядочных вопросов. Катулл благодарил за дружеский прием и меня, и Непота, пришедшего несмотря на болезнь и холодную погоду, и Тицида, и Вара, и всех остальных. Кальва он не выпускал из объятий, выражая соболезнование по поводу тяжелой болезни его жены Квинтилии. Фурия, которого прежде любил ехидно подкалывать, поздравил с успехом его переводов из Эвфориона. Своему земляку Корнифицию он передал приветы от родственников и участливо спросил, как он жил это время. Корнифиций указал на свое перевязанное плечо, рассеченное во время беспорядков на Форуме, а потом, смеясь, ответил, что продолжает совершенствоваться в поэзии, риторике и искусстве делать долги. Катулл тотчас предложил Корнифицию денег из той суммы, что ему дал с собою отец.

Катулл внимательно выслушал рассказ Кальва о скандальных выборах магистратов, после чего сказал с горькой усмешкой: „Теперь в Риме окончательно установилось правление спекулянтов и солдатни“. Я довольно подробно передал ему новости литературной жизни и вспомнил об издании частей из поэмы Лукреция Кара, о которой Цицерон сказал, что „в ней много блеска природного дарования“. Катулл хотел услышать хотя бы один из новых отрывков. Я принес книгу и прочитал из нее целую часть.

Фурий и Вар заспорили о достоинствах и недостатках Лукрециева гексаметра, но Катулл решительно сказал: „Цицерон прав, это стихи великого поэта“. Катулл просил меня дать ему поэму с собой, а также прислать и два сочинения Варрона: „О латинском языке“ и „О комедиях Плавта“. Я спросил, где он теперь поселился. Оказалось, Катулл снял квартиру в южном квартале Целия и собирается купить дом за городом. Видимо, обычное для него состояние безденежья миновало. Наконец, уступив настойчивым просьбам, Катулл выложил на стол целую гору табличек и два папирусных свитка. Видно было, что наше нетерпеливое внимание заставляло Катулла испытывать напряжение. Он взял первую попавшую под руку табличку и стал читать стихи тихим голосом. О том впечатлении, которое произвели на нас стихотворения Катулла, сочиненные им за прошедшие полтора года, я напишу в следующий раз».

Валерий Катон так увлекся своими записями, что на время оставил усердные грамматические исследования. Приезд Катулла взбудоражил жизнь «александрийцев», и так переполненную политическими волнениями и литературной деятельностью. Катулла любили, перед ним преклонялись, он бесил и привлекал, он вызывал возмущение, иногда растерянность, а чаще безнадежную зависть — и трудно было объяснить

только одним его поэтическим дарованием столь различные чувства, возникающие при знакомстве с ним у многих достойных людей. Но, конечно, главной причиной раздражения окружающих оставались стихи. Катон писал:

«Я не могу без восторга вспоминать этот день. Потом удивление перед талантом Катулла несколько улеглось, хотя и не исчезло. Но тогда, впервые услышав эпитафию на смерть брата, прощание с Никеей, описание родного края и прелестного озера, стихотворные послания, эпиталамии, гимны, мы преисполнились восхищения сверх всякой меры. Мы уже знали его „Косу Береники“, которую он не без расчетливости посвятил Гортензию Горталу. Но я отвлекся от описания того непередаваемого состояния, которое охватило всех нас, услышавших его новую поэму о неистовом Аттисе. Я ощущал наслаждение от каждой строки, я будто увидел воочию все то, о чем читал Катулл. И вместе с тем поэма пробудила во мне весьма неясные, трудно выразимые, но сокровенные мысли. Кальв, повернувшись ко мне, крикнул: „Ты слышишь? Каково, Катон? Вот тебе подтверждение и опровержение твоих теорий!“ — „Я тебя задушу, веронский колдун!“ — завопил Вар так громоподобно, что прибежали мои испуганные рабы. Неожиданно прослезился Тицид, это показалось мне очень странным, такая чувствительность не вяжется с его обычной самоуверенностью.

Когда Катулл кончил читать, все вскочили со своих мест, заговорили, перебивая друг друга и стараясь первыми объявить свое мнение. Непот и Вар подхватили его на руки. „Doctus^[172]!“ — вдруг пронзительно крикнул Фурий. Действительно, Катулл стоит такого прозвания, хотя ученость отнюдь не единственное достоинство его стихов. Они нежные, и игривые, и печальные, и сильные, и разящие, как молния, в эпиграммах. Прозвание „doctus“, несомненно, достойнее Катулла, нежели мерзостное брюзжание, всегда раздававшееся за его спиной. Что же сказать о его „Аттисе“? Это нечто небывалое, не поддающееся привычному разбору и глубоко тревожащее душу. Хотя тема взята из разноречивых легенд о возлюбленном богини Кибеллы, но чувства, рождаемые поэмой, соотносятся с тем состоянием безнадежности, страха и смятения, которое отличает нашу эпоху. Отчаянные вопли добровольно оскотившего себя Аттиса, его тоска по родной стране отражает, мне кажется, и нашу скорбь по родине, по той республике порядка и справедливости, которая была священной для наших дедов и которая гибнет на наших глазах, оставляя нас в мире бесчестья и произвола пробудившимися от минутного исступления скопцами.

Я поделился своими соображениями с Катуллом. Он пожал плечами и сказал нерешительно: „Я, правда, не думал, что у этой невеселой истории

может оказаться именно такая подоплека... Но, возможно, ты прав, мой Катон, ты ведь гораздо учнее и умнее меня“. Он говорил искренне, как всегда. Очень часто гениальные творцы простодушны и не предвидят глубокого подспудного содержания, заключенного в их собственных произведениях.

Во время обеда Катулл снова стал таким же беспечным и остроумным повесой, каким был прежде. Впрочем, мне подумалось, что тот облик „дерзкого веройца“, которым он щеголял в прошлые годы, теперь не идет к нему. Он будто и сам чувствует это. И, снимая иногда свою шутовскую маску, являет печальное и светлое лицо поэта-мудреца!»

Так подробно Валерий Катон описал возвращение Катулла к друзьям, в кружок пылких «александрийцев». Составляя хронику разнообразных событий, волнующих жителей Рима, он все-таки опять рассказывал о Катулле, словно собираясь стать его биографом.

«Чувствуется приближение весны, погода стоит сухая, солнечная, и человеческое существование делается не таким однообразным и скучным, как холодной зимней порой».

Катон оставляет лирический тон и сообщает:

«Новые консулы ничего необыкновенного в Риме не совершили. Красс, как говорят, готовится по окончании консульства отправиться на Восток и объявить войну Парфии, чтобы превзойти в военных успехах Цезаря. Помпей спокойно предоставляет Крассу готовиться к войне и лезет из кожи вон, стараясь приобрести на будущее расположение простых граждан. Он не скупится на устройство гладиаторских боев и гимнастических игр. Помпей начал строительство огромного каменного театра на Марсовом поле. Со всей Италии, из Греции и с пунийского побережья туда день и ночь везут мрамор, змеевик, лазурит и порфир, и с утра до вечера на Марсовом поле стучат молотки каменщиков».

И далее Катон пишет:

«За два дня до календ марта^[173], в праздник, посвященный Марсу-коннику, на арене Большого цирка состоялись состязания колесниц. Я останавливаюсь на этом ежегодном празднике только для того, чтобы описать случай, имеющий отношение к дальнейшей жизни Гая Катулла. Все началось обычно. Заняли свои места консулы, вблизи них расселись сенаторы, потом всадники и, наконец, разношерстный люд: римляне, провинциалы, иностранцы, вольноотпущенники, женщины из простонародья и всевозможные люди низкого происхождения. Состоятельные граждане старались сесть поближе к высшим сословиям, чтобы наслаждаться не только зрелищем, но и сознанием своей

принадлежности к добропорядочным людям, а также чтобы избавить себя от нечистоплотности, дурного запаха и грубости черни.

Мне удалось, заплатив немалые деньги, оказаться рядом с почтенными римскими всадниками, — так что рядах в двадцати от меня находилось собрание роскошно одетой знати. Я пригласил в цирк Катулла, Непота и Корнифиция. Непот отказался, сославшись на недомогание, а два веронца с удовольствием заняли места рядом со мной. Когда арену обходила процессия, несущая статуи богов, публика несколько примолкла. Но и в эти священные минуты большинство римлян не столько следили за жертвоприношениями, сколько разглядывали красивых женщин и посылали им воздушные поцелуи. То и дело подзывались разносчики вина и сладостей, многие выглядели неприлично возбужденными, как будто захватывающие гонки подходили уже к концу.

Среди самой знатной публики трое клиентов держали места для своих патронов, опоздавших к началу священной церемонии и выходу консулов. Наконец клиенты привели на занятые ими места разубранную драгоценностями матрону, сопровождаемую щеголеватыми молодыми людьми. Среди них я заметил Фурия и Аврелия, беспутных и веселых сорванцов. Не в пример прошлым годам, Фурий и Аврелий нашли средства для приобретения элегантной одежды и выглядели не хуже сыновей нобилей. Сидевшие на десятки локтей вокруг зрители обратили пристальное внимание на явление этой шумной компании. Вглядевшись, я узнал Клодию Пульхр, вдову сенатора Метелла Целера, бывшую возлюбленную Катулла. Она все так же прекрасна и по-прежнему держится с самоуверенной и изящной развязностью.

Я посмотрел на Катулла. Он не заметил появления Клодии и продолжал с интересом наблюдать церемонию открытия состязаний. Один из преторов, по-моему Сервий Сульпиций, спустился к карцерам^[174] и бросил на арену белый платок. Колесницы понеслись, зрители закричали, подбадривая возниц, за которых они поставили денежные заклады, и, захваченный общей страстью, я стал напряженно следить за гонками. Во втором заезде колесничий в синей тунике слишком накренил колесницу на повороте, она царапнула осью землю и перевернулась. На нее налетели две другие, еще две колесницы вынуждены были съехать с размеченной дорожки, и только одна благополучно достигла конечной черты. Пока с арены убирали искалеченных лошадей, возниц, перевернутые колесницы и засыпали песком лужи крови, зрители со смехом обсуждали подробности досадного происшествия и расплачивались с теми соседями, чей любимец выиграл заезд.

В перерыве между гонками к нам подошел неизвестный юноша. Обращаясь к Катулле, он произнес: „Тебе написала эта благородная матрона“, — он указал на Клодию и подал Катулле табличку. Катулл поднял глаза и побелел, как мертвец. Улыбаясь, Клодия помахала ему рукой. Катулл смотрел на нее неподвижными и страшными глазами помешанного. Принесший табличку щеголь нетерпеливо сказал ему: „Так что же, ты напишешь ответ?“ Окружение Клодии вызывающе рассматривало Катулла. Скрипнув зубами, он порывался встать и, наверное, хотел крикнуть Клодии что-то оскорбительное, но я и Корнифиций удержали его. Я заглянул в табличку. Клодия писала: „Привет тебе, Гай! Надеюсь, ты не сердишься и забыл недоразумение, случившееся между нами. Если пожелаешь, моя лектика будет ждать тебя у входа, где продают медовую воду и где сидят этрусски-гадальщики“. И в конце добавила: „Vale et me amo“^[175]. Корнифиций сказал Катулле: „Не делай глупости, ты будешь смешон“. Тогда Катулл взял стиль, услужливо поданный ему Клодиевым молодчиком, и написал греческое двустиишие, я узнал Каллимаха.

Не говори мне: „Привет“. Злое сердце, ступай себе мимо,
Лучший привет для меня, коль не приблизишься ты.

Когда посланец Клодии удалился с ответом, Катулл усмехнулся: „Она надеется снова сделать меня легковверным искателем ее любви. Напрасно, кудрявому Амуру больше не удастся наступить мне на голову...“ Последнее он сказал как-то неловко и смущенным голосом.

Во время длительного перерыва, пока арену готовили к кулачному бою и гимнастическим состязаниям, Катулл поднялся и объявил, что ему нужно поговорить о покупке загородного дома со служащим банкирской конторы. Он пошел между рядами и затерялся в толпе. На свое место Катулл не возвратился. Сначала мы увлеклись зрелищем бойцов, наносивших друг другу удары кулаками, обернутыми в ремни, потом забеспокоились. „Не понимаю, — сказал сердито Корнифиций, — как можно быть таким слабовольным и не иметь хоть на пол-унции гордости!“ — „Может, он все-таки договаривается с агентом банкира...“ — возразил я. „Погляди туда“, — насмешливо перебил меня Корнифиций. Я посмотрел: место Клодии пустовало».

Так Валерий Катон закончил пространное описание не слишком примечательного случая, происшедшего с одним из его друзей, Гаем

Катуллом из Вероны, в праздник Эквирий, посвященный Марсу-коннику.

Несколько позже он приписал:

«Катулл и правда купил скромный дом на границе Сабинского и Тибурского округов, в двадцати милях от Рима. Видимо, он успешно договорился о ссуде со служащим банкирской конторы. Но сегодня мой клиент Мульвий, человек хитрый и большой проныра, рассказал мне, как в тот самый день, выйдя из цирка, увидел Катулла, садившегося в чью-то великолепную лектику с плотно закрытыми занавесками».

Грязная вода, затопившая Велабр и другие низкие места, сошла в Тибр; цветение миндаля пенилось вокруг мрачных городских окраин и выплескивалось из-за оград уединенных садов. Но Катулла не радовала весна. Снова в груди ожило страдание и томило его неотступно, как изнуряющий жар. Он не безумствовал и не прятался от людей, хотя очень заботился о том, чтобы невольно не привлечь чей-либо любопытный взгляд. Он жил как человек, знающий о своей неизлечимой болезни и скрывающий ее из гордости.

Очевидцы рассказывали, что не раз замечали Катулла выходящим из лупанаров, и вид у него был такой угрюмый, будто он возвращался с похорон близкого родственника. Злорадствующие завистники распространяли по этому поводу незатейливую гадость.

Катулл стал появляться в тех местах Форума и Аргилета, где собирались не поэты и философы, а игроки в двенадцатилинейные шашки. Он играл с победителями шашечных олимпиад и с отъявленными жуликами и вставал из-за доски, опустошив кошелек. Он взялся и за кости, хотя в них ему, как правило, тоже не везло. Он не отказывался от приглашений на праздники и пирушки, куда многие охотно звали знаменитого поэта и остролова, — застолье давало ему временное забвение. Едва ли не ежедневно лилось неразбавленное фалернское, цекубское, велитернское, аминейское...

Ведя беспорядочную и праздную жизнь, Катулл писал отцу, что старается приобрести благоволение знатных, но при всем старании не сумел еще войти в свиту кого-либо из них. Отец советовал ему не хватать со стола несколько кусков сразу — как бы не обронить! — а лучше направить усилия на то, чтобы оказаться среди приверженцев великого Цезаря. Катулл в письмах соглашался с отцом и, отправляя их в Верону, тяжело вздыхал. Между ним и родительским домом разверзлась бездна. Отец мог со дня на день уличить его в гнусном обмане. Катулл продолжал обещать ему, что обязательно присоединится к деятельности цезарианцев.

В действительности все было совсем иначе. Когда цезарианцы Ноний Аспренат и Публий Ватиний получили высокие магистратские должности, сторонники сената едва не задохнулись от негодования. Все знали, что они набрали нужное количество голосов благодаря подкупу избирателей. Правда, подкупы считались теперь обычным явлением. Даже благонравный

Цицерон в своем трактате «О государстве» допускал для привлечения народных симпатий устройство зрелищ и празднеств. Но агенты Ватиния раздавали по триста ассов тем, кто голосовал за него, — это было вопиющим нарушением всякого правопорядка. Оптиматы яростно протестовали. Тем не менее Ионий стал курульным эдилом и ведал важнейшими торговыми операциями в республике, а Ватиний — претором, младшим коллегой консулов, одним из главных судей по уголовным делам. Причем Ватиний во всеуслышанье заявил, что на будущий год надеется быть избранным в консулы.

И все-таки в табличке Валерия Катона насмешничали над «трехглавым» союзом, над одутловатым Нонием и горластым Ватинием. Тицид привел своего приятеля Марка Отацилия, и тот поносил Цезаря в эпиграммах, остроумно составленных из бранных греческих и латинских слов. Не уступал ему и Фурий Бибакул. С удовольствием вспомнили издевательское двестишье Кальва, намекающее, может быть, и без достаточных оснований, зато очень забавно, на пороки Помпея Великого (Магна):

Магн, всеобщее пугало, пальцем голову чешет.
Что ему надобно? Знай: мужа желает себе.

Молодые насмешники хохотали. Двестишье было написано четыре года назад, когда триумвират только возник, — одновременно с Помпеем оно прозрачно намекало и на Цезаря. Но сейчас, изощряясь в пародиях и эпиграммах, поэты-муниципалы видели, конечно, что Помпей желает не «мужа», а диктаторской власти.

Катулл не остался в стороне от общего настроения и однажды прочитал среди шумного сборища строки, полные горечи и гнева. Шутки умолкли, поэты смотрели на Катулла в растерянности. В его эпиграмме не было ни блестящего остроумия, ни уличного зубоскальства, ни ехидных намеков. Откровенная политическая инвектива, как разящая стрела, без хитростей и отклонений, попадала прямо в избранную цель.

Катулл произнес тихо, устало полузакрыв светлые глаза:

Увы, Катулл, что ж умереть ты мешкаешь?
Водянка-Ноний в кресло сел курульное.
Ватиний-лжец бесчестит званье консула.
Увы, Катулл, что ж умереть ты мешкаешь?

На другой день эти строки с бесстрашно указанным именем их автора знал весь Рим. Они появились на стенах домов в разных кварталах и на самом Форуме. Катулл испугался, как бы слухи о его выходке против приспешников Цезаря не дошли до Вероны. К счастью, отец, видимо, не получил пока никаких сведений от своих римских знакомых. Он прислал Гаю письмо с планом тщательно продуманных действий и с указанием получить по синграфу (векселю) тридцать тысяч сестерциев в банкирской конторе Рабирия Постума, — отец уже знал, что Гай взял ссуду на покупку загородного дома.

Когда ночами над Римом стала светиться звезда Пса^[176], в самый разгар летней жары приехали друзья Катулла, молодые веронцы Фабулл и Вераний. Не дождавшись окончания наместничества Пизона, они покинули Македонию такие же раздраженные и разочарованные, каким был бежавший из Вифинии Катулл. Отношение нобилей к муниципалам оставалось неизменным. Они всячески мешали выдвигению «новых» граждан.

Катулл хохотал и бранился, слушая сетованья друзей. Он поселил их в своей квартире. Он устроил в их честь обед с фалернским и хиосским. Он представил их в кружке «александрийцев», ссудил деньгами и отпустил в Верону, взяв обещание возвратиться не позже, чем через три недели. Особенно радовал Катулла Вераний, напоминавший ему умершего брата. Вераний был немного смущен его пылкими излияниями и ласками.

Катулл не мог отдать себе отчета — почему приезд друзей юности и друзей по несчастью (имея в виду служебные неудачи) так его взволновал. Когда молодые люди вернулись из Вероны, они узнали, что прославились. На улицах к ним подходили, осведомлялись, те ли они Вераний и Фабулл, о которых сказано в элегиях Катулла, и просили написать свое имя на стихотворном сборнике. Римляне по-прежнему увлекались стихами, и поэты все так же ожесточенно боролись за первенство и признание.

Сторонники эпической поэзии продолжали осуждать неотериков. Их злила популярность лирических поэтов, а успех Катулла вызывал особую ярость. Даже самые умеренные хулители не могли удержаться от надоедливых вопросов. Где патриотические поэмы, воспевающие подвиги бестрепетных героев? К чему эти мелкие темы, эти вздохи покинутого любовника и подозрительное сюсюканье нежнейших дружков?

А любители новой поэзии — чаще всего молодежь, вольноотпущенники и безродные провинциалы — с улыбкой удовольствия затверживали наизусть:

Мой Вераний! Мой друг! Из многих тысяч
Самый милый и самый ненаглядный!
Ты под кровлю родную возвратился
К старой матери и к любимым братьям.
Возвратился! О радостные вести!
Я увижу тебя, рассказ услышу...

.....
Как и встарь ты рассказывал. И шею
Обниму, и глаза твои и губы
Поцелую. Эй, слышите, счастливыцы!
Кто счастливей меня и кто богаче?

Римляне хохотали, читая другое стихотворение, начинавшееся словами:

Злополучные спутники Пизона,
С легкой ношею, с сумкой за плечами.
Друг Вераний и ты, Фабулл милейший!
Как живется вам? Вдосталь ли намерзлись
С вашим претором и наголодались?

Кто же не знал тестя Цезаря, надменного Пизона, известного своими грабежами в провинциях, своим развратом и роскошью? Как только его не поносил Катулл! «Блудливый Приап», что валяется на ложах со своими бессовестными и распутными прихлебателями-греками...

Припомнил Катулл и своего начальника Гая Меммия:

Меммий милый! Изрядно и жестоко
Ощипал он меня и облапошил...

«Мот, прощельга, грязный *irrumator*»! Содержание последнего слова было настолько до крайности красноречиво, что даже друзья Катулла поднимали брови. Все-таки Гай Меммий Гемелл не только знатный нобиль, но и образованнейший человек, покровитель искусств, близкий друг Лукреция Кара и, наконец, член их литературного общества.

Валерий Катон решил сделать веронцу внушение. Корнелий Непот

тоже упрекнул его за грубость, но разношерстная публика с одобрительным смехом повторяла на площадях:

Вот они — покровители из знатных!
Чтоб их прокляли боги и богини, —
Их — позорище Ромула и Рема!^[177]

Кого же Катулл так беспощадно ругает — ставленников сената или популяров? Ведь Пизон — родственник и сторонник триумвиров, а Меммий — ярый оптимат... Катулл отхлестал обоих! Всех нобилей! Он мстил за себя и Цинну, за Верания и Фабулла, за погибшего брата! Это была месть муниципала. Рим так и понял его стихи.

III

Узнав о прибытии из Вифинии пропретора Меммия, Катулл бросился расспрашивать знакомых о Цинне. Оказалось, белокурый крепыш уже побывал на родине и, приехав в Рим, остановился временно у Непота. Катулл поспешил к историку. Он вошел и увидел Цинну, рассказывающего о своих злоключениях.

Меммий окончательно разорил провинцию и обездолил свиту, к концу его наместничества она превратилась в толпу нищих. «Негодяй, потерявший всякую совесть! Ужасающий распутник и обирала! А еще корчит из себя ценителя поэзии и искусств! Проклятая непотребная грыжа!» Цинна не мог остановиться.

— Я же ждал от Меммия ничего другого, потому и сбежал при первой возможности, — сказал Катулл. Он стал вспоминать, как на весеннем радении Кибелы они из-за своего любопытства едва не заплатились жизнью или... еще кое-чем.

— Нам бы следовало захватить с собой мерзавца Меммия, чтобы его оскопили там во имя Великой Матери! — воскликнул Цинна сердито.

— Успокойся, Меммию уже досталось. Катулл не забыл о нем, взгляни-ка... — Непот положил перед Цинной стопку табличек и несколько свитков со стихами Катулла. Цинна обомлел.

— Ты успел наготовить столько всякой всячины, — сокрушался он, — а я все еще вожусь со «Смирной» и не знаю, когда будет конец.

— Зато ты тщательно отделяешь каждую строчку, каждое слово, — возразил Катулл. — Не то, что Гортензий, например, или Суффен. Эти знатные стихоплеты безжалостно марают дорогой папирус, не утруждая себя черновиками.

Непот отложил на сегодня обычные занятия, позвал раба-управителя и приказал ему готовить праздничный стол. Он послал приглашения Валерию Катону, Кальву, Корнифицию и Вару.

Друзья собрались, и триклиний Непота огласился их веселыми голосами. Они погрузились в море оживленной, глубокой, разносторонней и занимательной беседы. Во-первых, они читали стихи, во-вторых, обсуждали политические события, в-третьих, смаковали городские сплетни. Все это пересыпалось забавными пародиями и анекдотами. Пили умеренно, разбавляя вино на две трети. Они собрались не ради безумств и наслаждений, а ради возвышенного и светлого разговора

единомышленников. Да, они говорливы, как афиняне, — и прекрасно, что они могут рассуждать, понимая друг друга с полуслова и подхватывая всякую неожиданную, стремительно возникшую мысль. «Образованные, одаренные люди должны говорить и говорить, не уподобляясь молчаливым ремесленникам или тупоголовым варварам, — утверждал Валерий Катон. — В беседах и спорах рождаются философские прозрения и литературные замыслы. Только истинно свободный человек может пользоваться божественным красноречием».

Они охотно издевались над любимчиком Цезаря, начальником саперных отрядов в его войске, Мамуррой. Катулл испытывал к нему особую ненависть. На это у него были свои причины, о которых он предпочел умолчать. Впрочем, едва ли не все приспешники победоносного императора — ловкие проходимцы, грабители и развратники, старательно повторяющие его пороки. Достояние их души заключается в самонадеянной наглости, непомерной жажде наслаждений и хвастливой расточительности, то есть в качествах, противоположных качествам добропорядочного гражданина, мыслящимся как благородная верность, самопожертвование, бережливость и простота. В своем поведении цезарианцы несут измену священным традициям республики.

Таков Тит Лабиев, первый легат Цезаря, его правая рука, таковы вояки с железными челюстями — Гирций и Панса, таковы и те, кто оставил войну и проводит в Риме политику, угодную Цезарю.

Но Мамурра своим неистовым грабежом в завоеванных провинциях, своими спекуляциями и оргиями изумил всех. О нем судачили на рынках и в патрицианских особняках. О нем складывали язвительные анекдоты. В них не забывали присочинить непристойное положение и для самого Цезаря. Римская любовь к насмешке, остроумной игре слов проявилась в огромном цикле скабрёзных историй которые благопристойные граждане рассказывали, скривив рот и прикрываясь ладонью, чтобы не слышали дети и жены. Но напрасно они шептались и скромничали, римлянки с жадностью узнавали новые анекдоты о похождениях Цезаря и Мамурры и, вероятнее всего, сожалели, что не они героини этих скандальных походов.

Встречаясь, римляне спрашивали друг друга:

— Ты не слышал последнюю историю про Мамурру? Так слушай, мне только что рассказал купец, приехавший из Галлии. Клянусь Мнемозиной, это случилось на самом деле...

Все-таки Гай Юлий Цезарь — знатнейший патриций, не так давно бывший великим понтификом и консулом, сейчас он победоносный

император, герой лузитанской и галльской войн; не каждый хотел и смел чернить его имя. Зато Мамурра, промотавшийся формийский всадник, — прихвостень, подпевала, мерзкий стяжатель и ужасающий хлыщ. Чтобы отомстить прославленному и высокородному Цезарю, можно поносить тех, с кем он особенно близок. И римляне без оглядки издевались над Нонием, Ватинием, Лабиеном и, прежде всего, над Мамуррой.

Ведь Мамурра — это не человек, а сплошная похоть, это фалл-ментула (mentula). Прозвище было наконец найдено: Мамурра — Ментула!

Говорили, что так назвал Мамурру Катулл... или, может быть, Фурий Бибакул... или Кальв... или старый поэт Архий, писавший некогда поэмы о походах Лукулла. В конце концов, неважно, кто придумал прозвище. Оно придумано очень кстати. Ментулой вполне можно обозвать и Лабиена, и гнусных кровосмесителей Клодия и Пубтгиколу.

В борьбе с триумvirатом оптиматы-политики терпели поражение, и вперед вышли поэты, защищавшие идеалы сенатской республики. Они пользовались стилем и табличкой, казавшимися иногда не менее действенными, чем свиток с обличительной речью.

И тогда снова привлек внимание граждан дерзкий Катулл. Его сатирическая поэзия беспощадно расправлялась с литературными и политическими врагами. Правда, здесь возникли противоречия. Литературные враги иной раз оказывались единомышленниками в политике и наоборот. Асиний Поллион, например, окончательно перешедший на сторону Цезаря, был искренним поклонником и благожелательным издателем Катулла, его хвалил и сам Цезарь, тогда как Цицерон с прежней нетерпимостью относился к славе неотериков. Известный поэт Архий ругал Мамурру, как осквернителя римской морали, а Катулла, как осквернителя республиканских идеалов в поэзии. Катулл и Кальв, в свою очередь, лупили Архия, как литературного противника, а Мамурру, как олицетворение разнузданного самовластия. Кто-то обличал Цезаря, Помпея и их сподвижников, но непоследовательно для моралиста республики восхищался безделками неотериков. Словом, создалась порядочная неразбериха.

На стихи Катулла пытались сочинять пародии. Катулл отвечал хлесткими эпиграммами, превзойти их яростную силу было невозможно.

Рим гоготал. Когда ближайший друг Клодия цезарианец Геллий Публикола пытался выступить с речью на Форуме, его освистали и забросали оскорблениями. Клиенты Публиколы грозились избить веронца и вырвать жало ядовитого скорпиона, но Катулл не унялся.

Расправившись с Публиколой, Катулл начал войну со всеми, кто

решался трепать его имя или имена его друзей. Клиенты Кальва и Катона охраняли Катулла, когда он возвращался домой поздним вечером. Среди молодежи, все в большем числе примыкавшей к кружку «александрийцев», Катулла продолжали называть «doctus». Ему льстило признание его учености. И он сам, и его друзья выше оценивали скрупулезное знание мифологии и владение всевозможными стихотворными приемами, чем его чудесную лирику и сатирический блеск.

Корнифиций пришел однажды с веселой вестью: Мамурра прислал издателям свои бездарные стишки, в которых, путаясь в дактилях и гекзаметрах, рассказывал о переправе римского войска на дальний остров Британию.

Кому приносят пользу завоевания Цезаря? Кому это выгодно? Его алчному окружению, лопающимся от золота богачам-публиканам, спекулянтам, авантюристам, работорговцам. А муниципальная молодежь остается бедной, отстраненной от общественных дел и презираемой преуспевающими дельцами. Добро же, счастливые прожигатели жизни! В самодовольном опьянении вы развязно тянетесь и к поэзии? Еще бы! Ведь сам Цезарь в юности сочинял похабные стишата, хотя теперь, пересчитав награбленную добычу, он пишет историю своих походов.

Кто из его приверженцев тешится стихами? Асиний Поллион? Оставим его, Катулл слишком уважает этого приветливого и умного человека... Но — Мамурра! Прислал издателю потуги бездарности, вообразившей себя поэтом... Его настигнет меткая эпиграмма. Молниеносная! Короткая и звонкая, как пощечина!

И Катулл читает друзьям:

Ментула прет на Парнас. Да навозными вилами Муза
Гонит шута кувырком. Ментула в пропасть летит.

IV

Марк Красс торопился объявить войну Парфянской державе, раскинувшейся от Месопотамии до Индии и невероятно далеких скифских пустынь. Седоголовый банкир надеялся повторить завоевания Александра Великого.

Помпей старался привлечь симпатии граждан старыми способами и в своем стремлении к власти сохранял благопристойность. По его приказанию вдоль Фламиниевой дороги были разбиты обширные сады для народных гуляний, а на Марсовом поле закончилось наконец строительство грандиозного театра с бесчисленным количеством мраморных и бронзовых статуй, барельефов, мозаик и живописных картин. Театр Помпея удивил римлян колоссальной сценой, редкими сценическими механизмами, вместительными подсобными помещениями и великолепной колоннадой у входа — пожалуй, самой великолепной во всем Риме. Новый театр мог принять больше двадцати тысяч зрителей.

На первом представлении, после гимнастических и мусических [\[178\]](#) состязаний, устроили травлю диких зверей: полторы тысячи гладиаторов сражалось против пятисот мавританских львов.

Едва закончились торжества, связанные с открытием нового театра, как сенат объявил двадцатидневные молебствия в честь вторжения Цезаревых легионов на остров Британию. Ни один народ на земле не предавался такому длительному развращающему безделью, постоянным празднествам и спесивому самовосхвалению. Перестав мирно трудиться, римляне выучились наслаждаться и повелевать. Каждый оборванец мечтал стать нобилем, каждый вольноотпущенник — Крезом, каждый знатный — диктатором.

Торжественные жертвоприношения, на которые стекались десятки тысяч людей, нескончаемые священные процессии, с важной медлительностью следующие по Виа Лата, кишащий возбужденным народом Форум, Капитолий в огнях иллюминации, гремящие оргиями дворцы Палатина, гладиаторские игры, шутовство мимов, несущаяся отовсюду громкая музыка и ликующие возгласы — все это стало утомлять и отталкивать Катутла.

Сейчас он чувствовал себя особенно скверно от оглушительного рева и кошмарного метания толп. Он отсиживался в таблине у Непота — среди философической тишины и шелеста старинных свитков. Но иногда он

предпочитал совсем сбежать из столицы и уединиться в своем загородном доме.

Однажды ему пришлось пробыть там больше двух недель. Накануне Катулла пригласил к #жину известный политик-оптимат, друг Цицерона Публий Сестий. Катулл еле высидел нескончаемый пир у Сестия, во время которого хозяин читал свои бездарные вирши.

Катулл бесился на Сестия и на себя самого. Отплевываясь и ругаясь, он выскочил на улицу и полночи добирался до дома под проливным дождем. И простудился. Он проклинал свою слабохарактерность и клялся, что это его последнее унижение, последняя трусливая уступка общепринятому угодничеству перед знатью. Пусть его обзывают невежей, гордецом, глупым провинциалом, но он будет делать и говорить только то, что подсказывает ему его совесть.

Катулл представлялся себе паразитом из комедии Плавта. У него расстроился желудок, и резко кололо под ребрами то с правой, то с левой стороны. Нанятый им для услуг раб хитро поглядывал на взъерошенного, бледного господина, кутающего грудь шерстяной накидкой.

Кашель все усиливался. Катулл послал раба за возчиком, взял с собой письменные принадлежности и уехал в деревню.

Австр^[179] пригонял тучи и проливал студеную воду над сабинскими горами. Но через несколько дней дождь прекратился, установилась сухая погода, выглянуло солнце.

Рабы-сарды, так же нанятые Катуллом в конторе, хмуро следили за больным римлянином. Он дал им денег и велел готовить обед на троих. С тем же мрачным видом они нарвали крапивы, разожгли очаг и поставили котелок с крапивой на огонь. Когда отвар поспел, один из сардов процедил его и подал Катуллу.

— Пей, это тебе поможет. Будешь здоров, — сказал он, коверкая слова.

Катулл лежал, пил крапивный отвар и слушал переключку петухов. В отдалении раздавалось мычание и бляенье стад, напоминая ему безмятежное детство. Он выходил в сад и подолгу следил, как сыплется желтая листва. Пользуясь солнечными днями, сарды вялили на крыше мелкий темно-лиловый виноград. Они двигались бесшумно и не мешали Катуллу думать.

Так прошла неделя. Боль под ребрами исчезла, ослабел и мучивший его кашель. Прислушиваясь к шороху листьев, Катулл с грустью вспоминал встречу с Клодией и все свои злоключения. На очаге варилась баранья похлебка с чесноком и полбяная каша, в доме было сумрачно и покойно.

Мысль о новой поэме начинала его тревожить. Он сидел неподвижно,

с устремленными в одну точку глазами. Достал из сумки таблички и свой изгрызенный костяной стиль, которым он написал «Аттиса».

Валерий Катон давно предлагал ему сочинить поэму на сюжет из эллинской мифологии. Основная тема — свадьба морской богини Фетиды и Пелея, а второстепенная, во всяком случае на первый взгляд, — горе Ариадны, брошенной могучим Тезеем, убившим ее брата, полубыка Минотавра, и по воле рока толкнувшим к гибели собственного отца^[180]. Такое сложное построение сюжета, обращение по ходу повествования ко множеству эпизодических героев и, конечно, использование «Каллимахова ямба» являет собой особенности ученого и изысканного дарования поэтов-«александрийцев». Катон прав: рассказ о свадьбе родителей Ахиллеса подойдет для испытания его мастерства.

Катулл представлял в неясных грезах позлащенное вымыслом время изначальной Эллады. Вот что происходило еще до того, как гнев Ахиллеса погубил многих воителей — троянцев и греков...

Катулл закрывал глаза и прислушивался: шорох листвы казался ему тихим плеском спокойного моря и гудением жильных струн под рукой аэда-сказителя.

Он начал поэму с отплытия эллинской молодежи в Колхиду за Золотым руном:

Килем впервые тогда прикоснулся корабль к Амфитрите^[181]
Только лишь, режа волну, в открытое вышел он море,
И, под веслом закрутись, побелели, запенились воды,
Из поседевших пучин показались над волнами лица:
Нимфы подводные, всплыв, нежданному чуду дивились...

Когда Катулл возвратился в Рим и друзья спросили его, почему он так долго сидел в деревне, веронец пожаловался на нездоровье и поведал им о «лукулловском» обжорстве у Сестия, после которого ему пришлось отлеживаться две недели.

— Да поможет тебе Мнемозина, рассказывай подробно! — умолял Альфен Вар.

— Представляете себе барвену с золотистыми плавниками весом не менее десяти фунтов? — заговорил Катулл. — Нет, вы не можете представить это чудо, как ни потейте! Клянусь богами-покровителями! Она стоит почти десять тысяч сестерциев, чтоб мне лопнуть! Была и еще рыба — пятнистая, похожая на змею, мурена с оскаленными зубами, обложенная

трюфелями и спаржей... Потом принесли лангуста в локоть длиной, посыпанного укропом, душистыми горными травами и политого венафрским маслом, потом анчоусов под белой подливой и британских сельдей в суррентском вине... Но самое главное блюдо — зажаренный на вертеле луканский вебрь и к нему: репа, салат, редис, латук, лук-порей, петрушка, маринованные маслины... и острый соус гарум, и шелковичные ягоды, и щавель, и полевые грибы... А еще подали лукринских устриц с лимонным соком, и морской гребешок из Тарента, и мясо морских ежей с корикским шафраном, и гусиные потроха с начинкой из свежих фиг, и журавля, запеченного в сладком тесте с тибуртинскими яблоками, пиценскими сливами, фиденскими каштанами и курильской айвой...

Друзья рукоплескали Катуллу. Несомненно, он приукрасил, но зато как соблазнительно и бойко рассказывает! Все-таки веронец — поразительный болтун и шутник!

В эту минуту в таблин (друзья собрались у Непота) вошел Корнифиций. У него был расстроенный вид.

— Кальва постигло несчастье... — сказал Корнифиций.

— Квинтилия умерла? — взволнованно спросил Катулл.

— Этой ночью.

— Надо скорее идти к Кальву, — поднялся Цинна.

— Не будем докучать Лицинию, — остановил его Корнифиций. — Мы навестим его завтра, перед похоронами. А сегодня Кальв хотел видеть только Катулла.

Катулл тотчас накинул тогу, вынул кошелек и потрянул им, проверяя наличие денег. Друзья собрали немалую сумму. Цинна быстро сосчитал деньги, написал на табличке несколько традиционных слов утешения и цифру погребального сбора. Катулл спрятал тяжелый кошелек в сумку. Кликнув раба-сателлита^[182], Непот приказал ему сопровождать веронца.

В доме Кальва курился ладан и, несмотря на день, горели светильники. Квинтилия, тоненькая и плоская как дощечка, лежала на роскошно убранном ложе, запрокинув серое личико. Вокруг нее тихо хлопотали заплаканные рабыни и жрицы из храма Венеры Либитины. Кальв сидел в кресле, скорбно склонив голову. Его туника и тога были темного цвета.

Катулл несколько раз горячо поцеловал друга, исколов губы о его небритую бороду. Сопровождавший Катулла раб почтительно остановился у порога атрия.

— Передай, что я останусь здесь, — сказал ему Катулл и взял Кальва за руки. Они сели рядом, Катулл продолжал держать руки друга в своих ладонях.

— Я не нахожу слов для утешения... — начал Катулл и запнулся, с острой жалостью вглядываясь в бледное лицо Кальва: глаза тусклые, воспаленные, коричневые круги под глазами. Видно, что Кальв долго оплакивал умершую жену.

— Ты ведь знаешь, Лициний... Ты для меня как родной брат... — заговорил глухо Катулл. — Если бы я мог хоть немного ослабить твою боль своей преданностью и любовью...

Он глядел в пол, словно стыдясь того, что говорил, и напрягаясь от неумения выразить то, чем он весь был переполнен. Кальв посмотрел на него, прислонил голову к его плечу и заплакал. Он прикрывал глаза ладонью, и слезы ручейками лились между его пальцев. Едва касаясь, Катулл гладил его голову. В черных, коротко остриженных волосах отчетливо белели ниточки седины.

— Впервые я испытал безграничный ужас и горе... — шептал Кальв, вытирая лицо краем тоги. — Что я мог поделать? Унизительно бессилие человека перед властью Орка. Сам я не боюсь ни кинжала, ни яда, ни казни, ни заточения. Кто из римлян не видел смерти? Но когда на твоих глазах угасает любимая, покорная, как голубка, жалкая, как малый ребенок... Сердце готово разорваться от отчаянной несправедливости судьбы!

— Лициний, ты мужчина, ты сын непреклонного отца и избранник Муз... Ты должен овладеть собой и бестрепетно встретить жестокий удар безглазой богини^[183].

— Бедная Квинтилия... Она так мучилась последние дни... Все задыхалась... Врачи разводили руками — чахотка... Я разогнал этих многословных и бесполезных греков! Я сидел рядом с нею, я говорил ей что-то утешающее, подавал воду, какие-то лекарства... Она металась, стонала, царапала мои руки... Я умолял ее успокоиться... Напрасно, ей было очень тяжело умирать... Потом она сказала мне: «Милый мой, маленький Гай, ведь ты такой вспыльчивый, все у тебя пойдет вкось и вкривь... За тобой ведь смотреть надо...» И опять начала хрипеть и задыхаться — страшно вспомнить! Под утро она попросила повернуть ее лицом к стенке и будто уснула. Мне показалось, что ей стало лучше. И тут я, сам не знаю как, задремал. Вдруг вскочил, кинулся к ней, схватил за руку, — она уже похолодела...

На другой день похоронная процессия двинулась через весь город к кладбищу у Фламиниевой дороги. Там находилась усыпальница римских всадников Квинтилиев Регинов, из этой знатной фамилии происходила супруга Кальва. Катулл передал Лицинию деньги, собранные друзьями.

Соболезнования и значительные суммы прислали также Гортензий Гортал, Манлий Торкват и многие другие знакомые известного оратора Кальва.

— Разве у меня нет своих денег? — в недоумении спросил Кальв, глядя на груды золота и серебра.

— А разве ты забыл о римском обычае? В Риме помогают прежде всего — деньгами. Это практично и в то же время избавляет от бесполезных волнений. — Председатель «новых» поэтов все чаще иронизировал по всякому поводу, его улыбка была скептической, потому что политическая обстановка в республике оставляла ему все меньше надежд.

«Александрийцы» пришли проводить к погребальному костру супругу Кальва. Не явились только Целий Руф и Тицид, приславший сказать, что заболел.

Кальв не мог овладеть собой, рыдания сотрясали его. Вместо него надгробную речь произнес старший брат Квинтилии, солидный, уравновешенный финансист. Загримированная актриса^[184] старательно играла скромную и болезненную женщину, какой Квинтилия была при жизни, но из-под грустно опущенных ресниц рвалось такое неудержимое молодое кокетство, что присутствующие с досадой отводили глаза.

Кальв положил на грудь жены медную монетку, чтобы она «расплатилась» с подземным лодочником Хароном. Жрицы Либитины запели погребальную молитву и подожгли трут. Когда костер запылал, Кальв закрыл лицо руками и зашатался. Вокруг костра плясали мимы в масках, на которых белой краской нарисовали череп, — мимы показывали пляску веселых покойников. В этом обряде заключалась насмешка римлян над смертью.

Глядя на горе Кальва, Катулл способен был сам упасть в обморок. Вытирая слезы, он отошел, чтобы не ощущать жирного запаха благовоний и горелого мяса. Стараясь успокоиться, он стал читать поодаль надпись на богатом надгробии, она гласила:

— «Гнею Сентию, сыну Гнея, внуку Гнея из Терептинской трибы, принятому в эдилы по декрету декурионов, квестору, дуумвиру. Куратору морских кораблей, безвозмездно принятому в число корабельщиков Адриатического моря и в четверку винного рынка, патрону писцов и переписчиков, и ликторов, и рассыльных, а также глашатаев и менял, и римских виноторговцев, а также хлебомеров,стряпчих, весовщиков и государственных вольноотпущенников, и маслоделов, и каретников, и ветеранов, и рыботорговцев. Куратору юношеских игр. Сделал Гней Луцилий Гемала милостивейшему отцу».

«Боги, сколько званий было у этого человека! — мысленно воскликнул Катулл. — Как он преуспел в жизни! Он имел и государственные должности, и почетные обязанности, и выгоднейшие посты... А ведь пепел его лежит так же безмолвно, как и прах самого незаметного гражданина. Наверное, даже сын его, поставив этот великолепный памятник, забыл обо всех его доблестях и заслугах и живет в свое удовольствие, стараясь, подобно отцу, любой ценой преуспеть».

Он печально усмехнулся своим мыслям. Нашел ли блаженство в славе он сам? Или наивно радуется сознанию того, что стихи его не исчезнут сразу после его смерти и будут означать продление жизни? Нет, ему постыло навязчивое любопытство толпы. Он работает ради свершения предназначенного ему судьбой, втайне стремясь достичь совершенства и оправдать свою избранность.

Катулл отошел подальше, туда где находились ряды скромных могил. Он наклонился: на куске мрамора выбит стиль с табличкой и разорванный веночек...

«Кто бы ты ни был, прочти мою жалобу тщетную, путник. Умершей безвременно в дни цветущей молодости, прекрасной Статилии Гиларе, поэтессе. Прощай, Статилия, да будет тебе благо! Покойся мирно, Гилара! Если мыслят умершие, помни меня, а мне тебя никогда не позабыть. Безутешный Фацилий».

Невольное волнение охватило Катулла. Как выглядела эта женщина? Какими были ее стихи? Кто этот Фацилий? Муж? Возлюбленный? Друг? О, несчастный, ты потерял свою красавицу, обладавшую поэтическим даром! И нет тебе утешения!

А неподалеку поэт скорбит о любимой жене, и теперь ему осталась одна отрада — поэзия... «Будь ты проклят, проклятый ужас Орка, что навек все прекрасное уносит!»

Из Галлии прислал стихи о беспримерной переправе легионов на остров Британию легат Цезаря Квинт Цицерон. Некогда он был единомышленником своего великого брата, но теперь усердно восхвалял победоносного императора.

А что же «отец отечества»? Возмущение охватило честных республиканцев, когда они прочитали его поэму, написанную недурным гекзаметром и названную претенциозно «О моем времени». Поэма превозносила полководческий талант Цезаря.

Галльскому проконсулу немедленно доставили послание Асиния Поллиона, в котором говорилось о приобретении такого сторонника, как Цицерон. К посланию прилагалась поэма Цицерона. В ответ Цезарь направил в Рим письма с пожеланием, чтобы их содержание, по возможности, распространялось среди общества. В одном из писем, с совершенно ясным намерением польстить Цицерону, говорилось:

«Его (Цицерона) триумф и лавры достойнее триумфа и лавров полководца, ибо расширивший пределы римского духа предпочтителен тому, кто расширил пределы римского государства».

На Форуме болтали, будто Цезарь в знак приязни и уважения послал Цицерону подарки стоимостью в десятки тысяч сестерциев.

Вообще главными богами Рима становились не владыка Юпитер, не Марс-Квирин, не Юнона, даже не фригийская Кибела и не египетский Серапис, а двуликий божок Янус и Вертумн — олицетворение перемен.

Что же касается Цицерона, то его славословия подвигам Цезаря, прикрываемые уверениями в патриотизме, все-таки казались поначалу только привычным потоком пышного красноречия. Но когда он, не устояв перед просьбой Цезаря, выступил на суде защитником проходимца Ватиния, от него отшатнулись даже некоторые из его друзей, и «отец отечества» получил малопочтенное прозвище «перебежчик».

Обвинение Ватиния в невиданном по наглости подкупе избирателей выдвинул Лициний Кальв. Исхудавший и бледный после своей недавней утраты, Кальв восхитил собрание блестящим изложением дела.

Судебный процесс длился три дня. Маленький Кальв, взойдя на трибуну, начинал речь. Глядя не на судей и зрителей, а в упор на Ватиния, он исхлестал цезарьского ставленника беспощадными и смелыми обвинениями.

Успех Кальва был неописуем. Его во всеуслышанье признавали достойным соперником Цицерона. Ватиний вскочил со своего места и злобно крикнул:

— Неужели я должен быть осужден только потому, что мой обвинитель так красноречив?

Цицерон сделал все, что мог. Он взывал к милосердию и справедливости, напоминал о заслугах Ватиния в лузитанской войне, он цитировал подходящие к данному случаю изречения философов и государственных деятелей, он искусно уходил от темы, распространяясь по поводу каких-то давно прошедших событий, он вздымал руки к небу, прикладывал их к груди, хватался за голову, нервно поправлял перекинутый через плечо край тоги, он играл голосом, изменяя его от еле слышного шепота до трагических возгласов, и умел показать, как голос его прерывается от сдерживаемых слез... Он говорил и говорил... Словом, он подтвердил еще раз, что он первый оратор Рима и, конечно, незаменимый адвокат.

Но, когда в клепсидре вода перелилась из одного сосуда в другой и поплавок с фигуркой Фемиды сдвинул стрелку, указывавшую на окончание срока его выступления, Цицерон понял, что он так и не сумел победить Кальва.

Борьба продолжалась. Однако судьи, подкупленные цезарианцами, в конце концов оправдали Ватиния. Народ проводил Цицерона свистом, а Кальва — дружными рукоплесканиями. Худенький человек в щегольской тоге кричал хрипловатым голосом, смеясь и неистово хлопая:

— Йо! Да живет Кальв!

Один из любопытных, оглянувшись, спросил:

— Кто это?

— Поэт Катулл, друг Кальва. Видишь, как радуется за него? Не думаю, чтобы Катулл ограничился только рукоплесканиями...

Действительно, вскоре весь Рим узнал безделку Катулла, написанную по случаю этого судебного процесса:

Я вчера посмеялся на собрание,
Друг мой Кальв говорил на диво сильно.
Все Ватиния мерзости исчислил.
В восхищенье кто-то руки поднял:
«Ну, и складно же сыплет карапузик!»

Вслед за тем появилась эпиграмма, адресованная Цицерону:

Говорливейший меж потомков Рема,
Тех, кто есть и кто был, и тех, кто будет
В дни грядущие, — будь здоров, Марк Туллий!
И прими от Катулла поздравленье.
Из поэтов — поэт он самый худший,
Он настолько же хуже их, насколько
Лучше ты, чем любой другой сутяга!

Сенаторы с удовольствием повторяли эпиграмму Катулла. Клодий, получив эпиграмму, приказал написать ее крупными буквами на большой доске и выставить около своего дома в Тривульцинском проезде.

Узнав про обидное оживление, вызванное насмешками Катулла, Цицерон обратился к Корнифицию и Непоту с просьбой усювестить поэта. Они отправились к Катуллу и стали упрашивать его извиниться перед Цицероном. Катулл отказался наотрез. Он едва с ними не разругался. Непот поспешно обратил размолвку в забавное недоразумение, а Конифиций всерьез надулся.

Кальв продолжал чуть ли не ежедневно выступать в судах, участвуя как в политических процессах, так и во всевозможных уголовных и бракоразводных тяжбах. Ночами Кальва душила тоска. Он бессонно метался по пустой спальне и изливал печаль в певучих элегиях. Засыпал он перед погасшим светильником.

Утром являлся Катулл, хватал табличку, пробегал глазами — и целовал друга.

В поэзии наступило время Кальва. Поклонники осаждали книжные лавки и с нетерпением ожидали появления его элегий. Катулл ходил повсюду, сжимая в руках таблички со стихами друга, и утверждал, что лучшего в подобном роде еще никогда написано не было. Кальв воспевал свою милую Квинтилию, навсегда покинувшую его, и друзья-«александрийцы» ответили ему сочувственными стихами. Катон, Корнифиций, Фурий, Цинна и Катулл создали целый цикл, сопровождавший издание надгробных элегий Кальва.

Катулл знал хвалебные поэмы, посвященные Цезарю. Он знал, что авторами их, кроме своры мелких продажных писак, являются такие выдающиеся римляне, как Варрон, братья Цицероны и Поллион. Он спокойно выслушивал советы разумных людей последовать их примеру,

усмехался и строчил эпиграммы.

И вот произошло то, чего Катулл так боялся и к чему заранее готовился, как к неизбежному несчастью. Отец, видимо, получал подробные сведения о его «беспутной» жизни и о его антицезарьских эпиграммах. Терпение старого муниципала лопнуло. Из Вероны пришло гневное письмо. Катулл долго сидел над ним, подперев голову и тяжело вздыхая.

«...Ты мог так поступить! Не только я, удрученный и обманутый, и твоя истерзанная горем мать, — не только мы, но и все близкие и дальние родственники возлагали на тебя надежды, молили богов о твоём благополучии. Ты не пожелал оправдать этих надежд. Ты не помог нашему роду вырваться из провинции и выдвинуться в среду высших сословий. И виной всему твой разнузданный нрав. Я больше ничего не скажу тебе, лицемер и предатель, хоть ты единственный оставшийся у меня сын и мог бы сделаться наследником моего имущества и положения. Клянусь всеми богами, себя мне не в чем упрекнуть! Я был по отношению к тебе доброжелателен, щедр и терпелив, как и подобает любящему отцу. Теперь не жди от меня помощи и привета...»

VI

— Где он, наш прославленный оратор? Где этот маленький плут? — ворвавшись в дом Кальва, кричал Катулл. Он размахивал измятым свитком.

Кальв вышел из таблина и с лукавой улыбкой смотрел на преувеличенное негодование веронца.

— Ты смеешься надо мной, разбойник? Иди-ка сюда на расправу! — Катулл подскочил к Кальву, как драчливый петух.

Раб, открывший Катуллу, бросился между ними, чтобы предотвратить драку. В испуге он позвал на помощь.

— Тукция, — сказал Кальв прибежавшей на крик рабыне, — принеси моему благонравному и скромному гостю секстарий аминейского. Он хочет поздравить меня с началом Сатурналий.

— Поздравлять тебя? А как ты-то меня поздравил! Бессовестный! Хочешь свести меня с ума? — завопил Катулл.

— Его у тебя и так осталось чуть на дне, — спокойно возразил Кальв. — Я смотрю, ты недоволен моим подарком...

Кальв сел в кресло и движением руки отпустил рабов.

— Я послал тебе стихи прекрасных поэтов, — сказал он, — нудного Аквина, косноязычного Цесия, падуанца Танузия Гемина, которого ты в эпиграммах именуешь Волюзием, и, наконец, велеречивого красавца Суффена... Завидное разнообразие...

Кальв рисовался своим остроумием, как в былые времена.

— Всех их связывает одно: они бездарны! — выкрикнул Катулл и швырнул книгу на пол. — Ты ужасно поступил, выбрав для меня такой подарок!

— Прости... Будем считать, что моя шутка не удалась.

Кальв перестал улыбаться, поднял брошенный Катуллом свиток и разгладил его. Катулл вздохнул. Игра в веселый скандал прекратилась. Оба друга выглядели усталыми и печальными.

Катулл вынул из-за пазухи трехлистровку и протянул Кальву.

— Здесь переписана «Свадьба Фетиды и Пелея», — сказал он. — Моя поэма, может быть, доставит тебе больше удовольствия, чем этот злосчастный сборник.

— Спасибо, дорогой Гай. Твой подарок бесценен для меня. А скоро ли ты думаешь издать свою поэму?

Катулл пожал плечами:

— Гортензий обещал предварительно потолковать о ней с Поллионом. Должен сказать, я надеюсь, что издание «Свадьбы» немного меня поддержит.

— Я дам тебе несколько тысяч, — предложил Кальв.

— Нет уж. Я имею смешную провинциальную привычку вовремя возвращать долги. И когда я не знаю, где мне взять для этого денег, у меня начинается бессонница.

Кальв с грустной улыбкой покачал головой, потом спросил:

— Ты приглашен сегодня куда-нибудь?

— Праздничный пир устраивает Непот. Соберется вся наша поэтическая община, ставшая теперь довольно пестрой. Кроме самих поэтов, там будет целая когорта болтунов, хохотунов и хлопотунов, всегда сопровождающих кропателей виршей... А ты разве не идешь?

— Я не стремлюсь веселиться в обществе, развлечения которого могут оказаться сомнительными...

— Что ты говоришь, Лициний! Разве в доме Непота когда-нибудь совершалась хоть малейшая непристойность! Бесстыдство и Непот — несовместимые понятия.

— Я не об этом. Просто от меня ушла молодость...

— Со смертью Квинтилии?

— Не только. Посмотри вокруг: республика гибнет, и вместе с ее гибелью угасают мои надежды. Ты славный поэт, мой Валерий, — Кальв подошел и обнял веронца, — Но даже самая колкая эпиграмма не заменит обличительной речи оратора перед собранием народа. По моему мнению, сейчас не время для кутежей.

Кальв проводил Катулла до двери, вернулся и печально уставил глаза на раскаленную, полную красных углей жаровню. Кровавые отсветы упали на его трагически застывшее, худое лицо. Он сидел, будто в ужасном предвидении пожаров, смертей и потоков крови. Потом вздохнул, прилег на ложе, заказанное им по длине своего короткого тела, и взял трехлистровку Катулла. Читал с наслаждением, произнося отдельные строки вслух, улыбаясь и хмурясь.

Поэма веронца была полна его страстью, его неприемлемым для официальной морали пониманием любви, его мятежным неприятием окружающего мира.

— Стыдись! — сказал себе Кальв, — Ты упрекал Катулла. Ты ему снисходительно выговаривал. Не гражданину, не политику, — всего лишь поэту, далекому от борьбы. Но вот поэма — на первый взгляд она повествует о событиях эллинской мифологии, хотя только художник не

поймет, что это относится к сегодняшней жизни Рима:

Ныне ж, когда вся земля преступным набухла бесчестьем
И справедливость людьми отвергнута ради корысти,
Братья руки свои обагрят братскою кровью,
И перестал уже сын скорбеть о родительской смерти...

Катулл возвратился домой сильно навеселе, а утром никак не мог проснуться. Разбудил его молодой актер Камерий, его давний приятель.

— Взгляни на свою опухшую физиономию, — со смехом сказал он Катуллу. — Позорно так напиваться, дорогой...

— Замолчи, мальчишка! — крикнул Катулл. — Что толку в твоём свежем и глупом лице? Тоже мне, невинный Эндимион^[185]!..

— Если ты в дурном настроении, я гордо удалюсь.

— погоди, дай мне очнуться. А где же этот проныра? (Катулл позвал раба.) Ах, да, совсем забыл... Он ведь празднует Сатурналии — то есть пьянствует где-нибудь с девками из лупанара.

Постанывая и потирая живот, Катулл разыскал снадобье, отхлебнул из глиняной бутылочки и на несколько минут прилег.

— Тебе легче? — спросил Камерий. — Вставай, я буду прислуживать, а ты брейся, умывайся и снова обрети праздничный вид.

— Я заранее согласен тащиться на другой конец города, лишь бы не сидеть в одиночестве.

— Поэтам не угодишь: то они не переносят шума толпы, то, наоборот, желают быть в гуще народного веселья... О капризные создания!

Камерий рассказал о том, что сегодня выступает замечательная труппа мимов, приехавших из Капуи. Они покорили своим искусством многие италийские города и побывали в провинциях, но в Риме решились показаться впервые. Они побаивались эдила и префекта, потому что их комедия непристойна дальше некуда. Актрисы по ходу действия имитируют с партнерами любовные игры и, кроме того, в самом тексте комедии много неприличных песенок и рискованных политических намеков.

— Все стремятся попасть на их представление — и знатные и простонародье, — заключил Камерий. — Мои друзья из актерской коллегии заранее достали тессеры^[186] и займут нам удобные места. Римский префект приказал мимам выступать подальше от города, их прогнали даже с Марсова поля... Пришлось сколотить подмости на

склоне Пингия^[187], так что идти нам неблизко, поторопись...

Перед театральным помостом стояли ряды грубых скамей, а между ними — изящные кресла, принесенные рабами для своих привередливых господ. Позади находилось помещение для актеров, похожее на овечий хлев, а по бокам высились дощатые изгороди, чтобы посторонние не мешали зрителям. При входе переминались городские стражники, присланные префектом, — на скамьи пропускали только по предъявлении тессеров с изображением маски Мома.

Выступление мимов и постройку деревянного театра оплатил сенатор Домиций Агенобарб, претендующий на консульское кресло.

Огромная толпа гудела вокруг. Нобили, матроны, всадники сидели в первых рядах. Лектики знати с группами носильщиков образовали поодаль целый лагерь. Тут же фыркали муллы, запряженные в неуклюжие колесницы, — немало зрителей приехало из Остии, Фидеи и других близлежащих городков. Все, кто не имел тессеров, расположились выше по склону Пингийского холма, вскарабкались даже на деревья и на крыши построек. Среди тысяч римлян, пришедших поглазеть на представление, суетились продавцы вина, жареных каштанов, кровяной колбасы, сосисок с каперсами и прочих излюбленных лакомств.

Пронизывающий ветерок поддувал с севера, солнце робко проглядывало в разрывах туч. Римляне подстилали циновки и закутывались плотнее в шерстяные пенулы. Некоторым щепетильным матронам и политикам холодная погода послужила предлогом для того, чтобы скрыть свои лица под капюшонами и головными повязками. Впрочем, большинство представителей высшего сословия не стеснялось мнением окружающих и не боялось осуждения поборников благочинной морали.

— Как ты думаешь, — сказал, подходя к Катутлу, Альфен Вар, — будут актрисы раздеваться на таком холоде? Если они решатся скинуть одежды, то следующее представление вряд ли состоится...

Друзья Камерия встретили поэтов радостными приветствиями. Их восторг относился прежде всего к Катутлу. Ему пришлось встать и поклониться сидевшей вблизи него публике.

Рукоплескания раздавались всюду, сопровождая появление знаменитостей; одобрение римлян на этот раз было обращено только к поэтам и актерам, хотя последних официально считали едва терпимыми членами высоконравственного римского общества.

— Слава бесподобному Публию Сиру! — закричали вокруг.

Высокий человек в накидке из полосатой восточной ткани улыбался и поворачивал к выкликавшим его имя зрителям смуглое лицо с черными

живыми глазами.

— Ты когда-нибудь видел игру этого великого мима? — спросил Катулла Камерий. — Он заставляет публику проливать слезы или лопаться со смеху по своему желанию. А как он поет, танцует, играет на кифаре и флейте! Старики говорят, что он ничем не хуже Росция и даже некоторыми гранями своего дарования его превосходит.

— Я видел Сира дважды: в «Самоистязателе»^[188] и в забавной пьеске о хитрых кумушках, обманувших чванливого богача. Оба раза я хохотал как помешанный. Это любимец Муз. Архимим^[189].

— Катулл, — внезапно заговорил задумавший что-то Вар, — у тебя отменный вкус, разумеется. Я считаю, что вкус, — это то, что делает из обыкновенных людей поэтов, а из сотни поэтов так называемого избранника Аполлона...

— В твоём рассуждении есть доля истины.

— Чтобы оценить женскую красоту, вкуса требуется побольше, чем для кропания стихов, не правда ли? Но ты и здесь доказал, что твой выбор неоспорим...

Вар, обычно говоривший в грубоватом тоне простолюдина, произнес последние слова с тонкой иронией. «Башмачник» пользовался ею достаточно искусно. Он заметил, как нахмурился и стиснул зубы Катулл, увидев Клодию в обществе молодых вертопрахов.

— Что? Что такое? — завертелся Камерий.

— За пять рядов от нас сидит женщина, — сказал Вар. — Рядом с ней старуха, наверное, родственница, а вокруг вьются поклонники. Видишь? После толстяка... да нет, не лысого, а другого, в коричневой тоге... Ну, конечно! У нее греческая прическа, золотой обруч... Так вот, эта дочь лукского муниципала объявлена одной из первых красавиц в Риме, соперницей Сервилии, Волумнии и самой Клодии Пульхр.

— Кем объявлена? — спросил Катулл.

— Виднейшими знатоками. Не буду называть имен, потому что их мнение ты все равно не признаешь. Но ей посвятил хвалебные стихи Теренций Варрон... и наш друг Корнифиций... У нее есть одно большое достоинство: она была любовницей формийца Мамурры...

— Ментулы?! — взвизгнул Камерий, всплеснув руками.

Прятели Камерия захохотали, а Катулл рассердился.

— Что ты предлагаешь? — спросил он Вара, сморщив нос, как будто почувствовал мерзкий запах.

— Честно описать ее красоту в стихах...

— Мне не нравится такая игра, — сказал Катулл. — Впрочем, если ты настаиваешь...

Они стали пробираться между рядами тесно сидевших зрителей. Камерий хотел увязаться с ними, но Вар его прогнал. Широко улыбаясь, он приблизился к молодой женщине в пестром плаще, индийской шали и галльских золотых украшениях. Окружавшие ее поклонники сделали недовольные гримасы. Не обращая на них ровно никакого внимания, Вар сказал:

— Да будет милость богов к тебе неизменна, прекрасная Амеана. Я хочу представить тебе нашего земляка-транспаданца Гая Катулла...

— Того самого? — живо спросила она и, получив утвердительный ответ, перевела любопытный взгляд на веронца, выглядывавшего из-за широкой адвокатской спины.

Катулл начал было:

— Счастлив приветствовать тебя, любез...

— Я тоже очень рада, — перебила его Амеана. — Так вот ты какой! А я-то думала... Ну, и так ничего... Ты мне нравишься, бледненький веронец.

Слегка оторопев, Катулл уставился на подружку Мамурры, а она, в свою очередь, с веселой улыбкой разглядывала его.

Длинное, длинноволосое лицо Амеаны с покрашенным пухлым ртом и свежим румянцем выражало детское желание шалить и резвиться. Катулл продолжал не спеша его изучать. Гладкая кожа. Крепкий подбородок. Зубы-жемчужины. Волосы она, по-видимому, густо чернит отваром из кожуры орехов. Приклеенные к длинным ресницам тончайшие ленточки золотой фольги делают ее выпуклые, зеленовато-серые глаза еще более светлыми, поражающими блудливым, кошачьим огнем.

Когда она помахала кому-то из знакомых рукой в сапфировых перстнях, вышитый паллий и теплая индийская шаль раскрылись, и Катулл заметил маленькую грудь и умопомрачительную талию. Ей было всего двадцать лет. Но все-таки сравнивать эту резвую кобылку с божественной красавицей Клодией — просто нелепо. Катулл так и сказал Вару, возвращаясь на свое место.

— По-моему, ты тоже не особенно ее восхитил... — усмехнулся Вар.

— Деревенщина, — пренебрежительно процедил сквозь зубы Катулл. — Кстати, она пригласила меня послезавтра смотреть, как она будет играть в мяч со знатными римскими девушками. Хочет показаться в одной тунике, чтобы можно было разглядеть все ее прелести...

Вар был умен, он отлично сознавал силу катулловского таланта. Свои поэтические занятия он считал дополнительной помощью судьбы на пути к

преуспеянию и богатству. С течением времени Вар понимал все яснее, что их дороги расходятся: Катулл — если не стал еще для него врагом, то уж о сердечной привязанности между ними не могло быть и речи.

Сидя рядом на театральной скамье, Вар искоса поглядывал на веронца, среди общего шума погруженного в сосредоточенное раздумье.

Что с тобой? — спросил Катулла Камерий.

— Сейчас, сейчас... — рассеянно ответил Катулл.

— Тебе нехорошо, Гай? — забеспокоился актер и взял его за руку.

— Может быть... ты сочиняешь? — догадался Вар.

Катулл хитро сощурился:

— Нет ли у тебя таблички? А у тебя, Камерий?

Таблички и стилия ни у кого не нашлось. Отыскали кусочек угля. Камерий перевернул свой плащ подкладкой вверх и растянул его на коленях. Наклонившись, Катулл торопливо писал кривыми буквами:

Добрый день, долгоногая девчонка,
Колченогая, с хрипотою в глотке.
Большерукая, с глазом, как у жабы,
С деревенским, нескладным разговором,
Казнокрада формийского подружка!

Катулла обступили, вытянув шеи в восторженном внимании. Происходило рождение новой эпиграммы. Все понимали: это насмешка не только над бесцеремонной провинциальной красоткой, это еще одна оплеуха Мамурре, Цезарю.

— Ты написал предвзято... — пробормотал Вар, недовольно пожав плечами.

На Вара зашипели и замахали руками. Катулл повторил с явным удовольствием «казнокрада формийского подружка»... и вдруг, толкнув Вара, воскликнул:

И тебя-то расславили красивой?
И тебя с нашей Лесбией сравнили?
О, бессмысленный век и бестолковый!

Камерий осторожно свернул плащ. Кругом захлопали, засмеялись, заговорили, повторяя только что написанные Катуллом стихи. В веселом

гвалте не расслышали стука деревянных колотушек-скабилл, возвестивших о начале представления.

VII

Помпей шел на сближение с сенатом. На консульских выборах он поддержал кандидатуры Домиция Агенобарба и Аппия Клавдия, они заняли в курии кресла слоновой кости.

Цицерон оставался не у дел. Он негодовал и жаловался в письмах уехавшему в Грецию Помпонию Аттику: «Трудно поверить, до какой степени вероломны римляне... Обманутый и покинутый, я почувствовал это на себе... Если я говорю о государственных делах то, что думаю, меня считают безумцем, а если то, что требуется, — рабом...»

Время от времени Цицерон, отстраненный от главных ролей в республике, отправлялся в свое имение и писал там политические трактаты, подражая диалогам Платона. В трактатах он выражал мысли, которые хотел бы провозглашать на Форуме.

Катулл не признавал выпренной мудрости Цицерона. Он был мрачен, дела его шли из рук вон плохо. Загородный дом он продал, но деньги незаметно и быстро таяли. Пришлось возвратиться в контору по найму — и молчаливых сардов, и плутоватого слугу. Вслед за тем он сменил дорогую квартиру на две душные комнаты в доходном доме на Авентине. Комнатки были крошечные, как скорлупки от жареного каштана, и лепились под самой крышей.

Лирическая поэзия Катулла вновь расцвела вместе с приходом италийской весны. Он посвятил Кальву стихотворение, благословляющее талант и остроумие друга, с которым они часто забавляются стихотворной игрой, шутками, экспромтами, виртуозной сменой размеров. Катулл описывает свое состояние такими же приемами, какими передавал раньше страстное нетерпение влюбленного, ожидающего «желанного рассвета». Он называет Кальва своим «милым другом», надеется на понимание, жаждет встречи и предупреждает от высокомерия.

Но его неосторожные высказывания и колкие эпиграммы, а иногда и откровенная клевета завистников восстанавливали против него влиятельных нобилей, от снисходительности которых нередко зависело издание его стихов. Постепенно Катулл терял покровительство таких знатных людей, как Меммий Гемелл, Публий Сестий, Гортензий Гортал, хотя, разоблачая в эпиграммах цезарианцев, он тем самым отстаивал их интересы.

Кроме того, Катулл чувствовал, как без всяких дурных намерений с его

стороны охлаждаются отношения между ним и сверстниками, земляками, соратниками в поэзии: Альфеном Варом и Квинтом Корнифицием. Правда, с ними пока не доходило до полного разрыва, как с Руфом, или до взаимных издевок, как с Фурием, но все же Катулл горько переживал потерю их братской сердечности. Узнав, что Вар выступил с речами, восхваляющими ставленников Цезаря, Катулл рассвирепел. Он послал адвокату письмо, требуя встречи и объяснений. Вар ему не ответил.

Валерий Катон с иронической усмешкой сказал Катуллу:

— Многие сейчас колеблются — оставаться им честными людьми, примкнуть к Помпею или же к Цезарю. Мирись с предательством, это знамение времени.

Красс крепко завяз на Востоке; война с Парфией складывалась неудачно. Ходили слухи, что перед отъездом Красс проявил нескрываемую враждебность к коллегам-триумвирам. По всей видимости, триумvirат распался. Но это не означало исчезновения угрозы республиканскому правлению в Риме. Наоборот, ожидалось приближение решительной схватки за единоличную власть.

Чтобы узнать новости, Катулл отправлялся на Форум. Но на Форуме было малоллюдно. Беспощадное солнце раскалило стены и крыши храмов. Кое-где сидели у переносных столов менялы и торговцы женскими безделушками. Завитые щеголи прохаживались между колоннами базилик, лениво помахивая тросточками. Иногда торопливо проходил с поручением магистрата курьер или актуарий. Катулл чувствовал в этом обманчивом оцепенении приближение беды. Ему казалось, что и другие должны это понять, хотя все делали вид, что ничего особенного не происходит, продолжая разглагольствовать, торговать, развлекаться. Ему стало безразлично собственное благополучие и безопасность. Наверное, он нисколько не испугался бы, услышав предсказание близкой смерти.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Танузий Гемин из Падуи слыл в своем городе весьма достойным человеком, не обойденным и милостями Музы. Он был старше Катулла на десять лет. Когда впервые стали хвалить одаренного юношу, Гемин пожал плечами: мало ли юношей пробуют силы в божественном парнасском искусстве? В то время Катулл только что получил право носить тогу взрослого. Гемин усмехнулся и забыл про подающего надежды веронца.

Через пять лет он оказался в Вероне, поехав туда по поручению своего отца, магистра коллегии мукомолов. Ему предстояло заключить обоюдовыгодную сделку с местными поставщиками пшеницы. Закончив дела, Гемин несколько дней посвятил осмотру достопримечательностей и некоторым другим приятным занятиям. Случайно он попал в один почтенный дом и там познакомился с бойкими молодыми людьми, увлеченными философией и поэзией. Среди них были Катулл и Корнифиций. Беседа сложилась интересно, хотя их литературные взгляды не совпадали. Гемин не первый год усидчиво занимался историей, готовясь написать большую эпическую поэму в подражание славному Эннию, а веронцы предпочитали изящные стихи Каллимаха; Гемин с почтением относился к священному гомеровскому размеру — гекзаметру, а веселые мальчики восхищались живым и свободным александрийским ямбом.

Корнифиций прочитал тогда свой перевод из Мелеагра. Гемин слегка морщился, слушая, как этот стройный красавец кокетливо произносил нараспев:

Винная чаша ликует и хвалится тем, что приникли
К ней Зенофилы уста, сладкий источник речей.
Чаша счастливая! Если б, сомкнув свои губы с моими,
Милая разом одним выпила душу мою...

Стихи были легковесные, но перевод удивил Гемина мастерством. Все-таки он стал возражать против этого течения в латинской поэзии. Катулл, очень вежливый и чистенький, с ним не соглашался и горячо спорил. Мальчики, видимо, утвердились в своих заблуждениях.

Вернувшись домой, Гемин еще года на два погрузился в изучение исторических книг, а потом принялся писать пространную поэму, в которой

намеревался отобразить подвиги римских воителей и которую назвал традиционно «Анналы». Писание «Анналов» двигалось крайне медленно. Написав первую часть поэмы, Гемин послал ее Цицерону и получил от него одобрительный отзыв. Падуанец пришел в восторг от похвалы великого гражданина и с еще большим рвением продолжал трудиться в течение пяти лет. За эти годы Гемин не раз письменно обращался к Марку Туллию за советом, считая его своим наставником. Гемин был крепким республиканцем и в частных разговорах позволял себе смелые выпады против триумвиров.

Окончив «Анналы», Гемин издал их за свой счет. Но Падуя оказалась слишком захолустным, невежественным городком, появление новой поэмы не произвело на здешнее общество должного впечатления. «Анналы» раскупались плохо. Гемин огорчился, но не падал духом. Заручившись письменным покровительством Цицерона, он отослал несколько списков своей поэмы одному из римских книготорговцев, а через пару месяцев решил сам броситься в буйное столпотворение столицы — хлопотать и бороться за признание.

Что же касается отношения Гемина к Катулле, то, конечно, падуанец знал о необыкновенном успехе катулловских безделок. Он получал от своих знакомых в Риме все сборники, в которых помещались стихи веронца. Гемин понимал силу дарования молодого поэта, но тем более сожалел, что оно растрачивается так предосудительно и небрежно. Правда, политические эпиграммы Катулла примиряли с ним дотошного падуанца. В этом Катулл был недостижим, его бесстрашие и непреклонность могли сделать честь любому сенатору.

Когда «Анналы» Танузия Гемина попали в столицу, о них заговорили, и нашлись поборники старого эпического направления, которым его поэма понравилась. Однако молодежь и особенно «александрийцы» ругали ее отчаянно. Катулл принимал в этом поношении самое деятельное участие.

Гемин тотчас натолкнулся на бранные слова в безделках Катулла, хотя подлинного имени падуанца названо не было. Катулл вывел его условно — Волюзием. Вспотев от обиды, Гемин читал:

Хлам негодный, Волюзия «Анналы»!
Вы сгорите, обет моей подруги
Выполняя...

У Гемина дрожали руки, но он продолжал читать, улыбаясь печальной

улыбкой смиренного подвижника. Он не позволил гневу овладеть своей возвышенной и твердой душой.

...Вы ж не ждите! Живей в огонь ступайте,
Вздор нескладный, нелепица и бредни,
Хлам негодный, Волюзия «Анналы»!

Что ж, Гемин готов терпеть любую брань. Он теперь занимает пусть скромное, но достойное место в ряду эпических гениев. К нему не пристанут помои злопыхателей и завистников. Нас рассудят столетия, думал Гемин.

Он приехал в Рим с пятью рабами, тяжелым кошельком и достаточным количеством свитков с достославными «Анналами». Он нанял дорогую квартиру вблизи Авентинского святилища и заказал модному портному щегольскую одежду. На все это пошло немало денег, вырученных его отцом от продажи муки и сдачи под извоз торговых судов.

Лето в Риме жарче, чем на севере, в родной Падуе. Но что сделаешь? Приходится испытывать неудобства ради будущей славы! Сегодня в правом крыле базилики Эмилия собираются поэты и многочисленные любители поэзии...

Гемин готовился тщательно. Один из рабов осторожно его побрил, другой завил ему волосы. Гемин долго стоял посреди комнаты, расставив руки, пока рабы красиво укладывали и расправляли на нем складки тяжелой тоги, — да, широченной и душной тоги, а не легкой греческой хлены или узкой пенулы. Пусть он истечет потом, но явится в собрание, как подобает гражданину, — в торжественной, традиционной римской одежде.

Вот досада! — раб неправильно одернул край тоги, и она сползла с плеча, надо было снова укладывать... Не меняя глубокомысленного выражения лица, Гемин ткнул раба кулаком в подбородок. Неумелый виновато всхлипнул и на лету поцеловал его руку.

Жара разогнала зевак. Лишь под сводами портиков не прекращались судебные разбирательства и торговые сделки. Однако в правом крыле великолепной базилики Эмилия собралось несколько сот стихотворцев и их почитателей. Они стояли полукругом, оживленно беседуя. В креслах, принесенных рабами, сидели наиболее именитые литераторы. Первые ряды стоявших в изящных позах и изысканно одетых римлян представляли избранное общество. За их спинами теснились те, кто попроще, а дальше вытягивали шеи из-за колонн клиенты и небольшое число случайных

прохожих.

Рециатация (публичное чтение) началась. По просьбе ведущего собрание Асиния Поллиона поднялся Варрон, политический деятель, историк, поэт, знаток сельского хозяйства и естественных наук. Поллион предложил ему прочитать из своего философского трактата «Логисторики» главу «о счастье» и «о поэзии», желая таким образом придать началу рециатации мирное и возвышенное направление. Поллион надеялся избежать в выступлениях поэтов враждебности, которая раздирала общественную жизнь Рима. Но Варрон, будто нарочно, стал читать отрывок из своих «Менипповых сатур» — веселого и остроумного поэтического сборника, бичующего людские пороки. Правда, Варрон определенно не затрагивал в «Сатурах» кого-либо из сограждан, и все-таки публичные выступления поэтов в этот жаркий июньский день сразу пошли по опасному пути.

Гемин во все глаза глядел на Варрона и на других римских знаменитостей. Асиний Поллион был ему неприятен принадлежностью к политическому лагерю цезарианцев, хотя его любезность и красноречие производили впечатление самое благоприятное. Поллион к тому же считался и признанным поэтом. Но здесь, под базиликой Эмилия, он выступал только в роли председателя собрания.

Один за другим выходили поэты — и прославленные и безвестные. Получив от Варрона определенную сатирическую направленность, они читали преимущественно эпиграммы. Осмеяние пороков общества постепенно заменялось едкими намеками на пороки отдельных лиц и в конце концов вылилось в яростное словесное фехтование.

Гемин опешил, видя, как лица римлян бледнеют и багровеют от досады и жажды мщения. Приверженцы разных литературных толков неистово поддерживали своих избранников. После каждого нового выступления вызывающий смех и рукоплескания слышались с одной стороны и возмущенный ропот — с другой.

Ужаснувшись разнузданности римских нравов, Гемин видел, как поэтическое состязание обернулось руганью по адресу самых влиятельных деятелей республики. Молодой человек из почтенной всаднической семьи, по имени Марк Отаций, прочитал стихотворение, в котором различался прозрачный намек на распутство Юлия Цезаря. Еще более смелую эпиграмму, иносказательно поносившую того же Цезаря, громко и дерзко прокричал другой молодой поэт, Фурий Бибакул. Под колоннадой Эмилия запахло скандалом, одним из тех, что в Риме кончались кровью.

По правде говоря, Гемин не удержался все-таки, хихикнул, испытывая

удовольствие от дерзости молодых противников триумvirата. Впрочем, он тотчас себя одернул и смущенно покосился на соседей.

Гемину показали предводителя кружка «новых поэтов», худого человека лет тридцати пяти, с остриженной синеватой головой, одетого подчеркнуто строго, в традициях аскетического учения стоиков.

— Валерий Катон... Ученейший муж, но вот свихнулся... — говорили любители эпических поэм Гемину. — А немного поодаль, справа, еще один из этого беспутного сообщества... Смуглый, как египтянин, с бородкой, Тицид, наимоднейший писака... Тут же, около него, друг Цицерона Корнифиций... А знаешь ли ты, кого сейчас просят выступить?

Гемин взгляделся и воскликнул с невольным раздражением:

— Еще бы мне не знать такого сумасброда! Это Катулл!

Шум под базиликой не прекращался. Варрон обратился к собравшимся с предложением либо уважать выступающих, либо закончить публичное чтение и разойтись.

— Пусть перестанут задевать величайших людей республики! — раздался чей-то зычный угрожающий голос. — Не допустим наглого поношения!

Варрон сказал спокойно, глядя в ту сторону, откуда слышался этот голос:

— В Риме пока не запрещены свободные выступления граждан и тем более — чтение стихов. Кроме того, в эпиграммах не упоминалось ни одного известного мне имени. Если же кто-то воображает больше того, что есть на самом деле, пусть он оставит свои соображения при себе. Быть безмолвным и подобострастным можно заставить раба, но не римлянина.

После отповеди Варрона шум начал стихать, все усталились на Катулла. Он стоял боком к публике и рассеянно слушал Асиния Поллиона, который в чем-то настойчиво его убеждал. Подошел к Катуллу и Валерий Катон. Взяв веронца за руку, он тоже сказал ему несколько отрывистых фраз.

Гемин ничего не мог понять со своего места. Он только видел, как веронец отрицательно покачал головой, собираясь, по-видимому, смешаться с публикой. Толпа под базиликой завопила и замахала на него, будто на трусливого гладиатора или на забывшего роль актера...

— Читай, Катулл! Не слушай никого! — кричали одни, подняв кулаки и сверкая глазами.

— Хватит эпиграмм, пусть прочтет какую-нибудь элегию! — не менее запальчиво возражали другие.

Тут к Катуллу протиснулся Тицид, потом Фурий, с ними Калькой и

еще несколько приятелей, что-то ему советовавших. Веронец оглянулся в растерянности. Теренций Варрон, резко отодвинув кресло, поднялся, протянул руку к Катутлу:

— Катулл, исполни желание сограждан! Читай то, что сам находишь достойным...

Веронец отмахнулся от непрошенных советчиков и стал лицом к публике. Варрон опустился в кресло. Все умолкли.

Танузий Гемин жадно разглядывал прославленного земляка, своего политического единомышленника и литературного врага. У Катутла было болезненное, почти пепельного цвета лицо, между бровями глубокая складка, под глазами скорбные тени. В каштановых волосах белела ранняя седина. Катулл выглядел гораздо старше своих тридцати трех лет. Одежда его отличалась тем небрежным изяществом, которое становится привычным при постоянном общении с врожденными аристократами. Гемин позавидовал в этом Катутлу, его собственная тога казалась ему теперь воплощением провинциального тщеславия.

Стоило Катутлу произнести самые первые слова, как Гемин понял, что веронец сочинил невероятно дерзкую эпиграмму. Это не были обычные намеки, смешки и подмигиванья — Катулл разворачивал перед слушателями беспощадную и гневную политическую инвективу:

Кто видеть это может, кто терпеть готов?
Лишь плут, подлец бесстыжий, продувной игрок!
В руках Мамурры все богатство Галлии,
Все, чем богата дальняя Британия!
Ты видишь это, Ромул, и снести готов?
Ты, значит, плут, похабник беззастенчивый!

Гемин в восхищении воздел руки. Ведь от Ромула, легендарного основателя Рима, ведет свое происхождение патрицианский род Юлиев... Ромул — Юлий Цезарь! Гемин затаил дыхание, чтобы не пропустить ни звука.

Катулл продолжал читать негромко, но достаточно отчетливо. Он смотрел прямо перед собой остановившимися, потерявшими блеск глазами. Он не делал никаких жестов: одна рука была опущена, другая придерживала край голубой пенулы.

Приподнявшись на носках, Гемин ловил каждое слово, бичующее знаменитого полководца:

Затем ли на далекий остров Запада
Ходил ты, цвет и слава победителей,
Чтобы вот этот твой кобель потрепанный
За сотней сотню расточал и тысячи?
Чудовищная щедрость, мотовства разгул!
Неужто мало прожито-просажено?
Сначала деньги прокутил отцовские,
Затем ограбил Понт, затем Иберию,
Где Таг течет, река золотоносная...

Да, Мамурра воевал под началом Помпея в Малой Азии, а потом с Цезарем в Испании — и везде прославился грабежами!

Теперь дрожат и Галльский, и Британский край.
Зачем с мерзавцем нянчиться? Проматывать
Умеет деньги, больше ни на что не гожд...

Катулл на мгновение остановился, будто запнулся, забыл, и с неожиданной силой спросил осипшим яростным голосом:

Не для того ль вы город погубили наш,
О зять и тесть, властители могучие?

Гемин не замечал никого вокруг себя. О смелый веронец! Какую пощечину отвесил он в заключение Помпею и Цезарю!

Раздались нерешительные хлопки, потом толпа разом заволновалась. Нельзя было разобрать, осуждает или одобряет большинство римлян неистовую смелость Катулла. Асиний Поллион выглядел явно расстроенным. Варрон продолжал неподвижно сидеть в кресле. Катулл вопросительно посмотрел на Поллиона, но тот стоял, отвернувшись. Тогда поэт обратился к собравшимся с предложением прочитать еще одну новую эпиграмму. Ему ответили нестройными криками. Усмехаясь и покусывая нижнюю губу, Катулл ждал тишины. К нему опять подошел Валерий Катон и с ним коренастый белокурый крепыш, вызывающе взглядывавший на тех, кто казался ему недовольным.

Гемин ничего не понимал... Что происходит под базиликой Эмилия?..

Безумные люди, безумный город! Пожалуй, сейчас Гемина не удивили бы и обнаженные мечи.

Не дождавшись внимания, Катулл обозлился. На его бледном лице выступили багровые пятна, сделавшие это лицо похожим на отталкивающую маску. Взмахивая рукой и поворачиваясь во все стороны, он надсадно выкрикивал:

Чудно спелись два гнусных негодяя:
Кот Мамурра и с ним похабник Цезарь!
Что ж тут дивного? Те же грязь и пятна
На развратнике римском и формийском.
Оба мечены клеймами распутства,
Оба гнилы и оба полузнайки,
Ненасытны в грехах прелюбодейных...

Перед Катуллом все расступились, он был хорошо виден Гемину. Вскинув голову и сощутив глаза, Катулл повторил в полной тишине: «Чудно спелись два гнусных негодяя!»

Толпа прихлынула к тому месту, где он стоял. Кто-то вопил истошно, рвался вперед, кого-то держали, унимали, оттаскивали...

Неожиданно для самого себя Гемин вступил в опасный спор. Во весь голос он восхищался блеском катулловских эпиграмм и дошел до того, что вцепился в платье противника... И тут будто увидел себя со стороны: вместо благовоспитанного и сдержанного гражданина в толпе вертелся горластый буян, потерявший всякую рассудительность.

С огромным трудом председателю собрания и другим именитым римлянам удалось добиться относительного порядка. Ворча, противники расступились, — Гемин искал глазами Катулла, но тот исчез.

Поэты опять читали, и слушатели опять рукоплескали им, но рециатация проходила без прежнего увлечения. Многие покинули базилику Эмилия.

II

Катулл терял одновременно и светские знакомства, и поддержку друзей. Время шло не в его пользу. Скрывая горечь, он посвящал землякам шутливые послания:

Мой Фабулл! Накормлю тебя отлично В дни ближайшие, если бог поможет.

Только сам озаботься угощением,
И вином, и хорошенькой девчонкой,
И весельем, и острыми словами.
Озаботься всем этим, и отлично
Угостишься, дружок! А у Катулла
В кошельке загнездилась паутина...

В конце лета обстановка в Риме снова накалилась. Сенат взирал на Помпея как на будущего владыку. Многие политики полагали, что внутреннее состояние республики требует его немедленной диктатуры. Другие склонялись к тому, что Цезарь окажется сильнее Помпея. Цезарь правил Галлией, по сути дела, как царь без диадемы. Его легионы были огромной силой.

На Форуме собирались группы быстрых людей. Они то появлялись, то исчезали. Они скакали верхом из Рима в Галлию, из Галлии в Рим, обгоняя тяжелые обозы. Быстрые люди ходили по Форуму, толкались, задиристо говорили и поглядывали жестко и холодно. Когда требовалось, — не раздумывая, доставали мечи. Что-то назревало страшное. Неопределенно, но явственно.

Цицерон писал хитрому Аттику в Эпир: «...дело идет к междувластью и даже пахнет диктатурой; разговоров, во всяком случае, много».

Говорили и такое: среди белого дня подозрительная шайка окружила носилки сенатора Марка Порция Катона... Метнули из пращи камень! Грозил кинжалами! Сателлиты утащили сенатора в храм Беллоны, там отсиделись. Говорили разное, хотя все это могло оказаться сплетней. Но то, что Цезарь присылает из Галлии золото и покупает не только нищую чернь, но и жадных богатых нобилей, новостью ни для кого не было.

Катулл тоже слушал, расспрашивал, возмущался. Однажды, рассуждая

на Форуме с кучкой знакомых о политике, Катулл увидел проходившего мимо курьера квесторской магистратуры. Он вспомнил наконец о беседе с Асинием Поллионом.

Цезарианец ждал от него всего двух слов. Первое должно означать раскаянье, второе — согласие стать приверженцем Цезаря. Катулл на мгновение задумался. Совесть его относилась к категории непродажной, Катулл действительно думал только мгновение. Поллион получит через курьера ответ Катулла для великого Цезаря — две стихотворные строчки вместо двух слов подлеца. Катулл достал из сумки табличку и коротко написал:

Поллиону от Гая Катулла.

Привет тебе. Если ты будешь посылать письмо в Галлию, то присоедини от меня следующие стихи:

*Нет, чтоб тебе угодить, не забочусь я вовсе, о Цезарь!
Знать не хочу я совсем, черен ли ты, или бел.*

«Поллион, конечно, не пошлет это Цезарю, — решил Катулл, отдав табличку курьеру. — Теперь я перестану его интересоваться и как желанный собеседник, и, уж наверное, как поэт».

Хотя Катулл постоянно встречался и болтал о всякой всячине с некоторыми из своих приятелей (в чем и состояла большая часть его времяпрепровождения), одиночество становилось все тягостнее. Известны были его стихи к Альфену Вару, где он упрекал адвоката в измене старой дружбе, равнодушии и жестокости, намекал и на политическое предательство.

Лето заканчивалось. Потеряв надежду выдвинуться и устать от столичной суеты, уехал домой Вераний. Скоро собирался уезжать и Фабулл. От жары Катулла не спалось, ночью тревожно стучало сердце.

Когда Катулл приходил к Кальву, маленький оратор встречал его бледной, безрадостной улыбкой. Где былые проказы, пародии, великолепные остроты? Кальв изменился неузнаваемо. Он совсем высох. Его лицо казалось вырезанным из прозрачного желтоватого камня. Он носил темную одежду из грубой шерсти, а бороду брил небрежно. И это изящный, стремительный щеголь Кальв, недостижимый пример элегантности, кумир завистливой «золотой» молодежи! Когда он двигался, слышалось странное металлическое позвякивание. Катулл вздрагивал и глядел недоумевающе. Потом глаза его застилали слезы. Валерий Катон

недавно сказал ему, что Кальв фанатично увлекся одним из крайних, аскетических течений стоицизма. Призыв стоиков — отказаться от земных благ и для утешения душевных страданий предавать истязанию свое тело — нашел отклик в угнетенном сознании Кальва. Под туникой Кальв днем и ночью носил свинцовые цепочки — вериги. Кальв-аскет! Кальв — фанатичный стоик! Катулл не мог в это поверить.

— Нужно ли человеку заботиться о своем теле? Нужно ли думать о продлении жизни? Не постыдно ли холить себя, подобно продажной женщине, и не смешно ли упиваться поэтической славой! — Неприятно-напыщенные вопросы Кальва раздражали Катулла. Он не находил ответа, удивляясь, что умница Кальв не чувствует фальши и бесчеловечности в поучениях недалеких, черствых людей. — Все разрушит смерть. Неотвратимая, вездесущая, вечная.

Катулл молчал. Кальв продолжал бесцветным размеренным тоном:

— Я оставлю себе только одно мирское волнение. Борьба с тиранией будет моим уделом. Я знаю, что погибну в этой борьбе, и близкая смерть — если не радует, то и не страшит меня^[190].

Катулл прощался с Кальвом, стараясь не показать своего безутешного горя. Он бросался искать Корнифиция, но тот чаще всего находился в доме какого-нибудь оптимата, где плелись политические интриги. Нередко Квинт был гостем отстраненного от государственной деятельности, сетующего на несправедливость и вероломство, обиженного Цицерона. Корнифиций теперь почти не занимался поэзией. Кровавое, тревожное время казалось ему неподходящим для стихов. Он лелеял свою ненависть и мечтал о мщении.

Гельвий Цинна не соглашался с Корнифицием. Он издал свою «Смирну», которую писал в общей сложности девять лет. Катулл расхваливал поэму Цинны, но знатоки, толпившиеся на Форуме, отплевывались: смысл поэмы исчезал в тумане иносказаний, побочных мифологических фабул и стихотворческих упражнений. Презрев пересуды, Валерий Катон сравнивал творение Цинны со стихами Эвфориона. Неотерики продолжали отстаивать свои позиции и издеваться над вкусами моралистов.

Цинна был верен себе. По поводу издания «Смирны» он пустился в многодневный разгул, но Катулл уже не мог составить ему компанию. Хорошо, что в Риме продолжали еще царапать таблички и шелестеть папирусными свитками. Катулл поместил в сборник Катона стихотворение, вызвавшее различные предположения и бесконечные споры. Никто не мог определенно сказать, к кому именно из друзей относит он свои упреки.

Римляне привыкли, что Катулл не пишет ничего отвлеченного, не связанного с его личной жизнью. Кто же теперь виновник его горестного вдохновения? Альфен Вар? Или открылась старая рана, и Катулл обратился снова к Целию Руфу? Некоторые все-таки считали, что здесь поэт не имеет в виду никого определенно, а выражает свои чувства по поводу предательства и обмана, отравивших римское общество.

Нет, не надейся приязнь заслужить и признательность друга.
Благочестивой любви лучше в награду не жди!
Неблагодарность царит, добро не приносит награды.
Где уж награды?.. Добро горечь родит и тоску.
Так и со мною. Врагом моим злейшим и самым жестоким
Тот оказался, кому другом и братом я был.

Катуллу становилось все тяжелее. Отрадой для него были приглашения Непота: историк не забывал старой дружбы. Катулл познакомился у него с юношей лет семнадцати, приехавшим в Рим со старшими родственниками из Тускул. Звали юношу Ювенцием. Во всяком случае, так Катулл впоследствии обращался к нему в стихах.

Ювенций восхищенно глядел на Катулла золотисто-ореховыми детскими глазами. Он тоже писал стихи. Когда Непот предложил ему прочитать что-нибудь из своих сочинений, он вспыхнул и покачал головой. Детские глаза молили о пощаде. Мальчик не лишен самолюбия стихотворца, решили друзья.

У Ювенция тонкое, печальное лицо, нежное, как у смуглой нимфы. Густо-тяжелые, чернильно-черные ресницы придают его взгляду оленью пугливость. Они опускаются тихо, как крылья бабочки: ресницы-опахала, траурные завесы. Юноша из Тускул не походил на хвастливых, горластых сверстников, накинувших недавно тоги взрослых. Он выглядит болезненным, задумчивым, кости его и мышцы не обрели еще крепости. Катулла последнее время раздражало в людях проявление шумной жизнерадостности и здоровья. Ювенцию он улыбался и шутил с ним осторожно.

Ювенций являлся к Непоту с цветами — это тоже делало его похожим на девушку. Он спрашивал шепотом, будет ли сегодня Катулл, вздыхал и садился на край скамьи. При виде любимого поэта глаза Ювенция сияли смущенно и радостно. Он потихоньку, с благодарностью кивал хозяину. Их разговоры слушал, благоговей, в почтительном молчании.

Когда Непот спросил его мнения о чем-то спорном в поэзии поздних греков, он ответил нерешительно, но ответ его показал, что юноша образован в достаточной мере. Ему не хватало уверенности. А стихи Катулла он знал наизусть почти что все.

Нередко Ювенций сопровождал Катулла в прогулках по городу. Непот говорил им: «Гуляйте уж одни, а я займусь...» Катулл приходил в хорошее настроение, болтая с юным тускульцем.

Во время такой прогулки у Сублицийского моста к Катулла подскочили неожиданно Аврелий и Фурий — паршивцы, сплетники, — будто ждали его где-то тут, за углом. Катулл сделал недовольное лицо и неприветливо спросил, что им нужно. Фурий и Аврелий, схватив веронца за руки, уверяли, будто скучают без него, и наконец выпалили, что у них есть к нему важное дело — о! безотлагательно важное, касающееся его прежней жизни. Ювенций опустил печальные глаза и скромно отошел в сторонку.

— Кто этот завитой барашком тихоня? — спросил Фурий Бибакул. — Твой очередной поклонник?

— Один начинающий поэт... — Катулл буркнул хмуро: лишь бы отделаться.

— Он больше смахивает на начинающего... — Аврелий, ослабившись, сказал гадость.

Катулл побледнел от злости.

— Придержи язык, обезьяна, — сказал он Аврелию, — иначе я заставлю тебя пожалеть о подобном остроумии, грязный клеветник...

— Ну, не сердись, Гай. Ведь Аврелий просто шутит, — вмешался Фурий. — Отправь куда-нибудь своего красавчика. Нам нужно с тобой поговорить. Разыскать тебя нас просила Клодия Пульхр, — произнес Фурий со значительным видом.

Катулл остановился, с тревогой глядя на Фурия. Что затеял этот проходимец?

— Мы ищем тебя всю неделю, — продолжал Фурий, — и готовы были отправиться за тобой хоть в Египет...

— К парфянам... В Индию... — кривлялся Аврелий.

— В немыслимо далекие сакские пустыни... — подхватил Фурий. — Клянусь Мнемозиной!

— Хватит болтать! — Катулл оглянулся на Ювенция, терпеливо ожидающего с печальной покорностью влюбленного. Сердце Катулла сжалось: он понимал, что сплетня о нем и милом застенчивом тускульце скоро пойдет гулять по Риму.

— Ты не рад тому, что тебя ищет Клодия? — удивился Фурий. — Странно... Она тебя не забыла и надеется увидеть в своем конклаве. Одним словом, Клодия решила пригласить тебя. Если ты надумаешь принять ее приглашение, я к твоим услугам. Советую отбросить спесь и представить красоте счет недополученных поцелуев.

III

Через несколько дней после разговора с Фурием Катулл пришел к Валерию Катону и положил перед ним эпиграмму на Бибакула. Сдержанный и печальный председатель «александрийцев» веселился как беспечный мальчишка, глядя в табличку, где небрежно нацарапанные строки пахли плевками площадных насмешек. Катон хотел упрекнуть веронца за излишнюю грубость, но, не договорив, опять рассмеялся.

Катулл показал ему еще одну табличку.

Стихотворение было написано сапфическим размером, как и первое поэтическое признание, обращенное к Лесбии пять лет назад. Тогда Катулл создал вольный перевод из Сафо. Валерий Катон подумал, что, решив применить сейчас форму того давнего перевода, поэт, как видно, хотел заключить цикл стихов о Лесбии. Он спросил Катулла, тот кивнул головой.

— У меня хватит силы и в жизни быть таким, каким я кажусь в стихах,
— сказал Катулл сердито.

Сказанное Катуллом могло показаться не слишком вразумительным для постороннего, но Катон его понял и продолжал шевелить губами, держа табличку перед собой.

Вначале шло ироническое обращение к Фурию и Аврелию, потом столь же пародийное перечисление далеких стран и народов, куда будто бы готовы следовать за Катуллом его «друзья»... потом — грубое упоминание о бывшей возлюбленной и неожиданно скорбное окончание, замирающий стон погибшего сердца:

Что ж, передайте милой
На прощанье слов от меня немного
Злых и последних.

Со своими пусть кобелями ладит!
По три сотни их обнимает сразу,
Никого душой не любя, но печень
Каждому руша.

Только о моей пусть любви забудет!
По ее вине иссушилось сердце,
Как цветок в полях проходящим плугом

Тронутый насмерть.

Подходя к своему дому, Катулл увидел прислонившегося к стене бородатого человека в войлочной шляпе. Вначале Катулл не обратил на бородача внимания, — суета скученного, отдаленного от центральных улиц квартала надоела ему смертельно. Бородач вдруг сдвинул шляпу на затылок, и Катулл с удивлением узнал Тита, старика с Бенакского озера, который так заботливо опекал его в первые годы его римской жизни.

Катулл словно встретил дорогого знакомого, товарища детских игр. Пожалуй, он не испытал бы большей радости, если бы приехал Цецилий или снова вернулся в Рим милый Вераний.

Тита он и правда знал с самого детства, а живя с ним долгое время под одной крышей, не мог не оценить его честности и здоровой крестьянской рассудительности, Тит тоже ухмылялся ему добродушно, хотя болезненный вид Гая Валерия и его бедное жилище расстроили старика. Катулл хотел сказать ему нечто шутовское по этому поводу и — раздумал. Титу не надо было ничего объяснять, он и так понимал все.

— Что и говорить, твой многоуважаемый отец суров, поблажки от него не дождешься, — кряхтя и почесываясь, пробормотал Тит. — Нам тоже разогнуться не дает, взыскивает — ни днем позже. Но этим летом урожай собрали, слава щедрому Консу, неплохой. И овощей взяли обильно — ни тля их не испортила, ни жук-грызун, ни мыши, ни едучий червяк. А сейчас уж и яблоки созревают, и виноград налился. Я вот привез три конгия светлого винца, прошлогоднего. Очень хорошо забродило: крепости и кислоты в самую меру.

— А как рыба ловилась? Угри-то попадают?

— Как же, сколько раз попадались! Один оказался такой... — Тит показал руками. — Не то, что из деревни, а и с вашей усадьбы люди приходили на него посмотреть, клянусь всеблагим Юпитером.

Юность, забавы, поцелуи загорелых девчонок, голубая вода Бенакского озера, уединенный грот под скалой, первые стихи и надежды, любимый брат, малютки сестры, добрая мать и снисходительный отец — все это воскресло на мгновение, защемило сладостной грустью сердце, отуманило глаза нежностью воспоминаний. И тотчас холодная мысль выскользнула из глубины сознания и безжалостно зачеркнула светлую картину... Невозвратно.

Катулл прямо взглянул перед собой, и закат темным багрянцем упал на его лицо. В необозримых небесных сферах лучилось и угасало, словно

покрывалось пеплом, прошлое и зыбко мерцало грядущее — в чем оно?

На Сирмионе Катулл еще полон был страсти, поэтического вдохновения и яростного стремления к жизни. Пусть он потерял брата, но не пропала надежда вернуть любовь Клодии, его ждали в Риме почитатели и друзья, обещавшие ему невиданную славу.

Сейчас известность его безрадостна и опасна, а друзей рядом все меньше. Он чувствует себя истомленным путником, чей дом затерялся, а конечная цель пути неясна и недостижима; скоро его слабеющие шаги навсегда замрут у бесплодной осыпи, и ветер занесет высохший труп... Все забудут о нем, как забыли в Галикарнасе славного Гераклида... И только бездонное небо, только оно будет вечно сиять над его безвестной могилой.

Катулл прогнал наваждение смертной тоски и спросил Тита:

— Как ты нашел меня? Кто послал тебя в Рим?

— Сюда меня привел раб доброго господина Непота. Я как расплатился с возчиками, так сразу и пошел к нему. Из всех твоих друзей, Гай Валерий, скажу-ка я правду, он самый что ни на есть почтенный человек. Разве сравнить с ним молодого Цинну, что всегда заявлялся с утра в нетрезвом виде? Вот я и говорю: Непот наш земляк из Вероны, он и велел показать, где ты живешь...

Катулл прервал старика:

— В Риме-то как оказался?

— Началось все с того, что приехала в деревню твоя сестра Валерия Минор, позвала меня и говорит: «Ты жил вместе с Гаем в Риме, и он тобой был доволен. А теперь он там один, без преданного человека. Отец отказал ему в своей милости, и некому о нем позаботиться. Урожай ты собрал, аренду выплатил, дом у тебя в достатке. Поезжай-ка, Тит, в Рим, — говорит, — денег я дам. Эти вот тебе, а этот кошелек передай брату».

Тит полез в свою выгоревшую котомку, достал кусок сыру, пригоршню мелкой вяленой рыбы в промасленной тряпке, кресало, нож с костяной рукоятью, еще какие-то свертки и узелки, и уж с самого дна — маленький изящный кошелек и две таблички, перевязанные лентой.

Катулл нетерпеливо схватил письмо. Первое было от младшей сестры. Отец, по-видимому, не собирался его прощать, мать тоже вынесла ему суровый приговор. Старшая сестра равнодушно молчала, и только легкомысленная Валерия Минор, та самая, что поддавалась оболъщению цезарьского жеребца Мамурры, та распутная девчонка, которую Гай два года назад готов был задушить, — именно она вспомнила о нем. Утаив от мужа тысячу сестерциев, Валерия уговорила Тита поехать в Рим. Катулл растерянно улыбался. Бедная, пылкая малышка Валерия! Теперь он понял

ее. Она задыхалась в доме своего скупого и скучного мужа, задыхалась от постоянных поучений и упреков, от сплетен, пересудов, обсуждений и наставлений. Она мечтала вырваться из плена старых обычаев и низменной корысти: вот что значил тогда ее дерзкий вызов. А он, старший брат, посмотрел на это прежде всего как блюститель родовой чести, как политик, ненавидящий противника-цезарианца.

И сейчас Валерия идет вразрез с общим мнением: только она, не боясь мужа и толпы почтенных родичей, решила помочь брату, который презрен ими и осужден.

Катулл растроганно поцеловал письмо сестры.

Вторая табличка оказалась посланием Цецилия, привезенным в Верону месяц назад. Отец не стал пересылать его в Рим, но и не уничтожил. Валерия меньшая, вероятно, после неприятного разговора с отцом и матерью, присоединила письмо Цецилия к своему.

Пока Катулл читал письма, Тит сбил с кувшина смолу, вынул пробку, сполоснул чашу и налил в нее золотистого пенного вина.

— Да пошлют тебе боги здоровья и удачи, Гай Валерий, — произнес торжественно Тит, плеснув в честь богов на пол и подавая чашу Катуллу.

— Спасибо, Тит. Поживи со мной сколько захочешь, а как вздумаешь — уедешь в деревню.

Катулл ласково кивнул старику и с отрядным чувством вдохнул аромат виноградников Сирмиона.

IV

«Гений покинул Катулла. Вы посмотрите, о чем он пишет! Где изысканность, блеск, ученость его прежних стихов? Где его несравненная поэтическая сила? Осталось только пошлое шутовство и грубая рыночная брань», — это говорили друзья.

Катулл не знал теперь, кого называть другом. Пожалуй, всех людей, с которыми ему приходилось общаться, он в душе считал своими врагами. И нельзя сказать, чтобы он был не прав. Врагов у него действительно становилось все больше. Его ненавидели те, кого он ославил в своих эпиграммах, и те, кого он еще не задевал, но, как они не без основания полагали, в любое время мог всенародно опозорить.

А те немногие, которых он продолжал любить преданно и нежно, погибали на его глазах, оставаясь пока живыми телесно, теряли свою душевную сущность, нравственно превращались в беспомощных уродцев.

Валерий Катон встречал его, стоя у своих книг, с распростертыми в стороны руками и поникшей выбритой головой. Он походил на распятого. Он будто хотел прикрыть своим тощим телом это редкое собрание великолепных творений поэтов, философов, риториков и историков. Он видел в воображении падение республики и неминуемую кровавую диктатуру. Катулла трудно было с ним разговаривать о чем-либо: Катон твердил одно и то же, как неменяемый.

Изможденный, с горящими фанатичной мыслью, неподвижными глазами, Кальв цедил сквозь зубы непререкаемые для него постулаты стоиков. В противоположность Катону, он приходил в себя лишь при обсуждении политических новостей. Он содрогался от ненависти к Помпею и Цезарю. Катулл со слезами обнимал его, надеясь вернуть себе прежнего Кальва, но тщетно: маленький оратор не слушал его отчаянных убеждений.

Корнифиций был постоянно занят; он находил смысл и отраду в бестолковых и бессильных заговорах. Втянул он в свою тайную деятельность и Катона. Председатель «александрийцев», утратив прежнюю выдержку, метался и искал поддержки у людей, которые когда-то не могли бы заслужить его уважение. Впрочем, Катон, поощряемый Корнифицием, последнее время не останавливался перед соображениями осторожности и безрассудно издал свой знаменитый антицезарианский сборник, набив его политическими инвективами. Там же он поместил и прогремевшие

эпиграммы Катутла.

А Цинна, окончив «Смирну», поначалу чувствовал себя победителем. Его расхваливали друзья-неотерики, но ругали поэты всех других направлений. Постепенно голоса друзей умолкли, и громкий хор хулителей «Смирны» стал действовать угнетающе даже на его жизнерадостную и самоуверенную натуру. Цинна затосковал. Он неожиданно убедил себя в том, что впустую трудился девять лет, тщательно отделявая каждую строчку своей поэмы. Белокурый крепыш из Бриксии не выдержал испытания. Злобная молва погубила его. Он привычно обратился к вину, заливая разъедающую душу жажду поэтической славы.

Оставался Корнелий Непот.

Он продолжал трудиться над трехтомным историческим повествованием. В характере историка сохранились неизменная доброжелательность и спокойствие уверенного в своей силе творца. Непот, пожалуй, был единственным человеком, которого Катутл мог бы послушаться, не считая старика Тита.

В этом году зима пришла холодная и ветреная. Над Римом скапливались мрачные тучи. Взъерошиваясь на ветру, как изодранные лохмотья, они разбрасывали ледяные струи дождя.

Катутл кутался в мокрую пенулу. Он бродил по грязным, извилистым, опасным улицам, и почти каждый дом, в который он заходил, покидал через короткое время в раздражении и досаде. Что-то невозможное, безотрадное разверзлось между ним и его прежними поклонниками. Он не встречал былой приветливости и восхищения. Это сразу настраивало его на язвительный, вздорный, враждебный тон. Разговор становился напряженным. Катутл поворачивал к недоумевающему обществу пепельно-бледное, нахмуренное лицо и хрипло ронял короткие, неприязненные фразы. Часто уходил неожиданно, не прощаясь и не объясняя причины своей обиды.

— Катутл сошел с ума, — говорили о нем.

— Он небрит, нечесан и неопрятен. Простительно ли такое падение известному, наконец, просто приличному человеку, — сердились римлянки.

— Катутла видели пьяного в плебейских термах на Квиринале, — вполголоса передавали друг другу его знакомые, — он развалился на скамье в непристойно задранной тунике, а простонародье, проходя мимо, показывало на него пальцами... Какой позор!

На самом деле Катутл совсем не так опустился, как о нем злорадно распространяли. Правдой оставалось одно: он был болен и беден. У него не хватало денег и сил, чтобы иметь прежний щеголеватый вид. И, пожалуй,

иногда его действительно утешало вино.

Катулл страдал физически и душевно. Его преследовали голоса. Случалось, посреди шумной улицы он слышал вкрадчивый шепот:

«Ну, что, бедняга, разве ты не хочешь увидеть Клодию?»

Он резко оборачивался и с подозрительной пристальностью разглядывал прохожих, — они спешили мимо по своим делам. Никто из них не походил на тайного искусителя.

«Ты ведь по-прежнему любишь ее до безумия, ты готов ползти к ней на коленях по Священной дороге, через весь город и слизывать следы, оставленные ее башмачками, — раздавалось с другой стороны. — Не притворяйся, что ты сумел победить страсть к Клодии».

Скрипя зубами, Катулл старался ускорить шаг, чтобы избавиться от назойливых голосов. Ему казалось, что улица, как в бреду, раздвигается до невероятных размеров, а люди, исчезая с его пути, толкуются где-то неясными, безмолвными тенями, и он остается в огромном городе совершенно один.

«Не убежишь, — издевались голоса, — не убежишь от своей глупой и низменной страсти... и от возмездия. Да, да, ты должен понести страшное наказание... Ты порочил перед всем народом почтенных граждан, великих полководцев и государственных мужей... Ты преступник, заливший Рим ядовитыми потоками гнусных эпиграмм... Ты болтал, что хочешь видеть республику свободной, а сам мерзкими пасквилями и похабным сюсюканьем разрушал ту моральную опору, на которой держались традиции героизма, коллективной веры, самопожертвования ради счастья отчизны...»

— Это ложь! Я осуждал только пороки, только недостойные честных граждан поступки! — хрипел Катулл в ответ на обвинение таинственных голосов и бросался в толпу, выходящую из храма. Он надеялся найти облегчение среди людей, но толпа безразлично обтекала его, как вода обтекает недвижимый камень. Дрожа, он прижался лицом к холодной колонне портика. Он ощущал темный, подавляющий разум ужас, который человек может испытать непроглядной ночью в безлюдной пустыне, населенной чудовищами и злобными духами.

«Кто дал тебе право выставлять наши имена на осмеяние потомкам? — продолжали злобно спрашивать неизвестные, не имеющие телесного обличья враги. — Вот мы все собираемся вокруг тебя... Развратники, мздоимцы, моты, завистливые бездарности, клеветники, провокаторы, надменные властолюбцы, лицемеры, перебежчики, сводники, шлюхи, кровосмесители, воры, болтуны, предатели, чванливые дураки... Мы все

тебя ненавижим! Откуда ты взялся? Как ты посмел копаться в нашей жизни и заключать нас в клетки стихов, из которых мы теперь не вырвемся никогда! Но вот мы с тобой, слышишь нас? И наше мщение настигнет тебя, несчастный...»

Зажав уши, задыхаясь, Катулл бежал прочь, не разбирая дороги.

«Стой! — приказано ему сурово и властно. — Вернись! Иди обратно... Дальше, дальше... по Священной дороге... к Палатину... Не останавливайся, не отдыхай... Неистовая страсть должна найти благоприятный исход во взаимной любви или погаснуть... Если же она пылает с первоначальной силой да еще растревается ревностью и безнадежной тоской отвергнутого, то приведет тебя к скорой гибели...»

— Я согласен умереть, только замолчи! — Катулл внезапно остановился: перед ним был особняк Клодии Пульхр. Катулл неподвижно уставился на него остекленевшим взглядом.

Голос удалялся постепенно, издевательски повторяя:

«Odi et amo... ненавижу и люблю... amo, amo, люблю...»

Катулл медленно шел домой. Мрачные мысли одолевали его дорогой, но хорошо хоть не возвращались страшные голоса. Он брел, опустив голову, не глядя по сторонам и не замечая, что какой-то верзила в войлочном плаще с капюшоном неотступно следует за ним.

Пройдя за Катуллом некоторое время, человек в войлочном плаще подошел к другому, среднего роста, с квадратным подбородком и маленькими цепкими глазами. Они перекинулись неслышными словами и зашагали в одном направлении — за Катуллом, но не рядом, а в десяти шагах друг от друга.

Катулл не спешил. Он заглянул в таверну, съел кусок мяса с горохом и выпил стакан гретого вина. Потом двое ждали его у нужника, потом около книжной лавки. Если бы Катулл заметил преследователей, его мысли стали бы еще тревожнее, потому что последнее время с подозрительной настойчивостью с ним случались опасные происшествия.

Первое — около месяца назад. Катулл был у Непота. Выйдя из его дома, он стал подниматься по крутому, узкому переулку и уже хотел повернуть за угол, как стоявшая у лавки виноторговца двухколесная повозка, нагруженная тяжелыми амфорами, вдруг сорвалась с места и, грохоча, ринулась вниз прямо на него. Катулл остолбенел от неожиданности и растерянно прижался к стене.

Еще мгновение, и его бы расплющило, как лягушку под каблуком, если бы раб лет десяти, случайно перебежавший дорогу, не попал под колеса...

Повозка резко стала и повалилась вперед, придавив мальчика. Амфоры рухнули и раскололись, вино красным потоком залило мостовую и неподвижное, маленькое тело. Сбегались люди. Из таверны, браня возчиков, ковылял толстый виноторговец. Возчики горестно восклицали и оправдывались. Один из них царапнул сощуренным глазом по бледному лицу Катулла.

Послали за хозяином мальчика. Тот прибежал и накинулся на возчиков и виноторговца, требуя возмещения за искалеченного... нет, за убитого раба. Крики, оскорбления, проклятия, размахивающие руки, растопыренные пальцы, вытаращенные глаза, брызжущие слюной рты... над тем, кто еще судорожно всхлипывал на мостовой.

Мальчика вытащили из-под повозки, он слабо пошевелился и ахнул в последний раз. У него была раздавлена грудь и переломана правая рука, повисшая, когда его поднимали, неестественно и страшно. Окружающие вздохнули. Катулл со скорбью в душе смотрел на искаженное, измазанное смесью вина и грязи детское лицо с потускневшими глазами и окровавленным ртом. Он не думал о том, что участь раба должна была постигнуть его, и судьба пощадила его вследствие необъяснимого и случайного каприза.

Узнав об этом, Непот покачал головой. Не в пример Катуллу, он не забывал, что в Риме всякая случайность может иметь вполне определенную причину. Сам Катулл не сделал никаких выводов для себя, но с тех пор ему стало казаться... Да, ему стало казаться, что за ним следят. Он привык к интересу в глазах римлян, нередко узнававших поэта, но вкось бросаемые в его сторону неприязненные взгляды вызывали у него ощущение тревоги и озлобления.

Второе опасное происшествие случилось совсем недавно. Поздним вечером из верхнего окна многоярусного «острова» свалился горшок-ступа и грохнулся прямо у его ног. Не пытаясь ничего выяснить, Катулл пустился бежать и не останавливался до самого своего порога. В плебейских кварталах на пешеходов льются помои, падает черепица, а иногда и глиняные тарелки, поломанные стулья... но такой тяжелый, вытесанный из камня горшок для дробления бобов и гороха, поднять-то который не каждому под силу, мог навести на какие угодно подозрения.

Катулл думал теперь, что неспроста крикливые разносчики, гадалышки и еще какие-то наглые проходимцы несколько раз явно старались втянуть его в уличную ссору. Он слышал порой обращенные к нему с той же целью грубые замечания и от элегантно одетых людей — возможно, клиентов знатного нобилия. Поверить, что все это лишь странные

совпадения? Допустим. Однако и в этом случае они не предвещали ничего хорошего. И Катулл, обычно неосмотрительный и рассеянный, стал осторожнее. Он не хотел погибнуть под колесами тяжелой повозки, захлебнуться в смрадной жиже выгребной ямы или истечь кровью от удара ножом.

Но в этот промозглый, сумрачный день Катулл, погруженный в свои невеселые мысли, не замечал никого вокруг себя, хотя бродил по самым оживленным местам Рима. Возможно, ему встречались знакомые, но они не подходили к нему, а он их не видел. И по мере того, как день сменялся ранними сумерками, его прерывистый путь, сделав огромный круг, снова повернул к дому Клодии. То ли на него так неотразимо подействовали слуховые галлюцинации, то ли, прежде чем возвратиться в свое жилище, он захотел увидеть еще раз роскошный особняк своей бывшей любовницы, у стен которого он и раньше втайне проводил ночи. Мог ли он сам объяснить себе это непреодолимое влечение, это маниакальное желание напрасных мучений?

Стемнело, прохожие почти не встречались на улицах. Катулл был уже недалеко от дома Клодии. Он, наверное, не слышал шагов за собой, но его заставило оглянуться животное ощущение опасности.

Приближались двое: рослый, в плаще с капюшоном, и другой, пониже ростом, широкоплечий и коренастый.

Все, что с ним случилось за прошедший месяц, вспомнилось и пронеслось в сознании. Пробежало по позвоночнику и сотрясло тело острое леденящее прикосновение смертельного страха.

Он пошел быстрее, но двое выростали из вечернего сумрака четкими тенями и двигались за ним настойчиво и безмолвно. Он остановился у двери какого-то дома и стал стучать железным кольцом. Ему не отпирали. Он подождал немного и зашагал дальше.

Почему нет ни одного человека — хотя бы запоздавшего клиента или спешащего с поручением раба? Почему ни разу не встретила лектика богача в сопровождении свиты? Палатин словно вымер: гулкая пустота и тишина. И тьма надвигающейся ночи.

А те двое приближались. Они уже не скрывали своего намерения. Приземистый красноречивым движением сунул руку за пазуху. Катулл хотел крикнуть, позвать кого-нибудь, но голос сорвался... Он прошептал что-то невнятно и побежал. Двое бросились за ним. Он знал: сейчас все кончится.

Вдруг его осенило: он умрет у ее порога! Завтра здесь найдут его труп... Что ж, пусть так и будет, решил он устало.

Но, когда двое убийц оказались совсем близко, Катулла охватила ярость. В нем проснулся боевой дух его предков — отважных галлов и суровых римских завоевателей. Нет, он не ягненок, чтобы безропотно подставить шею. Будь они прокляты! И те, кто их послал!

Катулл выругался и нащупал рукоять кинжала, который он постоянно носил с собой. Задыхаясь, он спросил:

— Что вы хотите?

Вопрос был бессмыслен, Катулл знал, что им не нужен его тощий кошелек.

— Не уйдешь, пес, — глухо проговорил рослый убийца.

Неожиданно послышались голоса, шум торопливых шагов, и посреди улицы показалась толпа человек в пятьдесят. При свете факелов мелькали короткие красные плащи, грубые пелюны, блестело оружие. Катулл метнулся к этим людям с внезапной надеждой.

— Помогите... — обратился он к тем, кто оказался ближе. — За мной гонятся... — Он оглянулся на своих преследователей.

Толпа замедлила шаги. Шедший впереди, красивый светловолосый человек сказал повелительно:

— Секст, узнай в чем дело.

Другой человек, очень похожий на того, который его послал, подступил к преследователям Катулла:

— Говорите!

Рослый убийца, несколько поколебавшись, насупился и решительно произнес:

— Помпей желает, чтобы его враг был уничтожен. Нам приказано. Никому не следует мешать желанию проконсула.

Он, видимо, ждал беспрекословного повиновения и повторил с уверенностью:

— Приказано самим Помпеем.

— Чем ты не угодил Помпею? — спросил тот, кого называли Секстом.

— Этого я не знаю.

— Кто ты? Откуда?

Что-то удержало Катулла назвать полностью свое имя. Напрягаясь внутренне от сознания все еще угрожавший ему опасности, он сказал неопределенно:

— Гражданин из рода Валериев... Веронский муниципал...

— Он из Цизальпинской Галлии, провинции Цезаря, — уточнил тот, кого называли Секстом.

Стоя поодаль, светловолосый приказал:

— Отпусти его. А эти помпеянцы свое прожили^[191]. Отправь их к Харону и не задерживайся.

Он стремительно пошел дальше, не обращая внимания на угрозы и возмущенные крики обреченных. За ним двинулся весь отряд. Несколько юношей в красных плащах обступили преследователей Катулла.

Звякнули мечи... Хриплый стон, падение тяжелого тела... Быстрая невидимая возня, мольба о пощаде, еще стон, падение... Исполнившие приказание поспешили догнать своих.

— Сделано, Клодий!

Мрак прильнул к мостовой. Ночное небо плакало холодными мелкими слезами. Катулла бил озноб — клацали зубы. Его спас Клодий Пульхр. Если бы Клодий знал, что перед ним дерзкий поэт, поносивший его в своих эпиграммах, вряд ли он оставил бы ему жизнь. Ненависть к Помпею лишила его обычной проницательности: посланные за головой Катулла сами оказались жертвами междоусобицы. Катулл из провинции, которой официально управляет Цезарь, и Клодий подумал... Впрочем, не все ли теперь равно, о чем думал Клодий?

Катулл вспомнил гадание Агамеды. Видения, вызванные колдовством старухи, не были, значит, только ловким надувательством влюбленного простака, некоторые из них оказались пророческими. Катулл будто снова увидел освещенное факелами, нахмуренное лицо красивого светловолосого человека, — оно возникло перед ним в ту давнюю ночь, в убогом домике близ Эсквилинского кладбища... и только что, здесь, он его узнал.

Так вот к кому обращено сердце Клодии! Вот кого она любит бескорыстно, самоотверженно, с постоянством и нежностью! Своего родного брата Публия!

Они достойны друг друга. Оба святотатцы и разрушители: он — сеятель смуты, бешеный вожак алчной черни, центр смертоносной бури; она — осквернительница семейных уз, верности, чистых и возвышенных чувств, надменная, торжествующая хищница.

Послышалось невнятное бормотание... Катулл приблизился к тем, кто хотел его прирезать. Он наклонился, сияясь разглядеть в темноте их лица. Нет, ему показалось: оба убиты, и его помощь не требуется.

Но что это? Он отшатнулся... Один из поверженных врагов тянулся к нему зажатым в кулаке коротким ножом. Боги, сколько злобы в человеческой душе! Умирая, теряя последние силы, эти наемники не различали уже — кого в эти мгновения настигнет их запоздалая месть.

Плохо стало Катуллу, Корнифиций,
 Плохо, небом клянусь, и тяжело стало.
 Что ни день, что ни час — то хуже, хуже...
 Но утешил ли ты его хоть словом?
 А ведь это легко, пустое дело!
 Я сержусь на тебя... Ну, где же дружба?
 Но я все-таки жду хоть два словечка,
 Пусть и грустных, как слезы Симонида^[192].

Катулл отослал Корнифицию эти стихи, но ответа не дождался: тот был слишком занят и не удосужился ободрить друга. Правда, Корнифиций перебивался теперь случайными адвокатскими заработками и сам надеялся на милость влиятельных покровителей.

Тит вслух осуждал равнодушие друзей. Он тревожился, глядя на своего Гая Валерия, и неспроста: молодой хозяин заболел серьезно. Тит советовался с лекарями и давал Катуллу пить отвары целебных трав. Катулл покорно пил снадобья старика, но облегчения не чувствовал.

В квартире стоял нестерпимый холод. Зима выдалась на редкость ненастная и сырая. На стенах темнели грязные потеки, в оконце рвался ночью ледяной ветер, — Тит заткнул его старым тряпьем.

Катулл лежал в полутьме и неподвижно глядел на кучку красных углей в жаровне. Рядом хлопотал Тит: мешал в котелке, подвешенном над жаровней, штопал заношенные туники, подогревал ячневые лепешки для Катулла. Кряхтел, ворчал, ходил туда-сюда и, конечно, был убежден, что это делает вполне сносным их скудное существование. Катулл временами говорил ворчуну что-нибудь шутливое. Он чувствовал к нему искреннюю привязанность. Только этот грубоватый старик скрашивал его жизнь, опекал его и пытался излечить.

Но и Тит становился все мрачнее. Деньги у них кончались, а помощи ждать было неоткуда. Катулл старался не думать об этом, хотя иной раз тяжело вздыхал, припоминая, что должен разным лицам более пяти тысяч сестерциев.

Тянулись унылые дни. Иногда при красном свете жаровни Катулл наносил вялой рукой несколько строк на табличку и снова впадал в

оцепенение. Когда Тит уходил из дома, его начинали донимать призраки.

Вползала через порог и подкрадывалась к его ложу взлохмаченная, костлявая колдунья Агамеда с хитрой, всезнающей ухмылкой, поникнув головой, белел в дальнем углу прозрачный и грустный силуэт умершего брата, или здравствующие благополучно друзья-неотерики рассаживались перед ним полукругом и язвительно смеялись, указывая пальцами на него, замерзшего, исхудавшего, еле живого. Но страшнее всех видений было явление безобразного чудовища, косматого, клыкастого, хвостатого, постоянно меняющего обличье, извивающего чешуйчатые мерзкие щупальца и отвратительно смердящего. Катулл боялся этого видения до судорог — оно особенно ужасало его своим ускользящим, бесформенным, химероподобным видом.

Катулл укрывался с головой, скрежетал зубами и жалко дрожал, преодолевая тошноту и бормоча проклятия. Видения и голоса исчезали. Он высовывал голову из-под одеяла и глядел неподвижно вытаращенными глазами. Постепенно он приходил в себя, глубоко вздыхал и, чтобы окончательно успокоиться, начинал громко читать стихи Сафо, Мимнерма, Каллимаха... случалось, что и свои собственные. Но спокойствие не приходило. Он читал стихи и тихо плакал, потому что поэзия была его жизнью — если не всей жизнью, то самой прекрасной и достойной ее частью, и он думал теперь, что это единственное, о чем он пожалеет, покидая навсегда мир страданий и тоски.

Такое существование не могло длиться долго. Несмотря на хлопоты верного Тита, Катулл угасал. И тут произошла внезапная перемена в его горькой жизни.

Ранним утром без стука распахнулась дверь, вошел Корнелий Непот в сопровождении Тита и двух рабов. Он бодро приветствовал Катулла и тоном, не терпящим возражений, заявил:

— Я велел приготовить для тебя удобную комнату в своем доме... рядом с таблином. Тебе будет недалеко ходить за книгами... Тит, укладывай вещи... А вы, — обратился он к рабам, — носите их в повозку.

Катулл настолько растерялся, увидев Непота, что забыл поблагодарить и спросил обеспокоенно:

— А как же Тит?

— И для Тита найдется местечко, — засмеялся Непот.

В этой темной холодной квартире давно никто не смеялся. Катулл вздрогнул и, будто не доверяя Непоту, продолжал с глуповатым упорством убеждать:

— Ведь Тит свободный земледелец... И наш земляк... Пожалуйста,

учти это, Корнелий... И потом... Надо заплатить за квартиру... около тысячи.

— Я уже отдал деньги управляющему, все улажено. Ты вернешь их мне, когда сможешь.

Катулл переехал к Непоту и поместился в теплой, уютной комнате. Он мог пользоваться прекрасной библиотекой историка, слушать его спокойный голос, глядеть в его внимательные серо-голубые глаза. Наконец он почувствовал себя счастливым. Даже боль в его изможденном теле утихла.

Непот вызвал искусного врача, грека Нептолема, про которого говорили, что он «знает все травы целебные, сколько земля их рождает»^[193]. Грек составил рецепт и объяснил, как приготовить лекарство.

— Пусть больной пьет на ночь фасосское вино и ест венункульский изюм, — сказал он в заключение и, получив мзду, важно удалился.

Катулл принимал замысловатое лекарство и уверял Непота:

— Корнелий, дорогой, мне действительно лучше...

Однажды Непот вошел к Катуллу с озабоченным видом.

— Вот что, Гай, — произнес он, садясь напротив, — я уговорил издателя Кларана подготовить сборник твоих стихов. Тебе следует собрать для него все, наиболее достойное. Как ты себя чувствуешь? Неплохо? Хвала Аполлону! Тогда немедленно начинай. Я тебе помогу.

У Катулла дрожали губы. Он полузакрыв глаза синеватыми веками.

— Нет, нет, я не плачу, Корнелий, — торопливо прошептал Катулл, — мне просто тяжело слышать о том, что издателей надо уговаривать. Еще не так давно они умоляли меня дать хоть несколько строчек и дрались за право опубликовать их первыми. Теперь в Риме забыли Катулла, его считают конченным стихотворцем и безнадежно сумасшедшим... я знаю...

— Не унывай, — сказал Непот, садясь рядом и обнимая веронца. — Жизнь иногда делает такие повороты, которые невозможно предвидеть. Все еще повернется в благоприятную сторону. Вспомни, что говорится в легенде о великом Софокле. Будто, дожив до глубокой старости, Софокл был родными детьми обвинен в старческом безумии и вызван в суд. Вместо оправданий Софокл прочитал судьям свою замечательную трагедию «Эдип в Колоне», которую он только что сочинил. Прочитав трагедию, Софокл сказал судьям: «Если вы нашли признаки безумия в моих стихах и если они вам не нравятся, можете признать меня сумасшедшим». Пораженные искусной фабулой и чудесными стихами, судьи поднялись со своих мест и стоя рукоплескали великому поэту...

Выслушав, Катулл печально вздохнул.

— Куда мне до Софокла, — проговорил он, махнув рукой. — Но знай, что и я задумал нечто значительное. Я напишу поэму... Нет, совсем не эпиллий с основой из мифологии. Я хочу отразить в поэме нынешнюю жизнь так же правдиво, как это иногда получалось у меня в коротких стихах. Пусть соединятся и лирика, и эпиграмма, и торжественный гимн... Словом, пусть моими стихами заговорят улицы Рима, Форум, цирк, Марсово поле, базилики и частные дома.

Непот изумился. Он смотрел в бледное, болезненное, но ставшее прекрасным, озаренное вдохновением лицо Катулла.

— Ты веришь, что мне по силам осуществить такой замысел? — спросил Катулл.

— Да, — не колеблясь, ответил Непот, — я всегда верил в тебя. Но повремени с поэмой, займемся изданием того, что ты уже написал.

Непот принес из своей библиотеки все сборники, в которых могли оказаться стихи Катулла. Сам Катулл тоже усердно рылся в своих ларцах, доставая стопки табличек. Непот раскладывал их на столах, скамьях, стульях и ставил на каждой цифру, означающую предполагаемое место стихотворения в будущей книге. Набралось около двухсот вещей, самых разных по содержанию и размеру. Внимательно просмотрев их, Катулл отложил в сторону половину и стал спорить с Непотом.

Историк предлагал не включать в книгу наиболее нескромные и ругательные стихи. Но Катулл твердо стоял на своем, сказав, что, в конце концов, эротическая и сатирическая поэзия неотъемлемая часть его дарования. Непот уступил, отвергнув некоторые слабые вещи, написанные Катуллом в разное время, но в основном — до его первого приезда в Рим.

Через два дня Катулл окончательно выбрал сто двенадцать стихотворений, включая отдельные четверостишия и достаточно пространственные поэмы-эпиллии: «Косу Береники», «Аттиса», «Свадьбу Пелея и Фетиды», а также эпиграмм, сочиненный для Манлия Торквата. Непот предложил объединить их в группы: отдельно любовный цикл, отдельно эпиграммы, застольные песни, шуточные обращения к друзьям и прочие безделки, отдельно эпиллии. Но Катулл и здесь не согласился с другом. Зачем выделять стихи о Лесбии? Конечно, он не жалеет о том, что эти стихи написаны, хотя женщина, бывшая причиной его страсти и вдохновения, вряд ли их достойна. Да и к чему нужны всякие классификации? Предоставим это дотошным грамматикам. Стихи лучше всего перемешать как придется, не придерживаясь даже хронологии. Пожалуй, при распределении стихов в сборнике следует учесть только стихотворный размер.

Привыкший к порядку и основательности историк схватился за голову. Катулл хохотал, как в былые дни, глядя на его ужас, и иронически его утешал, но остался непоколебим.

Сборник составили наконец. Катулл вытащил еще одну табличку, отдал Непоту и лукаво сказал:

— Посвящение, разумеется, должно быть в самом начале.

Историк прочитал, растроганно улыбаясь:

Эту новую маленькую книгу,
Жесткой пемзою вытертую гладко,
Подарю я кому? — Тебе, Корнелий!
Ты безделки мои считал за дело
В годы те, когда первым среди римлян
Судьбы мира всего вместить решился
В три объемистых и ученых тома.
Получай же на память эту книжку,
Хороша ли, худа ль. И пусть богиня
Пережить не одно ей даст столетье.

Они посмотрели друг на друга счастливыми глазами, и Непот отнес стихи издателю. Дальше все пошло благополучно. Изрядно поторговавшись, Кларан выложил денежки для Катулла и приказал рабам-переписчикам срочно размножить сборник.

Катулл попросил Непота уплатить его долги. С души будто свалился камень: преследования заимодавцев не угрожали ему больше. Непот довольно расхаживал по комнатам, ожидая появления в лавках книгопродавцев посланного в плаванье поэтического корабля. Он был благодарен Катуллу за упоминание в посвящении о его «Всемирной истории». Прерывая иногда эту работу, Непот составлял жизнеописания полководцев и государственных деятелей, но три тома «Всемирной истории» он считал делом всей своей жизни.

Погода изменилась к лучшему: дождь прекратился, сквозь скопище серых облаков проглянуло солнце и пригрело иззябший Рим. Но Катулл неожиданно почувствовал себя скверно. Непот поспешил вызвать врача Нептолема. Грек явился, такой же разодетый и самоуверенный, как и в прошлый раз. Осмотрев больного, он почесал лоб, отменил вино с изюмом и назначил ячменную кашу на воде, медовый отвар и свежие оливки натошак. Потом он сказал, что нужно оставить старое лекарство и

приготовить новое. Слушая грека, Непот кивал головой, а Катулл посматривал с усталой насмешкой. Ему опять пришлось лежать в постели.

Тем временем над дверями лавок вывесили доски с его именем, написанным большими буквами. Римляне толпами устремились к книготорговцам.

И вот, заглушая дебаты в сенате, склоки в судах и шум уличных беспорядков, Рим наполнился гулом взволнованных голосов.

Издатель Кларан, взлохмаченный, небритый, с распухшими от бессонницы глазами, лихорадочно считал прибыль, ругался с книгопродавцами, понукал падавших от усталости рабов-переписчиков и благословлял тот день, когда он нехотя согласился принять книжонку бесстыжего вертопраха Катулла. Такого успеха не имели в Риме еще ничьи стихи. Катулла называли великим поэтом. Почитатели разыскивали веронца, чтобы выразить ему свой восторг. Знатоки восхищались, видя рядом поразительного «Аттиса» и отточенную до недостижимого совершенства «Свадьбу Пелея и Фетиды». Молодежь со страстным вниманием перечитывала несравненные послания к Лесбии.

VI

Обычно Непот ограждал Катулла от назойливых, бесцеремонно-любопытных поклонников. Но сегодня он привел к нему лоснящегося, будто свежеиспеченный хлебец, низенького грека. Его звали Павсаний, он приехал из Неаполя и был известен как удачливый портретист. Руки, лицо, волосы и одежда Павсания казались смазанными оливковым маслом, и весь он пропах какими-то терпкими составами. Черные блестящие глаза грека взглядывали по сторонам быстро и пронизательно. Он потер короткие, пушистые от густой поросли руки, откашлялся и сказал:

— Здесь маловато свету, почтенный Непот... Лучше устроиться в перистиле...

— Гай, я заказал твой портрет у этого искусного мастера. Посиди перед ним немного...

Катулл покорно спросил:

— Нужна тога?

— Совсем не обязательно, — вмешался художник, — тогу я нарисую без видимой натуры. Мне важно перенести на портрет черты лица и отразить мысль, светящуюся во взгляде... Я счастлив, Гай Валерий, что мне выпала честь запечатлеть твой облик на прочной доске, не боящейся ни солнца, ни холода, ни воды и противостоящей безжалостному времени. Я владею изысканным способом александрийской живописи, объединяя ее с добротной школой старых афинян и родосцев. Клянусь Аполлоном и девятью сестрами, твой портрет окажется наилучшим из всех созданных этой зимой в Риме.

Они пошли в перистиль. Катулл все же укутался тогой, взял в руки свиток со стихами и с печальной улыбкой посмотрел на Непота.

Приготовив загрунтованную доску шириной в два и длиной в четыре римских фута, художник кусочком угля нанес на нее контуры будущего портрета.

Катулл сидел молча, у него слегка кружилась голова и покалывало в боку. Когда Павсаний закончил рисовать углем, он подошел и взглянул на легкие линии, сходящиеся и расходящиеся по желтоватому фону. Пожалуй, эти линии изображали человеческую голову, но вряд ли было понятно, что это именно его голова.

— Продолжим завтра, если ты не возражаешь, — сказал Павсаний.

Катулл кивнул, хотя не видел никакого смысла в сидении перед

маленьким неаполитанцем. Павсаний казался довольным началом своей работы, даже в его поклоне ощущалась уверенность. Катулл отметил это про себя и с иронией вспомнил свои стихи о самодовольных бездарностях. Впрочем, Павсаний, похоже, действительно хорошо знал свое дело, не то что надутый врач Нептолем, скрывающий важностью и запутанным словоизлиянием свою беспомощность и равнодушие к участи больного.

Отказавшись от обеда, Катулл лег и стал просматривать черновики первой части новой поэмы. Непот рассказал ему о том впечатлении, которое произвел в Риме его сборник. Многие клянутся во весь голос, что никогда не держали в руках книги с такими прекрасными стихами, не уступающими лучшим лирическим произведениям греков. Но те, что выведены в эпиграммах, скрежещут зубами. Проклятия и угрозы слышали от распутного магната Пизона и от эпикурейца Меммия, от Публиколы, Фурия, Руфа и прочих недругов. Снова сердится Цицерон и досадует щепетильный Гортензий, бесятся цезарианцы, брюзжат старые соперники и множество тех литературных скопцов, чьих имен Катулл и не слышал.

— Не надо было помещать в книгу эпиграммы, — вздыхая, говорил Непот. — Ты в свое время их уже издавал. К чему ворошить змеиное гнездо? Эпиграммы принесли тебе достаточно неприятностей и, боюсь, сейчас могут отразиться на отношении к тебе влиятельных граждан, которые вновь сочли себя оскорбленными.

— Ты говоришь, как твой друг Атик, — улыбнулся Катулл. — Хочешь, чтобы и я жил с такой же трусливой осмотрительностью в душе? Но мне ведь нечего бояться за свое богатство и благоденствие. Их у меня нет. Не дрожу я и за свою жизнь, подобно этим прославленным господам... Я останусь до последнего дня таким, каким создан судьбой и волей богов...

Непот огорченно замахал на него руками и вышел. Катулл глядел ему вслед, еще раздувая ноздри. Потом слабо улыбнулся, покачал головой и, развернув один из принесенных Непотом свитков, принялся выписывать что-то на вощеную табличку. Однако он не смог долго работать: боль в правом боку, слабость и апатия заставили его отложить стиль и лежать неподвижно.

Сумерки вползли в комнату. Стараясь не обращать внимания на дурное самочувствие, Катулл раздумывал о странностях жизни, об удивительных законах и соотношениях в поэзии. Полгода назад он написал стихи, обращенные к Альфену Вару, где говорилось о некоем Суффене, богатом римлянине из всаднического рода, всегда выглядевшем самовлюбленным баловнем судьбы. Суффен образован, красноречив, находчив в спорах и основателен в суждениях, но стоит ему самому взяться за сочинение

стихов, как он напрочь теряет вкус и сообразительность.

Суффен кропал стихи сотнями прямо на дорогостоящем папирусе, не тратя времени на переписку черновиков. Он упивался своими неуклюжими и наивными виршами. Читая их, он представлялся себе даровитым поэтом, а в глазах посторонних выглядел заносчивым индюком. Слушатели его стихов прятались друг за друга, беззвучно хохоча, перешептываясь и перемигиваясь. Суффен ничего не замечал: он наслаждался, он был преисполнен счастья и вдохновения.

Катулл писал о нем:

Никак не верится! Такой хитрец, умник,
Умней всех умников, из хитрецов — хитрый,
Становится последним дураком сразу,
Чуть за стихи возьмется...

Нашлись сплетники, утверждавшие, что Катулл, говоря о Суффене, намекал будто бы на Альфена Вара, — и тот не преминул принять издевку над Суффеном на свой счет. Когда же об этом спросили Катулла, он грустно посмотрел на любопытные рожи «доброжелателей» и, словно оправдываясь, сказал:

— Каждый из нас в чем-то напоминает Суффена... При чем тут именно Вар?.. Таковы все мы...

Немного от Суффена ты найдешь в каждом.
Смешны мы все, у каждого своя слабость.

Катулл искренне печалился обидам и непониманию. Стоит осмеять щеголя, сочиняющего бездарные стихи, как принимают оскорбленный вид чуть ли не все римляне, что-нибудь и когда-нибудь сочинявшие. Но особенно странно для него, если среди таких индюков встречаются и признанные поэты. Разве они так не уверены в себе? Или для них мнение постороннего важнее собственной взыскательности? Впрочем, чему он удивляется? Ведь и он, случалось, обижался на лукавые намеки больше, чем на откровенную брань. Наверное, и в нем самом немало от счастливой бездарности Суффена.

Сумерки сменились глухой тьмой. Катулл отгонял досадные мысли, но одна мысль возвращалась настойчиво. Что подумала, прочитав его новой

сборник, Клодия? Смеялась ли она вместе со своими любовниками над элегиями злосчастливого веронца или, как и многие, тоже сочла себя оскорбленной?

Он лежит в темноте, сгибая и разгибая пальцы костлявых рук... Никто не видит его искаженного, залитого слезами лица. И тем более никто не может заглянуть в его гибнущую душу...

Катулл забывается на короткое время. Но это не сон. Он лежит с закрытыми глазами, не ощущая утешения в забытии. Он летит в бездонный провал... и садится, отбросив покрывало.

Кругом плавали ночные видения — бесформенные, как лихорадочный бред. Нависали над ним, ползли подскакивали, будто мягкие, щекочущие мячи. Катулл в отчаянии отталкивал их, но руки, хватая лишь темный воздух, бессильно опускались. Призраки приближались к лицу, вонзались щупальцами в глаза и сосали мозг. Катулл извивался на постели, прятал лицо в подушку, глухо стонал... Наконец он не выдержал: стал душить себя за горло обеими руками.

«Хайре, милый», — донеслось еле слышно, и он с болезненным напряжением взгляделся во тьму. Кто там зовет меня смеяться, жить, радоваться? — все эти значения имеет греческое приветствие. Он спросил об этом мрак на старинном иолийском диалекте, потому что понял: здесь тень лесбосской поэтессы. Прошло столько времени с их свидания на Сирмионе, и вот он опять ее увидел.

Маленькая, черноволосая, смуглая, с печальным, нежным ртом и глазами-маслинами, в серебристом пеплосе с узорной каймой, с коралловым ожерельем на круглой шее, с золотыми браслетами и пурпурной лентой, обвивающей высокую прическу, стояла перед ним великая Сафо, возлюбленная его поэтических грез, его юности. Ее озарял переливающийся, неземной, струящийся свет.

— Я пришла к тебе веселая, в свадебном наряде... — сказала Сафо и засмеялась тоненько и чисто, майской птичьей руладой прозвенела в душе.

Катулл вспомнил обещание Сафо явиться к нему светлой и желанной невестой в его последний час.

— Значит, я умираю? — спросил Катулл.

— Мы полетим с тобой в страну забвения, — говорила Сафо. — Но забвение будет касаться только бед и печалей, зато радость, любовь и поэзия останутся с нами. Сейчас я ударю в звонкий тимпан и закружусь с тобой в веселой пляске — так на Лесбосе танцуют жених и невеста, прежде чем соединиться на благоухающем ложе... Встань и обними меня, милый... Смейся, пляши... и читай мне стихи о своей любви...

Катулл послушно встал и, протянув к ней руки, начал читать:

Ты обещала, о жизнь моя, сделать любовь бесконечной,
Нерасторжимой вовек, полной волнующих тайн...

Или, может быть, это были другие стихи:

Спросишь, Лесбия, сколько поцелуев
Милых губ твоих страсть мою насытят?

Или:

Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может
Сильной любовью, какой Лесбию я полюбил...

Струящийся, таинственный свет, озарявший Сафо, внезапно померк.

Сафо смотрела на Катулла с укоризной и печалью. Смутившись, он замолчал.

— Ты не можешь забыть о ней, о своей коварной римлянке... — прошептала Сафо, и слезы полились из ее глаз. — Напрасно я явилась, мечтая о твоих объятиях... Ты вспоминаешь о мягких подушках и поцелуях другой... Это невыносимо... Ревность и тоска переполняют мне душу, как в день моей самовольной кончины... Прощай, ты не готов к вечному единению со мной...

Сафо исчезла. Катулл хотел удержать дорогой призрак, но тщетно. Только прохладное дуновение коснулось его лица.

Сладкая грусть и непонятное облегчение сошли ему в душу. Он упал ничком и забылся умиротворенно, без сновидений. Наутро пришел Павсаний с помощником. Они разожгли небольшую переносную жаровню и принялись плавить комки разноцветного воска. Катулл сидел на скамье в голубой тоге, со свитком папируса в руках.

Павсаний наносил на доску восковые краски, пользуясь палочками и костяными лопатками. Он рисовал быстро, стараясь успеть сделать задуманную работу, прежде чем воск застынет. Ему пришлось несколько раз разогревать краски на жаровне, и Катулл отдыхал, глядя усталыми глазами и не замечая увлеченно работающего художника.

Для окончания портрета потребовалось еще одно утро. Наконец Павсаний с гордым и торжественным видом отошел в сторону и вытер мохнатые руки краем своего замасленного плаща. Помощник сбегал за Непотом. Пришли и рабы, восхищенно ахали и переговаривались за спиной хозяина.

Разглядывая портрет, историк сказал:

— Достоин удивления искусство Павсания из Неаполя. Гай, разве тебе не радостно видеть себя, изображенного с помощью красок и верного глаза художника?

Катулл поднялся и подошел к доске, укрепленной на трехногий подставке. Перед ним свежими и яркими красками блистал портрет смуглолицего молодого щеголя с начесанными на лоб густыми волосами, почти сросшимися бровями, устремленным на зрителя живым взглядом и полуоткрытым чувственным ртом. В мускулистых руках щеголь держал небольшой свиток. Складки тоги и изящный узор туники Павсаний изобразил превосходно.

Катулл недоверчиво взглянул на Непота. Неужели Корнелий верит, что это его портрет? Что общего у него, носящего на лице печать болезни, рано поседевшего, мрачного человека с жизнерадостным, лощеным юнцом? Катулл усмехнулся: где же его бледность и худоба, где его светлые галльские глаза? Павсаний сделал его лицо скорее полнощеким и в выражении глаз привычно передал решительность смелого оратора вместо рассеянной задумчивости поэта.

Правда, продолжая изучать портрет, Катулл находил и некоторую схожесть. Вот его короткий, прямой нос, вот заметные углубления, оттеняющие скулы, вот и его толстая нижняя губа, которую он, волнуясь, привык покусывать или скептически поджимать.

А подбородок, нежный, безвольный, девичий, напоминает семнадцатилетнего красавца Ювенция, но отнюдь не зрелого мужчину, терпящего невзгоды и преодолевающего страдания. Конечно, Павсаний хотел ему польстить. Греки без этого не могут. У них все скульптуры и портреты напоминают не живых людей, а богов Олимпа. Правда, время идет, и вкусы меняются, требуя правдивого изображения действительности. И все-таки в его портрете искусный Павсаний многое показал просто неверно, придерживаясь утвержденных канонов портретной живописи: изображать худобу, желтизну и светлые «варварские» глаза считалось неприличным, — на портретах все римляне выглядели полнощекими и тарачили жгучие черные глаза.

Катулл принужденно улыбнулся и похвалил портрет. Непот

расплатился с Павсанием, проводил художника до дверей, вернулся и, налюбовавшись портретом друга, приказал повесить его в табличке над книжным шкафом.

Не снимая праздничной одежды, Катулл накинул теплую пенулу с капюшоном и ушел из дома. Он отказался от сопровождения — ему хотелось погулять в одиночестве. Наступил вечер, а Катулл не возвращался.

Непот позвал старика Тита и двух рабов. Они скоро обнаружили Катулла неподалеку, в таверне, перед чашей вейентской кислятины. Глаза у него были красные, хотя нельзя сказать, чтобы он казался пьяным.

Непот подошел и сел рядом. Катулл тихо плакал, всхлипывая, как обиженный ребенок. Тит погладил своего Гая Валерия по плечу, обнял и вывел на улицу. Непот поддерживал Катулла под руку, рабы шли сзади. Вдруг Катулл рванулся в сторону и его вырвало желчью. С трудом его привели домой и уложили в постель.

На другой день Непот послал за Асклепиадом, лучшим врачом в Риме. Асклепиад приехал в собственной лектике, безукоризненно одетый, сухощавый, сосредоточенный и спокойный, пожилой грек. Год назад Катулл обращался к нему за советом, получил дорогое лекарство и предписание вести здоровый и размеренный образ жизни. На этот раз он остался равнодушным, узнав знаменитого целителя, приобретшего за свои снадобья немалое состояние и в ближайшем будущем ожидавшего звания полноправного римского гражданина.

Асклепиад долго мял длинными пальцами живот и выстукивал поясницу больного, потом посмотрел язык, вывернул веки и заглянул в слезящиеся глаза. Кроме того, он внимательно разглядывал у Катулла ногти, по-видимому, сделав для себя из этого разглядывания какое-то важное заключение. Задавал грек и вопросы — так хитро составленные, чтобы, не вызывая излишних волнений у больного, знать характер его ощущений и обоснованность жалоб. Наконец Асклепиад заботливо укрыл Катулла, оживленно и даже весело поговорил с ним о поэзии, нацарапал на табличке список трав, которые следовало сварить и настоять. Выходя из комнаты, где лежал Катулл, он незаметно кивнул Непоту.

— Как его состояние, достойнейший? — встревоженно спросил Непот.

— Безнадежен, — ответил Асклепиад. — У него сильно воспален желудок. Яд переполняет его кровь, а печень не в силах ее очистить.

— Откуда же этот яд? Он попал извне или образовался внутри тела вследствие болезни пищеварительных органов?

— На этот вопрос я не могу ответить с уверенностью. Скажу только, что твоему другу осталось жить не более месяца...

— Неужели ничем нельзя помочь? — продолжал спрашивать побледневший Непот с настойчивостью, которая представляется посторонним бессмысленной, но которая всегда свойственна близким обреченного. Непот стоял перед врачом, будто хотел вынудить его дать ему хоть малейшую надежду.

Асклепиад покачал головой и произнес в раздумье:

— Я слышал, египетские и особенно индийские лекари в таких случаях разрезают ножом живот больного, отсекают пораженные болезнью органы и зашивают сухожилием животного... Впрочем, я не верю в успех таких действий. Если природа потеряла равновесие в теле человека, наступает необратимое развитие болезни, и смерть неизбежна.

Войдя к себе в таблин, Непот опустил в кресло. Он с содроганием и жалостью думал об умирающем Катулле. Он любил веронца как родного брата, всегда восхищался его поэтическим даром... и вот настало время вечной разлуки. Непот не в силах был разговаривать сейчас с Катуллом — боялся выдать свое отчаянье. Он позвал раба, помогавшего Титу ухаживать за больным, и спросил, понизив голос:

— Как себя чувствует Гай Валерий?

— Он спит, — ответил раб, но после отпускающего жеста господина не ушел, а продолжал стоять перед ним.

— Что ты еще хочешь сказать? — поднял глаза Непот.

— Посланец от Марка Туллия Цицерона просил передать тебе, чтобы ты сегодня и в последующие дни был крайне осторожен. Шайки Клодия рыщут по улицам и убивают ни в чем не повинных граждан. Отряды Сестия и Милона противодействуют им, но жертв много, и беспорядок перед выборами новых консулов будет, по-видимому, продолжаться.

VII

«Пелопид, фиванец, более известен историкам, чем обществу. Если я начну объяснять подробно, то как бы не показалось, что, рассказывая жизнь Пелопида, я предполагаю изучить историю его времени; если же я коснусь только главного, — как бы людям, незнакомым с греческой литературой, не показалось затруднительным понять: что он был за человек. А потому я обоим обстоятельствам придаю одинаковое значение и, насколько буду в состоянии, постараюсь удовлетворить потребность читателей...»^[194]

Непот продолжал работу над жизнеописаниями знаменитых греков и римлян, он хотел утешиться сладостью творчества, успокоиться мудростью древних свитков. Но напрасно он думал хоть на час забыть о несчастье, вошедшем в его дом и прикрепившем над входом темную ветвь погребального кипариса. Непот старательно вникал в запутанные сведения летописцев, диалектически находя ясный путь в сумраке противоречивых повествований, а сердце плакало и звало его в атрий, где перед алтарем дымились курильницы и горели свечи.

Там, в отглаженной тоге, опрысканный духами, умащенный и нарумяненный, лежал мертвый Катулл... Он умер внезапно, не дождавшись срока, назначенного ему многоопытным Асклепиадом, и совершив последний в своей жизни опрометчивый поступок.

Еще вчера утром Катулл проснулся в таком же состоянии, в каком он находился все последние дни. Пожаловался на боли в боку, невесело шутил, ел пищу, приготовленную по указанию врача, принимал лекарства. Потом он читал Луцилиевы «Сатуры», расхваливал их, смеялся. Непот после завтрака зашел к нему, спросил, как он спал и ел, и, несколько успокоенный, отправился к одному римскому всаднику для выяснения сложных обстоятельств, связанных с помещением денег в публиканской конторе, которая держала на откупе иберийские серебряные рудники.

После длительных споров, добившись письменного обязательства в регулярной выплате процентов по откупным паям, усталый и раздраженный, Непот к обеду возвратился домой. Войдя в комнату Катулла, он увидел, что постель больного пуста. Раб, прибежавший на его зов, сказал, что сразу после его ухода неизвестный человек принес Гаю Валерию письмо. Гай Валерий прочитал это письмо, позвал старика Тита, с его помощью тщательно побрился, оделся и ушел куда-то, запретив его сопровождать.

Не на шутку обеспокоенный, Непот потребовал к себе Тита. Бородатый транспаданец рассказал: письмо принес верзила с продувной рожей, одетый нарядно, как одеваются рабы в богатых домах; письмо написано на папирусе и перевязано красивой лентой, по аромату, исходившему от него, можно предположить, что письмо это от знатной женщины. Собираясь, Гай Валерий заметно волновался, руки у него дрожали, но такое могло быть просто от слабости. Чтобы не злить его попусту, Тит решил не возражать. Единственная подробность, указывавшая место, откуда Катулл получил таинственное письмо, заключалось в следующем. Когда Тит ворчливо спросил, где его разыскивать в случае непредвиденных обстоятельств, Катулл сначала рассмеялся, потом, призадумавшись и остановившись в дверях, ответил: «На Палатине».

Непот невольно подумал о Клодии. Но тотчас отбросил это предположение: у Катулла давно все было с нею кончено. Да и, в конце концов, письмо на папирусе, лента и запах духов — не обязательно признаки женской роскоши. Катуллу такие послания некогда посылали Аллий и Гортензий Гортал, приглашая его на званый обед. Плохо, что неизвестно содержание письма.

А если оно включает в себе ловушку, расставленную поэту мстительным магнатом?.. Таким, например, как Кальпурний Пизон, пресыщенный прожигатель миллионов, спесивый тесть Цезаря... или приятели всадника Коминия, который, по слухам, не забывал беспощадной эпиграммы Катулла и грозил с ним расправиться... или... Ведь у Катулла столько врагов! Среди них жестокий Клодий и Публикола. Но и женщина, по здравом рассуждении, тоже не исключалась. У Катулла, и кроме Клодии были поклонницы среди палатинских матрон. Неужели безнадежно больной веронец прельстился коварным приглашением красавицы? Впрочем, от Катулла и сейчас можно ждать любого сумасбродства.

Непот не находил себе места. Проклятое письмо и странное поведение Катулла будили ужасные подозрения. Время шло, и Непот не выдержал. Он составил записки к Аллию, Гортензию, Сестию и другим знакомым, живущим в аристократическом квартале. Он просил извинить его за беспокойство и спрашивал про Катулла.

Рабы понесли записки на Палатин, а сам Непот с двумя вооруженными телохранителями отправился туда же на поиски. Следом спешил расстроенный Тит. Он хмурился и стучал себя кулаком по голове, проклиная за тугоумие и беспечность. Глядя на него, Непот тревожился все сильнее: дурное предчувствие овладело им. Как назло, испортилась погода, ветер пригнал тучи, и опять хлестал ледяной дождь.

Непот возвратился через три часа, усталый и вымокший до нитки. Он обошел весь Палатин, обращаясь во многие дома, — напрасно: не встретился ни один человек, который бы сегодня видел Катулла. Что ж удивляться! — в Риме люди нередко исчезают бесследно и навсегда.

Переодевшись, Непот мрачно ходил по комнатам и ждал. Тит еще не вернулся: с безнадежным упорством он бродил по улицам, заглядывал в таверны, лавки, подворотни, тупики.

«Бессмысленное занятие, — думал Непот, — глупый старик хочет обойти огромный город и в миллионной толпе найти Гая... Если бы Гай толкался где-нибудь на площади, это было бы еще не так плохо... Оставалась бы еще надежда... Но... где он? С кем он так страстно захотел увидеться? Загадка... Проклятая, необъяснимая тайна... Боги, почему Катулл так неосторожен? Почему он безрассудно верит каждому проходивцу и считает столь непреложным предугадание рока? Недаром он презирает расчетливость мудрого Помпония Аттика, при любых смутах и репрессиях сохранившего покой семьи, состояние и достоинство. У меня Атик вызывает лишь сочувствие и уважение своей глубокомысленной сдержанностью, своей тонкой дипломатией в отношениях с раздражительными властолюбцами, своим внутренним презрением к ним. Атик не желает из тщеславия спорить с преступными политиками, рваться к сомнительной славе и выхватывать забрызганные кровью жирные куски, но он не желает оказаться и жертвой... Атик умен и предусмотрителен... Атик... О, как найти, как спасти сумасбродного, неистового, обреченного, гениального Катулла?»

Стало темнеть, ненастье не прекращалось. В доме говорили шепотом. Сложив руки на груди, нахмуренный Непот сидел перед жаровней и все еще ждал. Он прислушивался к звукам, доносившимся с улицы, — они были однообразны: плеск, хлюпанье и шуршание дождя. Тишина вкрадчиво обольщала покоем, мирно постреливали угли в жаровне... Непот задремал.

В дверь стукнули. Стук встряхнул притихший дом. Кто-то из рабов побежал открывать. Непот открыл глаза, встал, сделал несколько нерешительных шагов по направлению к прихожей... Услышав испуганный вскрик, сорвался с места... В прихожей пошатнулся, ухватился за притолоку...

Перед открытой дверью раб высоко держал зажженный светильник. На пороге, слегка согнувшись, стоял Тит. Вода лилась с него на пол. Он придерживал руками обвисшее, безвольное тело Катулла.

— Где... нашел?! — ахнул Непот, бросаясь к нему.

— Здесь, неподалеку... Дойти не хватило сил, видно... — будто извиняясь за своего Гая Валерия, ответил Тит.

— Все сюда! Скорее! — закричал Непот.

Домочадцы сбежались, захлопотали. Громко топоча и горестно восклицая, они тут же подхватили Катулла и внесли его в дом. Непот поддерживал запрокинутую голову с полузакрытыми, остановившимися глазами и мокрыми волосами, прилипшими ко лбу и щекам.

Катулла опустили на его ложе. Тит стал на колени, бережно взял свесившуюся руку Катулла и положил ее рядом с неподвижным телом.

— Готовьте горячую ванну! — приказал Непот рабам и рабыням. — Скорее раздевайте его! Хремет, беги за врачом!

— Не спеши... — сказал Тит осипшим голосом. — Гай Валерий умер... — И еще раз повторил: — Не спеши.

Непот приложил ухо к груди Катулла. Сердце не билось, легкое худое тело уже начало твердеть, и Непот внезапно ощутил мертвенный холод, исходивший от его рук и лица. Тоской, жалостью, тяжким горем сдавило горло. Он оглянулся, беспомощно посмотрел на стоявших вокруг рабов. Они опустили головы. Тогда мудрый, сдержанный Непот расцарапал себе лицо, разорвал на груди тунику и зарыдал, склонившись над телом друга.

Через час, вымытый, одетый и прибранный, Катулл покоился на самом дорогом ложе, перед алтарем. По обе стороны от него зажгли свечи и поставили курильницы с ароматным киннамоном. Тит сидел в ногах умершего на скамеечке и потихоньку, мерными движениями гладил край его голубой тоги.

Непот медленно ходил по таблину, прислушивался к приглушенным голосам и размышлял о смерти Катулла. Размышления его были неуверенны, мрачны и даже несколько ожесточенны.

Никаких ран на теле Катулла не заметили, если не считать синего пятнышка на левом виске. Трудно предположить, наступила ли смерть вследствие нападения злоумышленников или от внезапного приступа неизлечимой болезни. Пятно походило на кровоподтек, но ведь он мог получиться при падении, от удара о мостовую или об угол дома. Так это или не так — неизвестно. Свидетелей гибели Катулла нет. То есть они, вероятно, есть, но где их искать и захотят ли они дать правдивые показания?

Тит наткнулся на неподвижное тело случайно, будто чутьем влекомый в соседний узенький переулок, совсем рядом с домом Непота. Там, в полном одиночестве, под ледяным дождем лежал человек... и Тит, задохнувшись от горя, тотчас узнал своего Гая Валерия.

Куда направлялся больной поэт, одевшись столь тщательно, очевидно, волнуясь и преисполнившись каких-то радостных надежд? Это навсегда останется тайной, темной для споров и фантастических версий.

Лицо Катулла, лежавшего на смертном ложе, походило на лицо усталого путника, получившего наконец долгожданный покой. При взгляде на него Непот подавлял судорожное рыдание и уходил в таблин, закрывая глаза рукой. Он написал о случившемся Валерию Катону, Квинту Корнифицию, Гельвию Цинне, Манлию Торквату и Гортензию Горталу (последним — в надежде на денежное приношение к похоронам). Подумав, Непот сообщил о смерти Катулла и Вару. Кутаясь в плащи и проклиная ненастье, рабы Непота побежали в печальной вестью по римским улицам.

На другой день начались хлопоты по подготовке похорон. С раннего утра пришел Валерий Катон, потом Корнифиций. Они выглядели растерянными. Цинна, пьяный, плакал уже в дверях. Около смертного ложа в беспамятстве рыдал красивый мальчик Ювенций. Родственники не разрешали ему встречаться с Катуллом, которого называли бесстыдным растлителем. Но Ювенций, хотя и поздно, убежал из-под докучливой опеки. Да, слишком поздно он решился на бунт и презрение к грязным сплетням. Теперь ему оставалось проститься с прахом любимого поэта, наставника, друга... Ювенций считал, вернее, надеялся, что может считать Катулла своим другом. От кого-то узнал о несчастье актер Камерий. Войдя, он долго смотрел на застывшее, нарумяненное лицо Катулла, посоветовал снять с него восковую маску и сказал, что во время погребального шествия загримируется и изобразит веронца веселым, озорным повесой, каким он и был при жизни.

Лициния Кальва Непот решил известить сам. Кальв встретил его у входа в таблин и тихо произнес:

— Я уже знаю... От Цинны... Он прислал мне записку...

Они стояли друг против друга и молчали. Непот с горечью отметил про себя аскетически-непроницаемое выражение лица маленького оратора.

— Я хочу попросить тебя, Лициний, произнести надгробную речь... — сказал Непот. — Если ты откажешься, тогда, может быть, Корнифиций...

— Хорошо, я воздам должное бесценному поэтическому дарованию Катулла. Кто из друзей пришел?

— Катон, Корнифиций, Вар. И Цинна, конечно... Аллий прислал щедрое пожертвование и написал, что непременно будет при кремации. Пришли даже те, кто последнее время был с ним в размолвке: Тицид, Фурий, Аврелий, Калькой, Целий Руф...

— Ты их не прогнал?

— Зачем? Пусть они примирятся с ним перед его последней дорогой. Я сложил все книги и вещи Катулла, чтобы отправить в Верону его родным. На память о безвременно ушедшем хочу отослать и его портрет, недавно сделанный искусным художником Павсанием. Всю эту кладь берется охранять старик Тит. Ну, так я жду тебя завтра, Лициний, и надеюсь, что речь будет готова.

— Я сейчас же ее составлю.

Молча, с каким-то недоверием посмотрели они друг на друга и вдруг обнялись. Кальв сильно прижал к себе историка. Непот почувствовал под его одеждой цепи-вериги. Вытирая слезы, он торопливо поцеловал Кальва и ушел, не в силах терпеть дольше это тягостное свидание.

Кальв стоял, сцепив горестно руки. Горячая жалость, растопив привычное оцепенение, напомнила о страданиях, испытанных им со смертью милой жены. Кальв шептал что-то, поднимал недоуменно брови и разводил руками — со стороны он выглядел бы по меньшей мере странным. Взяв со стола табличку, стал писать надгробную речь. Писал четко, кратко и выразительно, призвав весь свой опыт и ораторский дар. Писал о верном и смелом сердце Катулла, о его судьбе и его прекрасной поэзии.

Кальв знал доподлинно: Катулл считал себя прежде всего сатириком и из созданного за последние годы больше всего ценил эпиграммы и озорные безделки, забывая или отодвигая на второе место свои лирические стихи, свои прославленные элегии. Несомненно, примером для подражания останутся беспощадные, неотразимые, сокрушительные удары политических инвектив, останется заразительный, юношески-беспечный смех и крепкий укус рискованных шуток... Но послания к Лесбии с их нежностью, чистотой и страстью, с их мукой и отчаяньем превзошли все элегии в мире. Катулл довел до совершенства и передал будущим латинским поэтам излюбленные поэтические формы: эпиграмму, любовную элегию, маленькую поэму-эпиллий, свадебный эпиграммий, безделку-«pugae». Кальв писал о том, что Катулл ненавидел любое посягательство на свободу и справедливость, ненавидел алчность и произвол. Катулл всегда оставался непреклонным республиканцем.

Все это воистину правдивое славословие другу Кальв готовился произнести завтра. Он вспоминал о том Гае Катулле, которого он так хорошо знал и который столько раз весело смеялся и серьезно беседовал с ним здесь, в его табуле. Он вспоминал о безыскусственном обаянии веронца, о его светлых галльских глазах и сверкающих зубах насмешника; невольно думалось о его бурной, короткой жизни и о его таинственной

смерти. Кальв писал, согнувшись, в неудобной, напряженной позе, облокотясь локтем на край стола. Морщины на его изможденном лице выделялись глубокими, резкими бороздами, трагически искажали и старили его.

Вспомнив, что Катулл во время путешествия посетил могилу поэта Гераклида из Каликарнаса, он приспособил для завершения речи эпитафию, посвященную памяти Гераклида Каллимахом Александрийским. Эпитафия в конце скорбного монолога казалась Кальву очень уместной.

Кальв усмехнулся своей удачной мысли: как когда-то, Кальв стремился блеснуть. Довольный собой, он положил стиль.

И опомнился... Проклятие суетности и гнусному хвастовству! Одиночество, самоусовершенствованье, аскетическая жизнь не смогли окончательно их заглушить. Как мелка его натура... Катулл мертв! Мертв великий поэт, а он заботится о том, чтобы произвести наилучшее впечатление на его лицемерно вздыхающих завистников!

Только теперь сознание вместило полностью смысл невозвратимой утраты. И свершилось преображение: невозмутимый стоик заметался и застонал. «Бедный Гай... Что мне без тебя делать? Как могло случиться такое! Боги, боги...» — или что-то другое, но столь же бессмысленное и жалкое причитал Кальв, и ровно исписанная табличка тряслась в его руке.

Внезапно Кальв понял: Катулл погиб, как исполненный непреклонного духа герой, не трепетавший перед жестокой силой тирании и заранее обреченный. Катулл был только поэтом — не оратором, не политиком-интриганом, — и стал жертвой, предрекая трагический жребий другим. Никто не знал причины его смерти, но Кальв не сомневался в том, что это было преднамеренное убийство.

— Ты опередил нас, Валерий... — бормотал Кальв. — Мы все кичились своим красноречием и показной твердостью, мы осуждали тебя за твои слабости и неустойчивость характера, а ты снова оказался первым среди нас...

Кальву нестерпимо захотелось увидеть Катулла — пусть безмолвного, лежавшего на смертном ложе, но сохранившего еще знакомые черты. Кальв без колебаний закутался в широкую пенулу, опустил на глаза капюшон, открыл дверь на улицу. Подумал немного и кликнул раба. Молодой расторопный грек быстро зашагал рядом.

Дождь ледяной, ветер срывает одежду, набрасываясь на прохожего, будто грабитель на беззащитную жертву. Где-то слышатся крики, вдали мелькают фигуры рассыпавшихся по улицам римлян — предвыборные беспорядки продолжались, несмотря на ярость Аквилона^[195].

Кальв остановился. Мимо него бежали вымокшие, взлохмаченные люди. Ветер затыкал их разинутые рты, взвивал над ними плащи, похожие на уродливые крылья; дождь хлестал, будто свирепый мститель, не щадя ощеренных рож с бессмысленно выкаченными из черных впадин глазами. Это человеческие глаза? Нет, какие-то тускло-стеклянные, круглые выросты... зрительные органы жаб, гадюк, крокодилов...

Людская масса двигалась вблизи, шлепая по лужам сотнями тяжелых подошв... Римляне! От них смердело тупым разрушением и прогоркло-кислой отрыжкой.

Кальв посмотрел мрачно им вслед, хотел идти дальше, но тут показались тесными рядами другие — ощетинившиеся, целеустремленные, беспощадные. В одинаковых, как показалось. Кальву, серых туниках. Кальв прижался к стене, втиснулся в случайно нащупанную нишу, рядом, дрожа, ужасался раб... Эти — со стиснутыми челюстями, жаждущие непременно крови, резни, случайно не заметили их... Внезапно заревели, залаяли, схватили двоих, отставших от беспорядочной массы. Кружась, тыкали ножами, лязгали зубами по-волчьи.

Двое упали, ухватившись ногтями за плиты мостовой. Все прочие завернули, толкаясь, за угол. Через минуту один из упавших приподнялся, пополз, с усилием встал, качаясь на раскоряченных ногах, держался погибельно за живот.

Но выскочили из-под земли изогнувшиеся хищно фигуры. Вставший испуганно охнул. Его догнали, ударили по затылку наотмашь и с наслаждением пинали распластанного, пока он не перестал дергаться от ударов. Последний лягнул уже неподвижное тело... Из запрокинутой головы натекало темное и, разжижаясь дождем, смывалось в трещины мостовой.

— Вот так же... Наверное, так же погиб Катулл... — Кальв содрогнулся, скорчившись в своей нише. А там еще стояли над телом, шумно дыша, с бессмысленными осками. Ливень гулко промчался, заслонив дымным хвостом вросшего в стену Кальва.

Убийцы ушли, деловито запахивая плащи. Последний протопал, переваливаясь, сопя, преданно подхихикивая... Косолапый, сутулый... Мясник...

Наконец утихло.

— Вернемся домой? — осмелился заикнуться раб.

Непонятно: он боялся за себя, или ему хотелось к тем — убивать, мстить?

— Разрешаю тебе вернуться, — сказал Кальв.

Раб замотал головой, затравленно вскинул глаза. Погодя немного, шепнул просто, по-человечески:

— Я тебя не оставляю.

А ветер свистел дико, продувал город насквозь и опять разбрызгивал летящие с неба, весомые, как свинец, капли. Трупы лежали в лужах кучами размокших лохмотьев. Тучи опустились, надвинулись, отняли пространство. Улица, будто каменный пенал с крышкой из аспидных туч, вела в неизвестное, невысказанное.

Кальв решительно сжал губы и встал в начале этого мрачного тоннеля. Он плевать хотел на римские беспорядки и мерзости; он желал видеть друга, который больше его не ждал. Идти сейчас через Рим было безумием, но Кальв шел своим путем — бесстрашный и дерзкий, прежний Кальв, любимый Катуллом, неистовый маленький оратор.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Пирующее римляно.



Молодой человек из рода Эмилиев.

Оратор.



Романин со свитком (предм.
Катула).



Римский дом.

Сулла.





Уличные комедианты.



Матрона.



Форум.

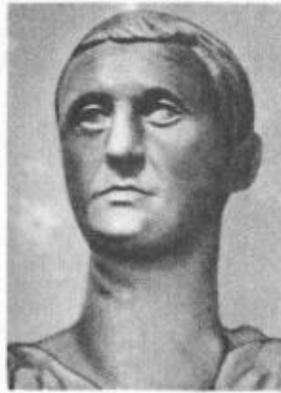


Цицерон.

Знатные римляне.



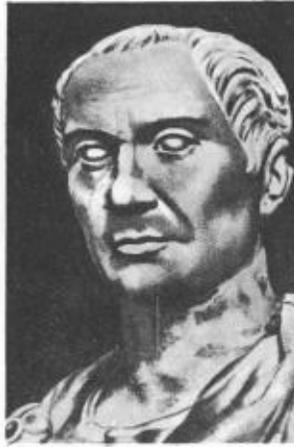
Римляни с портретами предков.



Полководец.



Капитолий



Цезарь.



Помпей.



Помпей-победитель.



Кресс.



Марк Порций Катон.



Палатин — аристократический квартал Рима.



Патрицианка.



Сенатор Лукулл.



Старик в тоге.



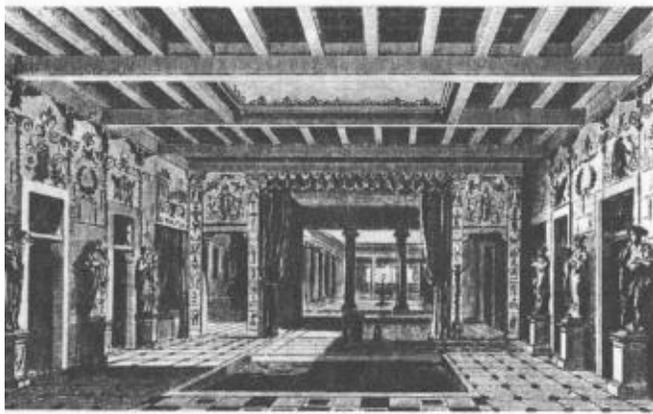
Оратур Гортезий.



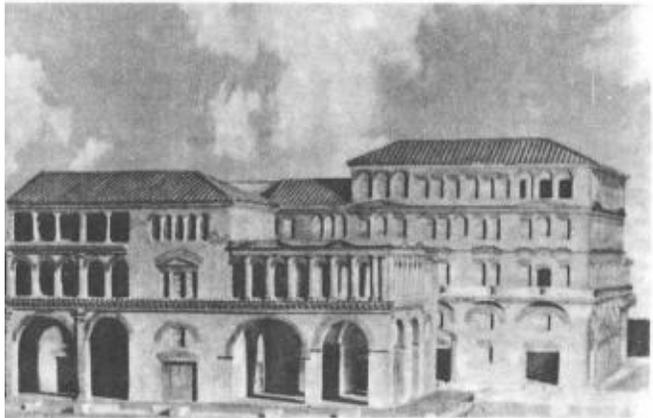
Армянский царь Тагран.



Римские монеты.



Атриум в богатом доме.



Многоэтажный дом («триумф»).



Венера.

Марс — Арес.



Венера.



Римская крепость.

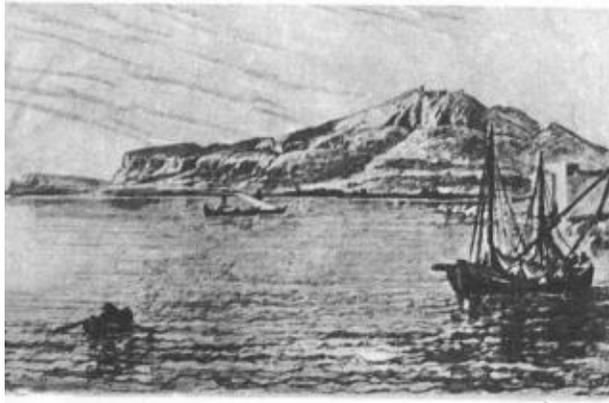


Легионер.



Позгеса (продн. Сафо), фреска на Помпей.

Побережье Италии.

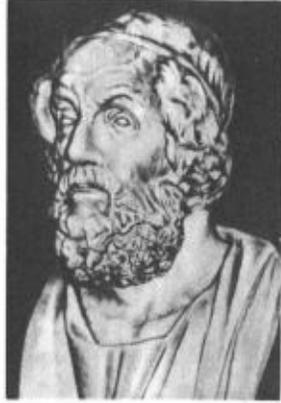




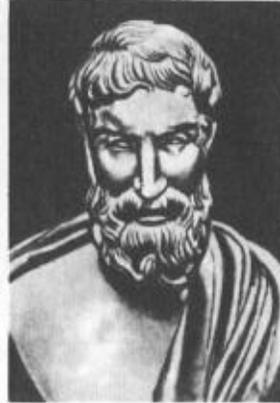
Рымлына (мовака).



Крепостная стена Троицк.



Гомер.



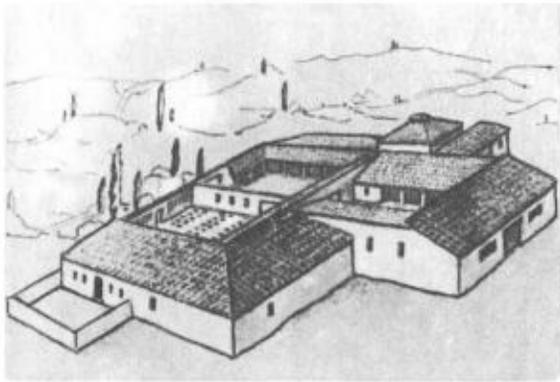
Зенур.



Вилла в провинции.



Крестьянин за плугом.



Катонова усадьба (реконструкция).

Военный трибун.



Голова галла.



Галльское бюство.



Римский военный лагерь.



Галл, убивающий жену и себя.



Легионер Цезаря —
победитель галлов.

Сцена из Троянской войны (Рим, барельеф).





Римский акведук.



Доходный дом.



Мисная лавка.



Загородный дом.

Весталка.



Женщина из престопадаря.

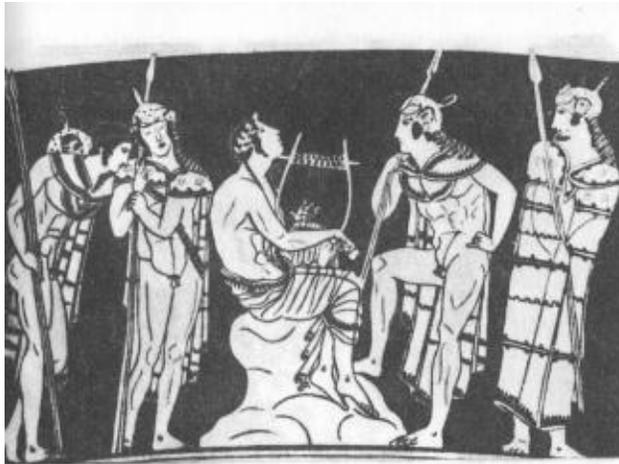
Гладиатор.



Диктор с фасциями и топориком.



Myra.



Орфей.



Римлянин.



Вакх на пантере (фреска).



Большой и врач
(барельеф).



Мистерии (фреска
из Помпей).



Алтарь.



Шествие (рельеф).

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ КАТУЛЛА И ДАТЫ СОБЫТИЙ, ОКАЗАВШИХ ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

87 г. до н. э. — год рождения Катулла в г. Вероне.

60 г. — предположительная дата приезда Катулла в Рим и вступление в кружок поэтов-неотериков; соглашение Помпея, Красса и Цезаря (триумвират).

59 г. — предположительная дата знакомства Катулла с Клодией Пульхр, ставшей под именем Лесбии героиней его прославленных элегий.

58 г. — избрание Публия Клодия Пульхра, родного брата Клодии, политического авантюриста и приспешника Цезаря, народным трибуном; изгнание из Рима, по настоянию Клодия, Марка Туллия Цицерона; начало завоевания Галлии Гаем Юлием Цезарем.

58—57 гг. — предположительная дата гибели брата Катулла в Вифинии (Малая Азия).

57 г. — поездка Катулла в Вифинию в свите Гая Меммия Гемелла, из которой он привез идею поэмы «Аттис» и целый ряд лирических стихотворений.

56 г. — путешествие Катулла по городам Малой Азии.

55 г. — возвращение Катулла в Италию; распад триумvirата и политическая анархия в Риме; судебный процесс против сподвижника Цезаря Ватиния, обвинителем которого выступил друг Катулла, оратор Лициний Кальв; военная экспедиция Цезаря на о. Британию.

55—54 гг. — сочинение Катуллом политических эпиграмм-инвектив, бичующих Цезаря и его приспешников.

54 г. — смерть великого римского лирика Гая Валерия Катулла.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные источники:

- Катулл*. Стихотворения. В переводе А. А. Фета. Спб., 1886, 1899.
Катулл. Книга лирики. Перевод А. И. Пиотровского, Л., 1929.
Гай Валерий Катулл. Лирика. Редакция С. Апта, М., 1957.
Катулл. Тибулл. Проперций. Редакция Ф. Петровского. М., 1963.
Античная лирика. М., 1968.
Каллимах. Избранные гимны и эпиграммы. Перевод Алексева. Спб., 1899.
Лукреций. О природе вещей. Перевод Ф. А. Петровского. М., 1945.
Непот. Жизнеописание лучших вождей иностранных народов. Перевод Клеванова. М., 1871.
Платон. Избранные диалоги. Перевод под ред. А. Н. Егунова., М., 1965.
Тит Макций Плавт. Избранные комедии.
Феокрит. Идиллии и эпиграммы. Перевод М. Б. Грабарь-Пассек. М., 1958.
Цицерон. Речи. Перевод В. О. Горенштейн и М. Е. Грабарь-Пассек.
Цицерон. Письма. Перевод Горенштейн, 1949–1951.
Элинские поэмы. Перевод В. В. Вересаева. М., 1963.

Литература:

- Блок А. А.* Катилина. Страницы из истории мировой революции. Соч. в 2-х томах. Т. II. М., 1955.
История Древнего Рима. Под редакцией Бокщанина и Кузищева.
Машкин Н. А. История Древнего Рима. ОГИТ — Госполитиздат, 1947.
Моммзен Теодор. История Рима. Т. III. ОГИЗ — Госполитиздат, 1941.
Покровский М. М. История римской литературы. М. — Л_м 1942.
Сергеев В. С. Очерки по истории Древнего Рима. М., 1938.
Утченко С. Л. Идеино-политическая борьба в Древнем Риме накануне падения республики. М., 1952.
Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1973.

Утченко С. Л. Юлий Цезарь. М., 1976.

Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима. III–I вв. до н. э. М., 1977.

Чистякова Н. А., Вулих Н. В. История античной литературы. М., 1971.

Шталь И. В. Поэзия Гая Валерия Катулла. М., 1977.

notes

Примечания

1

Таблин — личная комната, кабинет.

Марк Туллий Цицерон — величайший оратор, государственный деятель и писатель Древнего Рима.

Аристотель — великий греческий философ, свои беседы проводил в саду, называемом Лицей или Ликей.

Квинт Энний, II в. до н. э. — римский поэт, писавший эпические трагедии и поэмы.

Игра слов: по-латински фамилия Цицерон (Cicero) означает «горох».

Священная тройка — Юпитер, Юнона и Минерва.

Каллимах — III век до н. э. — выдающийся эллинистический поэт-лирик.

Неотерики (греч.) — новые поэты, здесь: в значении «модернисты».

Муниципии — италийские городские общины; их жители пользовались полным или частичным правом римского гражданства.

Отец Кальва — известный оратор, народный трибун Гай Лициний Макр, в своих речах неоднократно обличал сенатскую аристократию — оптиматов.

Луций Корнелий Сулла — глава оптиматов, полководец, диктатор; заносил имена своих политических противников в проскрипции — списки «врагов отечества», уничтожил 200 тысяч человек.

Хлена — легкая греческая накидка.

Койнэ — общегреческий литературный язык.

Птолемеи — династия эллинистических правителей Египта и о. Кипр.

Стиль — в первоначальном значении — железная или костяная палочка, которой писали на воощеных дощечках.

Sit venio verbo! (*лат.*) — Да будет позволено сказать!

Транспаданцы — жители Северной Италии, которая делилась на Транспаданскую и Цизальпинскую Галлию, и, хотя Катулл происходил из Вероны, находившейся в Цизальпинской Галлии, в одном из своих стихов он называет транспаданцев земляками.

Ямб — здесь не в значении стихотворного размера, а как стихотворение на бытовую, часто шутивную тему, то же что «безделка».

Палатин — аристократический квартал Рима.

Марк Красс — откупщик и банкир, первый богач республики.

Харон — мифический лодочник, перевозящий души умерших через реку Ахеронт в мрачное царство смерти.

Гай Антоний — полководец и политический деятель; будучи правителем Македонии, ограбил и разорил ее. Македоняне послали делегацию с жалобой в сенат.

«За два дня перед идами марта» — 14 марта.

Центурион — сотник, младший командир в римской армии.

Ионийцы — греческое племя, населявшее острова Эгейского моря и прибрежные города Малой Азии.

Триклиний — столовая в римском доме.

Урна — мера жидкости, больше 10 литров.

Кратер — широкий сосуд, в который для удобства наливали вино из кувшина.

Посидипп, III в. до н. э.

Sarg — вид средиземноморской рыбы.

Перистиль — внутренний дворик, обычно украшался колоннадой и цветниками.

Эван — вакхический возглас.

Элегический венок в отличие от эпического лаврового сплетался из плюща.

Асклеиад Самосский (III–II в. до н. э.) — выдающийся греческий поэт-лирик.

Эпикур — великий греческий философ-материалист, противник религиозных догм и суеверий. В позднереспубликанском Риме было немало его последователей среди образованной молодежи.

Энодиамена — один из эпитетов Афродиты-Венеры.

«Божество с бассарейскими кудрями» — Аполлон.

Эпиллий — маленькая поэма на мифологический сюжет.

Платон — выдающийся греческий философ, учитель Аристотеля.

Фригийская — из Фригии, страны в Малой Азии.

Кимвалы — ударные музыкальные инструменты вроде погремушек.

Театральные представления устраивались, во время многочисленных религиозных праздников.

Ателлана — народная комедия.

Акций (I в. до н. э.) — римский поэт, сочинявший трагедии с назидательным содержанием.

За ночь в Риме трижды менялась городская стража.

Бенакское озеро (совр. оз. Гарда) находится на севере Италии, неподалеку от Вероны.

Апулиец — житель Апулии, одной из южных областей Италии.

Нобили — «благородные», господствующее сословие Рима.

Секстарий — больше пол-литра.

Эпиталамий — свадебная песня.

Лары — божества — покровители семьи.

Вифиния — страна в Малой Азии.

Сафо (Сапфо), V в. до н. э. — величайшая лирическая поэтесса Эллады.

Луцилий (II в. до н. э.) — римский поэт-сатирик.

Яникул — холм на противоположном берегу Тибра.

Эвфорион (III в. до н. э.) — эллинистический поэт, последователь Каллимаха Александрийского.

Попина — кабачок, винный погреб.

Сатурналии — любимейший праздник римлян, справлялся в декабре, сопровождался всенародными пиршествами, зрелищами, раздачей подарков.

Минос — легендарный царь острова Крита, после смерти стал судьей человеческих поступков в подземном царстве Плутона.

Гай Асиний Полион — поэт, оратор, государственный деятель, основатель первой в Риме публичной библиотеки.

Лукулл — полководец, сенатор, политический деятель, прославился богатством и роскошным образом жизни.

Гней Помпей — выдающийся полководец Рима, пользовался огромной популярностью и влиянием в республике.

Конклав — приемная комната римской матроны.

Байи — аристократический курорт близ Неаполя.

Многие образованные римляне скептически относились к официальной религии и увлекались греческой философией.

Ника (*Никэ*) — греческая богиня победы, то же, что у римлян Виктория.

Диалектика — по античным воззрениям, способность стройно и логически рассуждать.

Ойкумена — весь населенный мир, омываемый безбрежным океаном (в представлении древних).

Анакреон (VI в. до н. э.) — знаменитый греческий поэт, воспевавший пиршества и чувственную любовь.

Стола — широкая верхняя одежда римской матроны.

Латифундия — поместье с особенно обширным земельным наделом.

Марк Порций Катон Старший и его потомок, сенатор *Катон* — современник Катутла.

Полчища германцев-кимвров и тевтонов, двигавшихся на Италию, были разгромлены знаменитым полководцем Гаем Марием.

Имеется в виду поэтический сборник, который издавал Валерий Катон.

Петушиные гребешки считались возбуждающим средством.

Киферида — известная в Риме актриса и танцовщица.

В республиканском Риме императором провозглашался полководец, совершивший победоносные завоевания; сенат присылал ему империй — символ временно безраздельной власти.

Денарий — серебряная монета достоинством 4 сестерция; *аурея* — золотая монета.

Ланиста — хозяин гладиаторской школы.

Комиции — собрание полноправных римских граждан.

Лузитаны — племена западной Испании (Иберии).

Атрий — центральная часть римского дома.

Кипарис считался в Древней Греции и Риме деревом, посвященным умершим.

Аравийские ароматы.

Орк — одно из названий подземного царства Плутона.

Курий, Фабриций и Катон Старший слыли примерами суровой доблести и патриархальной морали.

Гармодий и *Аристогитон* — убийцы афинского тирана Гиппарха (VI в. до н. э.), в Риме считались олицетворением самоотверженности и свободолюбия.

Луций Сергей Катилина — патриций, сенатор, организовал заговор против сената. Разоблаченный Цицероном, бежал из Рима, поднял вооруженный мятеж, был разгромлен и погиб в сражении.

Официальное название римских граждан.

Комедия Плавта (II в. до н. э.)

Искусство гадания по внутренностям и костям животных.

Авзония — древнейшее название Италии.

Косматая Галлия — обширная страна, лежащая на северо-запад от Альп, до Северного и Британского морей (территория современных Франции, Бельгии и Голландия).

Квирин — обожествленный основатель Рима Ромул, считавшийся сыном Марса.

Геликон — гора в Греции, мифическая обитель Аполлона и Муз.

Гарусники — жрецы-гадатели, они истолковывали будущее по внутренностям жертвенных животных.

Булла — ладанка с талисманом «от сглаза», которую в Риме носили дети.

Катулл имеет в виду мифические конюшни царя Авгия, вычищенные Гераклом; для забавы Катулл говорит «помойки» вместо «конюшни».

Феокрит (III в. до н. э.) — выдающийся греческий поэт-лирик.

Страна серов — Китай, шелк — по-латински «серикум».

Паллий — длинный и широкий греческий плащ.

Лектика — носилки, портшез.

Виссон — драгоценная восточная ткань.

Сальве (Salve, лат.) — добро пожаловать.

Календы июня — 1 июня.

Мирон (V в. до н. э.) и *Лисипп* (III в. до н. э.) — великие греческие скульпторы, изображавшие преимущественно могучих воинов и атлетов.

Ганимед — прекрасный юноша, виночерпий у олимпийских богов.

Цирцея — волшебница из гомеровской «Одиссеи».

Decora et ornamenta saeculi sui! (*лат.*) — Слава и украшение нашего века!

Дифирамб — торжественная песнь, восхваляющая богов или героев.

Арион — легендарный греческий поэт, создатель дифирамбов.

Амафунт — местность на побережье Кипра, где находился храм Афродиты.

Кантики — песенки, шутливые куплеты.

Унция — около 30 граммов.

Буколический — буквально: пастушеский, здесь — безмятежный, мелодичный.

Эрини — мифические чудовища — богини мщения.

Либурна — род крытых носилок.

Циклопы — одноглазые великаны из «Одиссеи» Гомера.

Термы — общественные бани.

Фидий (V в. до н. э.) — великий скульптор Эллады.

Кельты — многочисленные племена, населявшие территорию Западной Европы, то же, что и галлы.

Поликлет (V в. до н. э.) — великий греческий скульптор, великолепно изображавший могучие тела атлетов.

Скульпторы из греческого города Танагры прославились красотой своих небольших по размеру, но очень изящных терракотовых статуэток.

Μιϋ — афинский чеканщик.

Глиптика — искусство резьбы по камню (геммы, камеи).

Апеллес (II в. до н. э.) — великий греческий живописец, стремившийся при передаче натуры достигнуть иллюзии действительности.

Номенклатор — раб с хорошей памятью, напоминающий господину имена встречных знакомых.

Аониды — Музы.

Ave (лат.) — да живет.

Адонис — прекрасный юноша, возлюбленный богини Венеры, погибший во время охоты.

Нумидийские куры — цесарки.

В массикское вино, очень терпкое и крепкое, добавляли мед и воду.

133

Совр.: четири часа дня.

Победоносному полководцу решением сената воздавался наивысший почет: проезд на колеснице через весь город во главе торжественной «триумфальной» процессии. Но до начала торжества его участники должны были находиться за городской стеной. Цезарь отказался от триумфа, чтобы участвовать в выборной борьбе.

Эдикты — официальные заявления магистратов. Ставленник сената консул Бибул был изгнан народом с Форума, так что фактически консульская власть находилась в руках Цезаря.

Квартальные или ремесленно-цеховые объединения плебеев.

Великий понтифик — старший жрец коллегии понтификов, глава государственной религии, выбирался на определенный срок.

Гистоний — город на побережье Адриатического моря.

Антиохия и Тарс — порты Сирии.

Законы двенадцати таблиц — древний кодекс Римской республики по государственному, юридическому и семейному праву.

Цикута — растение, из корней которого получали сильный яд.

Медуза — мифическое чудовище.

Бримо — одно из имен богини Гекаты — покровительницы злых духов, преступлений и колдовства.

Троада — область на северо-западном побережье Малой Азии, примыкавшая к легендарной Трое.

То есть в 16 лет.

Ларийское озеро — совр. оз. Комо.

Odi et amo. — Ненавижу и люблю... (начало двустишия Катулла).

Астарта — финикийская богиня любви и плодородия.

Латиклава — туника с пурпурными полосами, одежда магистратов и сенаторов.

На картинах Венеру изображали косой.

Консуляр — бывший консул Римской республики.

Архилох (VII в. до н. э.) — выдающийся греческий поэт, впервые осуществивший переход от эпоса к лирике.

Vae victis! (*лат.*) — Горе побежденным!

57 год до н. э.

Выражение греческого поэта Симонида.

В Древнем Риме шар из горного хрусталя считался умеряющим жару.

Парки — богини судьбы.

Фавон — западный ветер.

Осенью и зимой мореплавание в античном мире прекращалось.

Венеты — народность, жившая в северо-восточной углу Италии.

Маны — обожествленные души предков.

Совр. Лукка.

Отрывок из произведения великого греческого философа Платона (IV–III вв. до н. э.), в которой в художественной форме изображена беседа философа Сократа со своим учеником.

Филипп Македонский — отец Александра Великого, начавший завоевание Греции.

Гай Саллюстий Крисп — в будущем знаменитый писатель и историк.

Инвектива — разоблачающее пороки литературное произведение.

Цезарь считал себя прямым потомком Ромула.

Гесиод (VII в. до н. э.) — великий эпический поэт Древней Греции.

Так Катулл называет в своих эпиграммах неких бездарных стихотворцев.

Пенаты — духи предков, покровители дома.

Морфей — бог сна.

Doctus (*лат.*) — ученый, здесь в смысле: выдающийся мастер.

173

27 февраля.

Карцеры — помещения в цирке, где находились гладиаторы, возничие с лошадьми и другие участники соревнований.

Vale et me amo (*лат.*) — Привет любимому.

Звезда Пса — Сириус.

Ромул и Рем — легендарные основатели Рима.

В музыкальные состязания входили выступления поэтов, певцов, музыкантов и танцовщиков.

Австр — северный ветер.

Возвращаясь в Афины, Тезей забыл сменить черные паруса. Увидев их издали, царь Эгей подумал, что его сын растерзан Минотавром, и бросился со скалы в море.

Амфитрита — жена Посейдона-Нептуна, в данном случае — символ моря.

Сателлит — телохранитель.

Богиню судьбы иногда изображали слепой.

По римскому обычаю, мимы изображали на похоронах умершего.

Эндимион — по греч. мифологии, юный возлюбленный богини Дианы, погруженный в глубокий сон.

Тессеры — медные жетоны, дающие право на вход в цирк или театр.

Пингий — холм на северо-западе от Рима.

«*Самоистязатель*» — комедия Теренция.

Архимим — ведущий актер труппы.

Впоследствии Кальв и Корнифиций вместе с сенатором Марком Порцием Катоном погибли, сражаясь с легионерами Цезаря на стенах Утики (Сев. Африка) — последнем оплоте республиканцев. Незадолго до этого в одной из крепостей цезарианцами был убит Руф.

Традиционная формула смертного приговора.

Симонид Кеосский (VI–V вв. до н. э.) — греческий поэт, сочинявший эпиграммы и эпитафии. Наиболее известна его эпитафия над могилой трехсот спартанцев царя Леонида, героев войны с персами.

Гомер. «Илиада».

Непот. «Жизнеописания».

Аквилон — бурный, северный ветер.